

К 84(2)  
3-80

A portrait painting of a woman with dark hair, wearing a large, dark, wide-brimmed hat and a green dress. She is looking slightly to the left. The background is a light, textured grey. The painting style is expressive with visible brushstrokes.

**ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЁВ**  
**НОЧЬ СВЕТЛА**

ОРЁЛ • 2011



# **НОЧЬ СВЕТЛА**

**ЛИРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ**



**ОРЁЛ • 2011**

**ББК 84(4)3**

**3 81**

**3 81**

**3 81** Золотарев Л.М., Ночь светла  
(лирические рассказы). –  
Орел: Издатель Александр Воробьев,  
2011 г. – 380 с.

В сборнике рассказов «Ночь светла» Леонарда Михайловича Золотарева – большого мастера этого жанра – представлены произведения, в основном, одной лирико-эмоциональной тональности. Однако рождались они в разные годы, а ныне объединены автором в этом томе. Живые впечатления от встреч с людьми, откровенные сюжеты о любви, счастье быть любимым – все это раскрывает перед читателем такое чудо природы, как артистизм, яркий писательский дар.

Обездушенная электронная информация не убьет живого слова, и пример тому – эта книга. Она для всех и для каждого, объединяя автора и читателя в тонком, сокровенном видении мира.

В поэтической прозе предстают картины природы, образы и характеры наших современников. Родная русская речь, музыка слога, ее переменчивый ритм – все это признаки индивидуальности, большого художественного таланта. Читатели всегда с нетерпением ждут новых книг Леонарда Золотарева – оригинальных, «таинственных» - по замыслу, мастерских – по исполнению, интересных личности по эту и другую сторону бытия.

© Золотарев Л.М., 2011.

© Издатель Воробьев А.В., 2001.



*Родина могучая моя.  
У святого колодца Девятая пятница*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

После стихотворного сборника «Духов день» мне захотелось соединить вместе душевные, какие потеплее лирические рассказы из разных лет. И я это сделал. Получился сборник лирической прозы «Ночь светла». И вспомнилось, что обо мне говорили когда-то и что писали. Приятно все-таки, что не всю-то жизнь тебя колотил официоз. Хорошо говорили в народе – мои читатели. Остались и письменные свидетельства, как реагировали на меня писатели на своих форумах, критики – в периодике и предисловиях. Первого - немало фактов, а второго – не так уж и много, но есть. Вот, например, что было написано в академическом учебнике для филфаков университетов и педвузов (под редакцией профессора П.С.Выходцева): «Среди жанров прозы, в которых современность и современник исследуются прежде всего с точки зрения нравственных отношений, пожалуй, наиболее активную роль играет рассказ. К нему обращаются почти все писатели. В рассказе обнаружались типологические для всей литературы черты углубления нравственно-философского аспекта исследования человеческих характеров. Особенно плодотворно работают в этом

жанре С.Антонов, Ю.Нагибин, Е.Носов, Вл. Солоухин, Ю.Казаков, В.Белов, В.Личугин, В.Крупин, Г.Семенов, Г.Горышев, В.Лихоносков, Л. Золотарев и др.» (из «Истории русской литературы»).

В Воронежской историко-культурной энциклопедии отмечена краеведческая направленность моих рассказов. Литературовед П.Майданюк из Самарканда выделял живость характеров, светлую тональность моих произведений этого жанра. А вот что писал известный писатель П.Л.Проскурин: «Леонард Золотарев вырос в крестьянской среде, в той удивительной стихии народного языка, которая уже сама по себе является прекрасной школой для человека, одаренного художническим видением жизни. Неповторимая средне-русская природа в ее текущей, искрящейся красоте, воспитали в Леонарде Золотареве бережное, доброе видение человека, научили его прослеживать многочисленные, тончайшие связи человека и земли.

У Леонарда Золотарева есть талант, знание народной жизни, чувствуется богатая языковая одаренность. И это тотчас понимаешь, прочитав хотя бы один его рассказ».

Самому же мне хотелось бы отметить непростую, сложную ритмику, музыкальность, заложенную в прозе, в этих рассказах, их ясность, простоту и красоту, за которой видится многое, уводящее в космос вселенской души. Особо можно выделить рассказы, написанные специально и включенные в этот сборник: рассказы современные, создаваемые с позиций нынешнего – 21-го века. На сломе столетий и даже тысячелетий создается новый тип человека, новая литература. С духовным, божественным потенциалом. И, черт возьми, стоит в ней побороться за лучшее, что нам достается от классиков, традиционно нравственное, прекрасное. Топор и плаху нынешнего общества, меркантилизм оставим в стороне, вне божественно-нравственных сфер, где живет и трудится писатель, страдая и всякий раз все-таки побеждая прежде всего себя, учась совестливому умению жить. Кажется, просто быть, просто любить, а это совсем ведь не просто.

*От автора.*

**ПОСЛЕ ПРЕДИСЛОВИЯ**

**ФЕТУ. В КЛЕЙМеново**

Фет – по-французски праздник!  
Французы его праздником считают.  
Фагот и слово, май – проказник,  
А тут стихи опять читают.

В сирени плещет соловей,  
И мы зеленой флейте внемлем.  
Привел сюда нас Водолей –  
В сонетов сон, в поэтов племя.

И в роще тут – под соловьем,  
В тени друг другу ставя мету,  
В себе мы, хоть и первыми слышем,  
А каждый раз проигрываем Фету.

И каждый раз тут, посвятив себя,  
Апокриф свой – прекрасному поэту,  
Не думай, что и он дарит тебя,  
На всех всего не хватит даже Фету.

*31 мая 2011 г.,  
г. Орел.*

### АПОКРИФ. СКРИПКА

Дедушка говаривал частенько:  
- Не впадай от темноты в тоску!  
Вот, внучок, состаришься маленько,  
К Богу приведешь свою строку.

Знаки видишь, в песни заключаю.  
Как же это можно без Творца?..  
И дарил мне, как тартинку к чаю,  
Скрипку, бесноватую с лица.

- Укромщай! – совал мне гриф Макарыч,  
Положив чертеж перед собой. –  
Станешь звуком, музыкой, гитарой,  
Мастера боится бес любой.

И когда в концерте чей-то окрик  
Дал возможность просиять и мне,  
Людам с божьей помощью апокриф  
Я сыграл и на одной струне.

*31 мая 2011 г.,  
г. Орел*

## СКОРО ОСЕНЬ В ПАРКЕ СТАРИННОМ

Мне не терпелось в парк, в знаменитый Киреевский парк, навеявший некогда лучшие страницы в «Войне и мире» Толстому. И вынесло меня ко входу полуподковой, к одиночному дереву, где на лужайке играли дети.

— Не смейте! — вскочил вдруг мальчуган лет восьми — тонкий и русоголовый. — Не смейте ее, она делает людям добро!

Не знаю, за какую такую живность горячо вступился мальчишка, но его искреннее желанье добра так и пронзило меня, засветило отсюда каждый мой шаг. Все теперь было во мне, все в элегической грусти: давность кленов и тополей, бледная хилость подлеса, тщетно пытающегося выбраться к солнцу, но довольствующегося пока что лишь бликами. В сумеречных аллеях царили спутанность и запустение. Пруд, в темных водах которого еще с времен войны, говорили, таится смерть — ржавые мины, затянулся ряской, порос кугою и тростником. Прислонившись к столетнему тополю, слышишь щекой верховую гулкость ствола, гудение пчел в долбленной колоде, припрятанной кем-то по обычаю предков — в развилке мощных суков, и перешепоты листьев переходят в слова, а гулкость — гудение — в музыку. И ожидаешь чего-то, чего же? У темной воды на плотине скамейка. На скамейке забытый кем-то томик стихов: Тютчев. Аромат тонких духов. Знакомые, певучие строки:

«Я встретил вас...»

И музыка — гулкость сильнее, напевнее, звучит бархатым басом Штоколова; в такт всему поднимается и опускается плоскодонка у берега. Славно, наверно, плыть с шестом в этой лодочке, глядя с воды на просветленные осенью клены.

Солнце уже на исходе; по углам серьезнеет пруд, и только вершины сосен на карлике-острове, окруженном кугой, еще держат розовыми стволами заходящее солнце. Налетавшись, грачи хлопочут в своей колонии, устраиваются

на ночлег. И текут, все текут вокруг кленовые листья, обнажая в былой гущине, в развилке ветвей, гнезда синичек, малиновок, соек. Как увядающее мило!.. Да, но кем забыт тютчевский томик? Чей в нем аромат? А мысли уносят в ушедшее.

Человек стоит у окна, распахнутого в лунный парк. В человеке все смутно, отрадно, все в ликование, полнится близостью дорогого юного существа. А оно, божество это, рядом, над ним, Андреем Болконским; тоже смотрит в седой мудрый парк, отраженным зачарована светом. Безотчетно в такой миг желанье любви... Человек должен любить, должен искать человека, того, кто способен поднять в нем великие глубины, зажечь, озарить на годы всю его жизнь. Угадать, не пройти, озарить — озариться любовью. В наши дни, когда властно железо, когда людей столько, сколько нет в парке листы, очень важно найти человека, чтобы вместе — рука в руке — высветлить путь себе и другим... Она, конечно, придет сейчас за забытым тютчевским томиком, — трепетная, зачарованная луной, Наташа Ростова. Пусть прочтет, подчеркнет ей вот это — самое нужное, важное:

«Я встретил вас...»

Каблучки зацокали неожиданно рядом, по деревянному стоку, я едва успел скрыться в акациях. Обрадовавшись, она взяла тютчевский томик и тут же заметила пометки мои на странице. Улыбнулась. И огляделась. Она была хороша. Серые глаза опушались густыми ресницами, вольные темно-русые волосы ниспадали на плечи и оттеняли светлое платье; и вся она, живая и легкая, была так знакома, привычна, словно видена мною и раньше.

А назавтра я занял пост в акации чуточку раньше и видел, как уходила она. Оставив — теперь уже, вероятно, нарочно — на скамье тютчевский томик, она протокала каблучками по деревянному стоку и скрылась за поворотом. И вновь этот томик лежал у меня на ладони, вновь держались в нем тонкие запахи, возбуждали былое. Я подчеркнул еще строчку и положил на скамью:

«И то же в вас очарованье...»

На этот раз она уже не улыбалась. С минуту чутко при-

слушивалась к гаму мальчишек, гонявших мяч поблизости на стадионе, провожала рассеянным взглядом прохожих и задумчиво смотрела, как догорает на соснах закат.

Наблюдая за нею, я пытался представить всю ее жизнь: босоногое детство, подруг ее, первую, последнюю тайну, и что-то большое и теплое колыхалось в груди моей. На сей раз в оставленном томике было подчеркнуто:

«Бывает день, бывает час,

Когда повеет вдруг весною...»

Не знаю, но мне показалось тогда от всех этих звуков, от всех этих слов, от органных регистров романса, вдруг вломившихся с силой в меня, очень душно, невозможно доле оставаться в акациях. Я вышел из укрытия своего и побрел куда-то по берегу, по пересохшему гирлу пруда.

Бежит, торопится стежка куда-то за сосновую кладку. Мимо колодчика, мимо шершавого клена, опиленного наподобие головы лося; долго еще лесной зверь следит за мной своим неусыпным зраком. Этот взгляд деревянный, патрон от «мелкашки», найденный у Барсучьей горы, отрывают, охлаждают, настораживают меня. Вот она, эта гора, превращенная в тир.

Часть кургана, лицом к тропе, изъязвлена пулями. На макушке плоско и солнечно. Здесь сирень, клен, акации, перевитые хмелем. Дальше спуск к отступившему пруду — хмурый, пологий и влажный. Ни травинки. Деревья с темнеющими стволами и корнями, словно мангровый лес. Повыше, в комелек серебристого тополя, уходит барсучья нора. Глинистые края еще остры, но чернь входа уже заткана паутиной... И я слышу вдруг выстрелы, чую, как пули впиваются в тело горы; эхо ходит от дерева к дереву, по аллеям, которыми вслед за Андреем Болконским когда-то бродил Лев Толстой, улетает за пруд к той скамейке, к тючевским строчкам, к Ее белому платью. «Тир. Неужели он нужен именно здесь?»

А назавтра я уже не пришел. Не пришел сюда и через день. А когда пришел — похудевший и строгий, — то не стал забираться в акации: сел на скамью и стал ждать урочного часа. Она подошла мягко, неслышно и стала напро-

тив, и протянула раскрытый тютчевский томик, и, вспыхнув, отвернулась порывисто. Синим горело в нем: «Слезы людские, о слезы людские, Льетесь вы ранней и поздней порой... Льетесь безвестные, льетесь незримые, Неистошмые, неисчислимые, Льетесь, как льются струи дождевые, В осень глухую, порою ночной».

Я взял ладонь ее — она была легка и послушна. Мы шли, и вялые листья стекали у нас по плечам. Сквозили пустоватые клены, в несметных, разноколерных золотах под ногами пышнела земля. И ветер теперь проникал свободней в аллеи и остужал наши лица. В такие минуты кому не захочется показаться талантливым, умным, а у русских — уж так оно есть — все начинается и кончается словом о родине, о будущем края родного, России.

- Вот парк, знатный парк. Сосны, липы и тополя. — Подстраиваясь под нее, перешел я на мелкий шаг. — И знавал я одного садовода, так для него нет лучше дерева, чем, скажем, яблоня. Все другое ему пустяки. Пустяки перед садом целый липовый парк...

- Как это у тургеневского Базарова: не изъяснитесь слишком красиво. Не надо.

- Зарастает пруд. Видите, вон гирло его затянуло уже тростником, островки примкнули к самому берегу... А в Кочетах заливает толстовский родник. Редет гамма тонко подобранных крон в Шестаковском парке, пропадает Воронцовский под Глазуновкой.

- Ну и что, по-вашему, парков теперь не сажают?

- Сажают. Конечно, сажают! Да всегда ли умело?.. Не пора ли, пока они еще целы, всерьез подумать о них, о старинных? Почаще бы обращаться к ним за советом...

Мы шли аллеей близко друг к другу. Иногда, в темноватых местах, она и вовсе придвигалась ко мне, и тогда даже на расстоянии за ее тоненьким ситчиком ощущалось живое тепло. Смотрели на дымящийся пруд, на островные сосны, лоящие стволами закатное солнце, и мне, не остывшему от разговора, все еще воображались липы бело-колодезьские, кочетовские вязы, шестаковские ясени — все деревья орловских парков старинных, от которых, коль глядеть на

них снизу, валится шапка: так высоко они встали над нами, и с годами становятся и мощнее и выше — часовые нашей истории, нашей культуры...

— Вы помните? «И то же в вас очарованье», — оживает она. — Что означали тогда для вас эти слова?

Да, у нас с ней, оказывается, уже много общего: этот пруд, эта дымка, эти воспоминания. Почему я тогда подчеркнул эту строчку?

— У вас есть сестра?

— Нет.

— Простите. Значит, вы — это вы?.. Сестра милосердия. Как когда-то Наташа Ростова. Наташа встречала Болконского израненным, уже побывавшим в деле, она...

— Сейчас я, наверно, спасла бы князя Андрея.

— Вы?

— Да, — она улыбнулась просто и нежно и прижала пальцем над ухом тонкую прядку волос. — Я работаю в той вон больничке. Прошу завтра с утра на прием.

— Лучше с вечера, как всегда.

Я поискал губами висок, но нашел тонкие пальцы и прижался к ним — они задрожали и опустились на шею.

- Не надо, — шептала она, глядя в меня большими, потемневшими от волнения глазами. — Не надо.

И сбивалось дыхание: волны вновь и вновь выкатывались на камень, раздвигали сохнувшие тростники. И в такт им, скрипя ржавой цепью, поднималась и опускалась легкая плоскодонка. Прислонившись к столетнему дереву, слушал щекой я верховую гулкость ствола, и белое платье переходило в туман, туман — в сизую дымку, дымка растворялась над прудом. А гулкость сгущалась в мелодию, насыщалась словами, звучала бархатным басом Штоколова:

«Я встретил вас...»

Душе хотелось чего-то большого и сильного, достойного всего этого, такого родного и близкого. Перед глазами проходила Россия — вся в тальнике, полувесенняя, чуткая, когда прекрасные звуки еще закованы в почках, готовые вырваться, пролиться миру зелеными шумами, напомнить тебе, что ты сын своей родины.

Мы и любим своих россиянок за то, что они нам как часть нашей родины, словно корень ее стержневой. Одни из них вровень с нами — что на ратном кургане, что у огненно-мирных мартенов. Другие, как Ярославны, делят с нами горькую влагу из шелома. А третьи — да каждый по себе отыщет светильник — нам светят всю жизнь и зовут, вдохновляют на доброе, вечное.

— «Я встретил вас», — сказал я ей, глядя в большие глаза, искренне радуясь, что все бывшее уступало во мне место надеждам, а значит, и будущему.

Как и во времена Киреевского и Толстого, перед новой охотой, в слободе перебрехивались собаки-зайчатники, горланили, чуя рассвет, петухи. Первые машины со свеклой полоснули фарами по дремотным вершинам. День начинался.

*с. Шаблыкино*

## ТАЛИСМАН

В Лютое мне пришлось добираться в поистине лютый мороз. «Ну и названьице, — думал я не без дрожи. — Прямо Северный полюс какой-то, столица здешнего холода». Мимо, обдавая белым газом и паром, катились машины, сворачивая на карьер. Наконец, мне посчастливилось: «газон» остановился прямо возле меня.

— Садитесь, — приоткрывает дверцу шофер. — Вам, я вижу, на Лютое?

— На Лютое, а с чего вы...

— Мы - передовые, корреспонденты нас любят.

В кабине тепло, тихо урчит мотор, навевает сладкую дрему. Степан Сазонович возвращается из дальнего рейса, и я представляю, каково ему снова видеть знакомые балки и взгорки, чувствовать приближение дома, родного села. Посылали его на Кубань за каким-то особенным просом. Новый председатель, горячая голова, сказал, что этим враз убьешь не менее нескольких зайцев: и делом ответишь за постановление о развитии крупных и вытолкнешь ввысь экономику хозяйства, потому как просо это дает невозможные урожаи... Профиль у Степана Сазоновича породистый,

выписанный, виски седоватые, усы пшеничные, чисто выбритое лицо. Глаза обрезались, провалились — устал человек.

— Тридцать семь годочков в пути,— говорит он добродушно, слегка нараспев. — В войну ездил на «Федоре» — «ЗИСе», стало быть. А прежде крутил баранку и на полторке, и на «форду». А еще раньше на «АМО-3». Де-ла-а!..

Сворачиваем налево, большак сменяется дорогой с высоко поднятым полотном. Из-под снега кое-где торчат земляные торсы.

— Новая дорога, — радуется мой спутник.

Полотно насыпано не так давно, может быть, осенью. Полотно широкое, вольное. Справа накатано — по ухабам, слева накатано — тоже по выбоинам. На малой скорости можно, конечно, проехать не тряско, тем более с грузом, но Степан Сазонович выворачивает на середку. Где не прикатано. Нас трясет мелко и неприятно. По прикатанному было бы мягче.

— А вот, гляди, след пробью,— крепче ухватившись за руль, рассуждает шофер,— все за мной и поедут. Еще двое-трое суток вот так потрясутся, а другим уже легче. Так и наладим дорогу.

Через каждые три-четыре километра Степан Сазонович останавливается, берет молоток, кряхтя, выбирается из кабины, идет глядеть: не сочтется ли просо? Просо не сочтется. Но он каждый раз выходит, чертыхаясь и жалуясь на радикулит — эту треклятую шоферскую «болезнь», от которой нет никакого спасения.

Насыпная дорога кончается, теперь мы едем вовсе медленно, осторожно. Надвигаются сумерки, а тут еще что-то сотворилось с обогревом ветрового стекла, и оно то и дело покрывается морозными лапами, наледью, затмевая дорогу. Степан Сазонович все чаще останавливает машину, стягивает с головы шапку-ушанку, с усердием трет-протирает ею стекло, прочищая себе амбразуру, но через какое-то время стекло опять затягивается матовой пленкой. Степан Сазонович снова останавливает машину и снова трет шапкой.

— Тьфу, черт! — бьет вдруг он себя по лбу.— Сичас.

И достает из-под сидения сверток, а из свертка - селедку.

— Вот везу домой,— глядит на меня в легком смущении Степан Сазонович. — Деликатес... Ну-ка, ну-ка,— кладет он ее плашмя на стекло и ведет сверху вниз, снизу вверх, оставляя широкие полосы. Наледь стаивает, стекло очищается. — Сольцей стравило,— улыбается Степан Сазонович.— Первый она этому делу недруг...

Едем какое-то время спокойно, затем мороз опять принимается за свое. Сумеречная дорога просматривается все хуже и хуже. А тут еще поднимается ветер, сухие sweи змеино ползут по дороге, появляются первые переносы.

— Нет,— решительно сворачивает Степан Сазонович в сторону, к маячащей на взгорке деревне.— Сегодня домой попасть не придется. Тут у меня сестра двоюродная — переночуем...

Тетка Наталья хлопочет, ставит еду на стол. Мороз за окошком крепчает, гудят под застрехою провода от радио, а в хате тепло, жаром пышет русская печь. Мы едим, стараемся, а между тем тетка Наталья подсвежает на печи желтой глиной узоры, прицокивает языком—раз-говаривает как будто.

— С кем это она? — удивляюсь я.

— А с «Кузьминишной»,— на миг отрывается Степан Сазонович.

— С какой такой «Кузьминишной»? — удивляюсь я пуще прежнего в, улучив минутку, словно невзначай, спрашиваю:

— С каких пор простые русские печки величают по отчеству?

— И-и, сынок, — беззвучно смеется тетка Наталья и делается вдруг серьезной. — Разве она простая? Печка эта память про деда Кузьму, земля ему пухом. Цельная тут, выходит, история...

— Не миновала война и нас, — продолжает тетка Наталья. — Отступали наши к Ельцу. Их провожали всем миром. Стояли на околице онемелые, а слезы из глаз да на землю. Не от осенних, милый, дождей, а от слез людских размокла дорога,

А утром нагрянул германец. Ходили, упершись автомата-

ми в животы, заглядывали на печки: — Партизанен? Зольдатен?

У меня поселились трое. С белыми серпами на груди — полевая жандармерия. Ну, и вражины. Голяком любили бегать по хате. Срубят яблоню — топи, matka. Натопишь, аж печка лопается, закроешь вьюшку, а они как полоснут бельмами: еще топи!

Обожали жару, окаянные. Их и ткнули вскорости в самое пекло — на передовую. Уезжали, порушили они по деревне все печи, увезли кирпич в блиндажи и окопы. Зиму думали зимовать.

Трех недель не пробыли. Как загремит-загремит на востоке... Были немцы, и нету. Всю деревню пустили, окаянные, по ветру, лишь торчит на юру одна хата деда Кузьмы — каменная.

А холода завернули, вот-вот ляжет снег. Сбились с детишками к деду Кузьме, горемыкали в этакой каше. Принялись долбить мерзлую землю, делать землянки. Сотворили с десяток — а какое жильё без огня, без трубы? Синели от холода ребятишки.

— Рушайте мою хату на печки,— приказал дед Кузьма. И сроду не брался, а взял да и слепил многолетней Семенихе первую печь. А потом вторую, третью... И прозвали дедовы печи на деревне «Кузьминишнами». Не первостатейные, правда, были, но грели, дали перебиться в лихую зиму.

На лето хатенки стали рубить, перетащили в них дедов кирпич. Сде-лался дед печником. По району ходил, чуть ли не до Хомутова. Так и помер на людях...

Тетка Наталья разводит в ведрке мел, начинает забеливать ветвистые трещины. «Кузьминишна» горит бодро и весело, красновато высвечивая сумеречные углы.

— На центральной усадьбе,— оборачивается хозяйка, — строят дома теперь с паровым отоплением. Переселяют. А я уж привыкла к «Кузьминишне». Жалко, право.

— Дед-то родной мне. По отцу, — утирает Степан Сазонович лоб полотенцем и отодвигается от стола.— Нашей породы дед — Глыбаков.— И сидит, отдыхая, в размышлении, в строгой степенности.

В сени заколотили.

— Эй, Наталья! — слышится встревоженный женский голос. — Слышь, отопри.

— Ольга Анцупова кончается, помирает от родов, — просовывая голову в дверь, тараторит тетке Наталье соседка. — Кровь нужна, переливание, врача с аппаратом, а тут возле тебя машина. Ну, я побежала.

Сон словно рукой смахнуло. Мы выходим наружу. Село уже спит, и только в клубе, напротив, толпится народ.

— Ой, что будет, что будет, — сыплет, шагая сбоку, соседка, — фершал прямо в зал, сеанс прекратили. Только переливание, говорит, кровь ваша может Ольгу спасти...

Подходим к клубу. Постояли, послушали, двинулись дальше, к медпункту. А мороз все давит, да так, что потрескивают ветки, да звенит под ногами наст, да седеет в пару от частых выдохов половинка луны. И где-то рядом, через стенку отсюда, стучится к нам новая жизнь.

В переднюю, к телефону, выходит фельдшер — измученный, бледный, молоденький еще, только что, видать, с «учебной скамейки». Звонит в райцентр, к главврачу. Тот, чувствуется, отвечает, что в данный момент «скорой помощи» не пробиться, обещает достать лошаденку и отправить врача с аппаратом.

— Есть что-нибудь придумать навстречу, — чеканит по-военному паренек и вешает задумчиво трубку.

— А вы что тут, товарищи? — поворачивается он к толпящимся у двери.

— К Ольге Анцуповой... говорят, переливание ей... где кровь тут сдавать?..

— А вы ей что, родственники?

— Мы все тут вроде бы... родственники, — перекашливаются в углу.

А в двери входят и входят еще и еще — всклокоченные, задыхавшиеся: бежали с поселка, с другого конца деревни. Входят, снимают шапки, скрадывая дыхание, вслушиваются в звуки за стенкой.

— Пока подождите, товарищи, тут, — добреет глазами фельдшер, показывая на стулья у стенки. — Врач с аппара-

том подъедет — определять группу крови. В Ждимировку надо, товарищи, навстречу...

— Да вот он шофер,— указывают на Степана Сазоновича,— и машина тут рядом.

И ждут ответа. Степан Сазонович молчит. Стоит, думает— многое, наверно, проходит перед его глазами: дороги, дороги, семья... Он морщится, топчется на месте, борения отражаются у него на лице.

— Да не могу я ехать,— наконец, глухо говорит он.— Ну не могу! И груз у меня, и вообще с машиной...

За стеной слышатся стоны.

— Эх ты! — сверкнув на него глазами, бросается фельдшер в палату.

Степан Сазонович угибает голову, проходит под взглядами к выходу.

Все вместе бежим на скотный, за лошадьми. Бежим напрямик — по снегам, буеракам. Степан Сазонович дышит все тяжелее, свистит горлом, держится, наверно, на одном «психе». Бежит и муж Ольги — механизатор, инвалид, припадая на правую ногу.

Там и сям зажигаются окна. Встречают тревожные голоса у хат: ну как, нашли бригадира? Запрягайте сани, да коней каких резвее!

Конюх дремлет в полуземлянке, оставшейся еще от послевоенных времен. Светит жаром русская печь — такая же, как у тетки Натальи. «Ишь ты, — отдышавшись, радуется и гладит рукой до горячим печным бокам Степан Сазонович. — Дедово изделие, значит. «Кузьминишна».

И оглядывает, задумчивый, помещение.

— У нас ныне машины на все, а кони — звери,— хлопчет словоохотливый конюх над сбруей.— Ни хвоста, ни мяса. И гужи на веревках. На таких до Ждимировки, как до луны... Где, спрашиваешь, мерин, закрепленный за медициной? Бригадир уехал, исчез, как утренний туман... Ну, сейчас, сейчас. Запрягаю.

Запрягли, наконец. Головастая лошадь тут же обросла инеем, стояла горбатая, опустив губу до самого снега.

— Эх, залетные! — плюхнулся в розвальни паренек, при-

бежавший сюда прежде других, и хлестнул вожжами. Лошадь переступила ногами, шатнулась вбок, сдвинулась, тут же разъехалась на ледке — некованая.

— Да-а,— вздыхает Степан Сазонович.— Дела-а...

Пробудилась деревня, далеко слышны голоса, «Кровь Ольге нужна... на выбор, какая подходит... переливание...» Выходят из дворов на большую улицу, с выселков. Все больше и больше люду. Идут уж толпой. Все быстрее, быстрее. Туда, к медпункту. «Это ж надо, а? Человек рождается, и человек умирает». И нас вовлекает эта стихия движения, и мы снова бежим. Напрямик — по снегам, буеракам. Скорее, скорее...

— Чего это мы? — останавливается Степан Сазонович. Слышно, как удаляется дружный топот, глухнут голоса. Степан Сазолович решительно поворачивает к дому тетки Натальи.

Рывком он открывает кабину, достает резиновое ведро. Вскоре теплая вода уже булькает в радиатор, еще минут через десять машина выкатывает за околицу.

А мороз все трещит. Время от времени Степан Сазонович останавливает «газон», смачивает тряпку горячей водой и делает ею себе в стекле амбразуру. «Газон» рвется вперед, пробивая переносы. Вперед и вперед. Степан Сазонович молчалив, сосредоточен. Вот и село какое-то, вот чей-то дом. Степан Сазонович стучит своим шоферским ключом в окошко.

— Ой! — открывает женщина дверь.— Ой, Стеня! Вернулся.— И наклоняется, ловит руками голову Степана Сазоновича.

— Не совсем,— косясь на меня, отстраняется Степан Сазонович, — Тут в Султановке одна помирает, от родов. Надо, Машенька, ехать.

— Я сейчас,— говорит хозяйка и поспешно исчезает за дверью.

Мы проходим в переднюю, с минуту сидим в размышлении. Степан Сазонович крадется на цыпочках в спальню, появляется просветленный.

— Я готова, — выходит из комнаты женщина — она в

белом халате, с чемоданчиком. — Марья Михайловна, — представляется она. — Врач здешней больнички... А вам зачем с нами? Вы вот тут отдохайте.

Не спится. Выхожу во двор. Звезды до того крупны, до того явственны, утягивают взгляд за собой, а потом этим взглядом притягиваются обратно, что невозможно поверить в миллионные их расстояния от Земли. Все движется образцово и вечно в отлаженном своем механизме. Вес на земле подчинено тому же движению: вот сейчас подул ветерок — надует в конце концов тучки, и снегопад, мороз ослабнет, воспрянут сады; вон у сарая стоит приземистая времянка, тоже, наверно, с «Кузьминишной» — сколько добра рассеяло в людях рукотворство деда Кузьмы; там сейчас, на дороге, летит в Султановку Степан Сазонович с медпомощью — и один человек непременно родится, а другой человек не умрет. И звезды будут так же крупны, так же явственны, так же чисты, примерны для нас в извечном потоке движения, и ничему — ни войнам, ни страху, ни преступлениям — не раскочерить-расстроить того же потока, тех изначальных святой, что движут всем живым на Земле...

Домой они возвратились уже засветло.

— У Ольги, — устало говорит Марья Михайловна, — седьмая-то — девочка.

— Вот оно как, — широко улыбается Степан Сазонович. — Для продолжения жизни. — И ни словом про то, как ехали этой ночью, как в потемках чуть ли не слетели в овраг.

— Тоже когда-то девочку ждали, — снимая пальто, начинает хлопотать Марья Михайловна. — А родился вон Генка.

— И правильно сделал, — гудит в усы довольный Степан Сазонович. — Для полного набора, братишка Аллочке. Верно, Генка?

Десятилетний Генка, который поступил «верно» уже тем, что явился на свет, еще сонный, вьется у отца под руками: что купил да что купил? «На-ка», — дарит отец перчатки — настоящие, вратарские. Генка подпрыгивает до потолка. Жене Степан Сазонович достает из сумки пышный пухо-

вый платок. Шутливо несет на вытянутых руках, опускает на плечи.

— А Аллочке, Стеня, пальто? — спрашивает Марья Михайловна.

— А с этим статья особая, — разводит руками Степан Сазонович. — Все ноги оттрепал по магазинам... искал самое лучшее.

— Ну-ка, ну-ка, какое? — в дверях спальни неожиданно появляется девушка — хрупкая, с темно-русой косой, с большими серыми глазами — копия мама.

— Ба! Да что же это за соня? — застывает в удивлении Степан Сазонович и кричит на кухню: — Эй, мать, а чего Аллочка здесь?

— Курс наук уж закончен, — опускает ресницы Аллочка. — Поздравьте меня — агроном.

— Ну? — вроде бы удивляется Степан Сазонович и подмигивает мне. — Ну тогда принимай подарок.

Пальто сложного, бронзово-сизого цвета, ладно ложится по его фону коса.

— Спасибо, — поджимает губы Аллочка и уходит в спальню к себе.

— Чего это она? — спрашивает Степан Сазонович жену, вошедшую с чайником, та пожимает плечами.

Вскоре мы сидим за белой накрахмаленной скатертью, пьем духовитый грузинский чай. А Марья Михайловна все подкладывает нам пирожки собственного печения, подставляет варенье. Насытившись, я откидываюсь на спинку стула, оглядываю комнату: телевизор в светло-желтой оправе, полка с медицинскими книгами, на ней шкатулки палехской работы,

— Отец у меня был любителем, — перехватив мой взгляд, мило улыбается Марья Михайловна. — И жили мы в городе. Да вот мой джигит, — кладет она руку на плечо Степану Сазоновичу, — похитил меня и увез сюда.

— Ну и как вам... тут, когда муж в поездке?

— Как? — задумывается на минуту Марья Михайловна и кивает на стенку:

— Вот он помогает, он — наш колдун. Я знала: все у Степани в порядке.

«Колдун» — это на стене старинный барометр. В футляре красного дерева, с причудливыми завитушками. Стрелка его показывает на «ясно». Талисман семейный, этот «колдун». Я на миг представляю, как было ей, коренной горожанке, начинать здесь новую жизнь. Степан Сазонович весь век свой шофером. Значит, частенько поднимался с рассветами, чтобы ехать на дальние фермы, в дальние рейсы, и Марья Михайловна живо взглядывала на барометр, подавала мужу плащ и сапоги:

— «Колдун» показывает на дождь...

И муж уезжал, а она оставалась с детьми, хлопотала в больничке, по дому, взглядывала на барометр ночами, просила его «наколдовать» хорошей погоды, чтобы Степану ездилось легче...

Заходит речь о городах и весях, где удалось побывать за свою жизнь Степану Сазоновичу. Я смотрю на него, на его серебристую голову, на всего — подтянутого, рассудительного, и вижу в нем что-то располагающее, доброе и в то же время уверенное — во взгляде, в улыбке, манере говорить и держаться. И думаю: не без вины во всем этом старый, добрый семейный «колдун»...

Уже под вечер я почувствовал что-то неладное в семье. Днем Аллочка бродила по комнатам в грустной задумчивости, все вздыхала. Иногда она подходила к зеркалу, всматривалась в себя, потом брала пожелтевшее фото, где Степан Сазонович был изображен еще молодым, лихим казаком-рубакой (попал в кавалерию по причине пышности своих пшеничных усов), и долго рассматривала его. Нечаянно я услышал такой разговор.

— Мам, — сказала Аллочка матери, — а где тот... который Борзых?

— Не знаю, доченька, — насторожилась Марья Михайловна. — Да и зачем?

— Да, конечно, — вздохнула Аллочка и больше не спрашивала ни о чем.

Уловив мой взгляд, Марья Михайловна раздумчиво подошла к серванту, крепче устроила портрет Степана Сазонова. Постояла, потом обернулась. И как-то сразу, мягко и доверительно, начала говорить, говорить. Кто такой Борзых? Был ее первым мужем. Гуляка и пьяница. Ушел, наконец, из дому и скрылся. С шестимесячной Аллочкой повстречала она Степана Сазонова — не красавца, но человека дельного, рассудительного, у них появился сынишка Генка. Пуше глаза берегли семейную тайну. Степан Сазонович следил за каждым шагом любимицы, грустнел, замечая, как взрослеет она.

— И вот кончат Аллочке техникум — потребовались документы, — заключила Марья Михайловна. — Послала я в дирекцию свидетельство о рождении. С него и списали в диплом фамилию, имя и отчество. Получила Аллочка его — полетела к директору: ошибка! Чужое имя, чужое отчество. Открыли ей все...

Возвратившись из правления, Степан Сазонович заметил настороженный взгляд Аллочки, припухлость под глазами.

— Вот уезжать уже собирается, — кивнула на нас Марья Михайловна.

— Мне на работу пора, — сказала Аллочка и выскочила в спальню.

— Аллочка! — двинулся было следом Степан Сазонович.

— Не подходите ко мне, не подходите! — слышались в спальне рыдания. — Вы меня... все вы... всю жизнь... обманывали...

Марья Михайловна собралась быстренько и ушла на вызов. Степан Сазонович придвинулся к столу, повертел рассеянно справочник о новых марках автомашин, поставил справочник на свое место и долго сидел, глядя в окно, в лунные снежные дали.

С утра началась беготня. Молодой специалист ехал на свой хлеба, и проводить его надо было, как полагается. Набивали сумки и чемодан, укручивали постель. Аллочка вышла из спальни только тогда, когда Степан Сазонович отправился в гараж за машиной. Вскоре он подогнал под окна «газон» свой, бестолково затоптался в передней. Ма-

рья Михайловна, вставшая чуть свет, все совала в сумки пироги и наливки, без конца наставляла дочь житейским премудростям. Аллочка слабо слушала ее, опустив голову, боясь встретиться взглядом со Степаном Сазоновичем — глаза ее после ночи углубились и покраснели.

По обычаю перед дорогой разом присели. Разом встали. Аллочка вздрогнула, огляделась: родимые лица, родимые стены, что-то там впереди? Степан Сазонович отвернулся к двери, смахнул со щеки непослушную влагу, сказал сипловато:

— Ты там... того... не болей.

Аллочка поставила сумку, бросилась к нему, обхватила шею руками.

— Спасибо, папа! Спасибо...

И опять перед нами стлался большак. Мороз уже сдал — воздух по-грузнел, сделался сырее и гуще, дали было уже сизо-стеклянными, виделось глубже и явственнее. Навстречу нам, из-за лесочка, выгибалось огромное солнце, мы мчались по красивой дороге. Выехали на неприкатанное. Километры, ухабы, ухабы. Еще двое-трое вот так потрясутся, а другим будет легче; так и наладим дорогу.

*п. Белгород.*

## ЕГО ГОЛУБАЯ МЕЧТА

Вся жизнь Матвея Митрофаныча прошла у культурного очага. Когда-то он был «избачом», потом избу - читальню сделали клубом, и его оставили в штате художественным руководителем. Когда же клуб возвели в ранг Дома культуры, ему, в знак особых заслуг, подыскали должность «технички». Матвей Митрофаныч не роптал, понимал, что пошел народ грамотный — после курсов, техникумов, а директор даже со специальным образованием, отчего так и чешет: рампа, нонаккорд, ватерклозет, система Станиславского в Мейерхольда. Но самое любимое его словечко — «номенклатура»...

Прежде Матвей Митрофаныч держал ключи, отпирал клуб и сейчас тоже держит и отпирает. Только разница в

том, что над ним теперь вон сколько начальства. Зарплата почти такая же, зато никакой ответственности. Вымоешь ночью полы и день-деньской делай, что хочешь. А у него известная страсть: писать маслом картины. Матвей Митрофаныч всегда говорил, что рисует картины, но лет пять назад приезжал в Подольянь один художник, так он сказал: надо выражаться профессионально: картины пишут, да еще и маслом.

Матвей Митрофапыч пишет свои с незапамятных лет. Углем на бересте чертил острые лики в буденновках. Карандашом на бумаге рисовал бандитские кистени. А за масло взялся не так давно, уже после войны. Столько всего за жизнь написал, если рассовать — каждому в избу перепадет.

Хата Матвея стоит напротив Дома культуры. Культурная точка при нем, и он при ней, вроде при деле. Главное — люди не упрекают, что у него, Аксенова, потомственного хлебороба, шлея хлеборобская со плеча соскочила. Чует в себе Матвей силы невероятные, готов объять душой все окружающее. Когда накатит на него вдохновение, хватается за кисть и работает без сна, без еды, до остервенения.

С тех пор, как померли отец-мать, а затем и жена Луша, не оставив ему никого, Матвею в хате и словом не с кем перемолвиться. Что скажешь стенкам про думу свою, про мечтания и замыслов очертания. Зазвал он к себе как-то директора, Станислава Степаныча (тот вуз заочный кончал, должен, кажется, понимать), но тот, как только увидел Матвеевы картины в комнате, в сенях, даже сарае, так сразу же впал в крайнее изумление:

— Это, понимаешь, номенклатура! Прет из тебя, брат, святое искусство.

И разрешил занять под мастерскую котельную, откуда заодно и продолжать отопление Дома культуры.

— Тепло, смешно, и мухи не покусает,— прицокнул он языком.— Не забудь пригласить на новоселье.

Просились к Матвею на квартиру то молодой зоотехник, то осиротевший ветеринар, Матвей никого не пускал: да ну их, мороки с ними, отрывать будут от дела. Но, когда

в передней появился директор — Номенклатура и сказал: «Принимай постояльца»,— а за ним, щебетнув, влетела девчонка, оказалось, художественный руководитель, Матвей и слов не нашел для возражения.

— Наш работник Круглова,— сказал ему Станислав Степаныч и под-мигнул.— Так что обожай, но не обижай.

Девушку звали Нина — светленькая, голубоглазая, в коротенькой юбчонке стояла, опустив голову: боялась, откажут.

— Располагайтесь,— как можно добрее сказал Матвей Митрофаныч и тут же ушел жить в сарай, за неделю в доме и не показался.

— Извините, Матвей Митрофаныч,— встречалась утрами с ним у умывальника Нина,— я вас выжила?

— Ничего,— бодрился Матвей Митрофаныч и отворачивался, боясь случайно увидеть голые девичьи плечики.

После первой получки она пригласило его в комнату пить чай. «Неудобно как-то, Матвей Митрофаныч,— говорила она. — Чей дом — непонятно». Он пил, обжигался, стараясь скорее допить свое и уйти. Нина наливала еще и еще, затем кивнула на стенку:

— А это все вы нарисовали?

— Я,— сказал Матвей Митрофаныч.

— А-а,— протянула Нина,— А я думала, все это из магазина. Эти, как их... с картин репродукции.

— Нет,— улыбнулся Матвей Митрофаныч,— здесь в доме все только свое.— И начал зачем-то рассказывать про себя. Нина слушала и удивлялась: никогда б не подумала, в деревне — и художник, неужели настоящий? У них в культурпросветучилище, на библиотечном, рисовал парнишка — так, самую малость, и то все ходили смотреть на него, как на мамонта.

Станислав Степаныч решил из Аксенова сделать, как он выразился при Нине, «номенклатуру». Развешал картины но всему Дому культуры: в зале, фойе и у себя в кабинете. Раззвонил по райцентру, что у них в студии при Доме культуры работает «дворцовый художник», народный умелец, «дитя того и этого света, а также мастер импровизации».

Вскоре из областного радио прикатил в село корреспондент. Матвей Митрофаныч скрылся куда-то и целый день не показывался, за что получил нагоняй от директора, «ввиду небывалой скромности, пагубной для всякого деятеля культуры».

— В следующий раз отражу на бюджете,— сказал он Матвею.— Наложу на зарплату секвестр, никакой арбитраж не поможет. Бьешься за вас лысиной о паркет, а вы с Ниной не воспринимаете.

— Мы воспринимаем,— стоял и переживал Матвей Митрофаныч перед собственной картиной «Розы в октябре», висевшей за спиной у директора.— Только, прошу вас, увольте от...

— И уволью,— согласилось начальство. И вдруг хлопнуло его по плечу, расхохоталось.— Ну да черт с ними, с этими корреспондентами! Мы, Митрофаныч, пьесу эпохальную грохаем, так ты это... оформи спектакль. Нарисуй декорацию, чтобы как в Большом театре, не хуже. Ну-ну... ты можешь, а, Митрофаныч?..

Надвигался районный смотр художественной самодеятельности. Станислав Степаныч выбрал для постановки драму Ф. Шиллера «Разбойники». Кое-что урезал, кой-чего подпустил от себя, или, как он выразился, «подсовременил». И кружковцев для этого не хватило.

— Школьников мобилизнем, — прицокнув языком, сказал Матвею директор и тут же дал нагоняй:— Ты чего тянешь с оформлением, как бог с черепахой?

— Так ведь уже позабыл, какие они, средневековые замки: видел в Германии аж в сорок пятом.

Как только сшитые простыни были доведены до средневековой кондиции, Станислав Степаныч дал Матвею другое задание: выучить роль сына старика Моора— Франца.

Роль Матвею не нравилась. Он учил ее и проклинал тот день и час, когда свалился на его голову этот... Номенклатура. Замучил, спасу нет, теперь потащил на сцену. Кому нужна эта инсценировка, когда по телеви-зору хватает спектаклей московских театров? За месяц он к кисти не притронулся по-настоящему, а живописец, как снайпер: ему глаз да глаз нужен...

На прогоне спектакля присутствовал инспектор райотдела культуры Востров. Зал был переполнен. Подняли занавес. Согласно инсценировке, Матвей должен был появиться на сцене в обществе старика Мора — директoра и Амалии — Нины.

— На выход,— шепнули Аксенову и слегка подтолкнули.

— Не пойду,— побледнел вдруг Матвей Митрофаныч.

— На выхо-од!— зашипели, замахали кружковцы — учителя, врачи, агрономы, схватили его под руки, подтащили к краю кулис.

— Все равно не пойду,— упирался ногами в рояль Матвей и смотрел на Нину — Амалию, на старика Моора — директора, на его руку у нее на плече.

Пауза затягивалась. В зале затрещали покашливания.

— Пойди сюда, Франц,— провозгласил со сцены старик Моор и скрипнул зубами.

— Не пойду,— замотал головою Матвей.

— О ужас! — воздел руки к небу старик Моор и опять опустил их на Амалию.— Я тебе говорю, Матвей, подойди!

Только Матвей хотел развернуться, как кто-то толкнул его в шею, так что он пробкой вылетел на сцену. Увидел совсем близко Нину — Амалию в голубом платье со шлейфом, гранд-даму, красивую, сероглазую, и все слова, которые учил он столько дней, разом вылетели из его головы. Он не слышал суфлера, слышал только ее...

— Ну вот и пришел, а ведь не хотел,— улыбнулся ехидно директор.

— Я уйду,— сунулся было назад Матвей Митрофаныч.

— Оставайся,— махнул директор,— да не упрямясь.

— Я люблю тебя, Амалия, как себя самого,— шептала Францу суфлерша.— Я люблю тебя... люблю тебя...

— Убери руку,— входя в роль, сказал неожиданно Франц отцу — графу Моору, директору.— И вообще, не могу говорить ей эти слова при тебе. Или я, или ты. В пьесе тут не должно быть, кроме нас, никого, я читал...

Зал умирал со смеху.

Франц — Матвей потоптался на месте, оглянулся назад: там его караулили. Тогда он поклонился зрителям, пересек сцену и исчез за другой кулисой.

После такой «самодеятельности» директор уволил Матвея Митрофаныча со всех должностей: уборщицы и истопника. Но через неделю сам пришел к нему просить прощения. Однако картины со всех стенок содрал, добрался даже до библиотеки, где висели Матвеевы на-тюморты «Яблоко только что из кадушки» и «Вино и виноград».

— Уберите пачкотню,— указал он библиотекарше.— Возбуждает не аппетит, а рвоту. Тут у вас все-таки номенклатура — классики всевозможных мастей.

За Матвея Митрофаныча вступилась только Нина — Амалия.

В качестве меры наказания «злодею на сцене» Станислав Степаныч перевел Нину на другую квартиру, и в доме Матвея Митрофаныча опять стало пусто.

Матвей в котельной сидел теперь безвылазно, наверх и не показывался. Стащил к себе вниз свои впавшие в немилость картины, побросал их все в угол. Раскочегарив топку, долго смотрел на жар. Огонь возбуждал его, заставлял кипеть мысли и чувства. Он знал, что односельчане считают его чудаковатым: не пашет, как другие, не учит, не лечит, занимается тем, от чего ни проку, ни корму. Однако он знал и то, что в райцентре эти люди не преминут похвалиться, что мы-де подолянские, но не из подлесной, а из той Подольяни, где «Митрофаныч, который художник, живописует действительность резко и занимательно».

Нина ходила домой теперь через речку, на другой край села. Однако нет-нет, да и забегала по старой памяти, просто так, в хатенку под двумя рыжими кленами. Если бы знала она, что значил для Матвея Митрофаныча каждый ее приход. Снова и снова воображал он ту сцену, Нину — Амалию в голубом, облокотившуюся на скамейку — гранд-даму, красивую, сероглазую. Как она взглянула тогда, будто обдала кипятком! Глаза — акварель, серые в синюю краплинку... Он создаст шедевр. Должен же быть у каждого в жизни, черт возьми, свой шедевр! Не для всех, только для нее! Есть же в мире у кого-то твой настрой, такое же ощущение жизни, как у тебя, родная тебе душа...

Прошла осень, на исходе была и зима. Матвей Митро-

фаных писал картину, забыв обо всем на свете: лишь внушительный стук в котельную, в правую раму, напоминал ему иногда, что наверху стало холодновато, пора и топить. Нина стучала тук-тук-тук, как синичка. «Вы тут совсем отощаете»,— совала она ему то пирожок, то конфеты. Он отмахивался и сразу же переворачивал свое творение к стене. Ему ничего не было нужно — только сидеть, смотреть на Нину, которая была тогда гранд-дамой, в голубом и со шлейфом. Акварель. Капельки ультрамарина, глаза с синим ободком...

Весна ли была тому виной, но Нина тоже вдруг стала внимательнее к снегу, деревьям и почкам. Идет по дороге, остановится, слушает, как в след от каблука, позванивая, натекает голубовато-зеленая вода, как стекле-неет в мартовских полях воздух, делает душу ее тяжелой, а голову легкой. И Нина окунулась в работу, она и не знала, что это так интересно — работать. Всего-то какой-нибудь свежий нюансик в их струнном квартете, а боже мой, сколько мучений. Оказывается, как здорово, когда отдаешься искусству, как, например, Матвей Митрофаныч. Этому в училище их не учили, этому и не научишь...

Матвей Митрофаныч закончил картину к началу апреля. Побаливала голова, поднялось кровяное давление. Но ничего, впереди — тепло, цветение садов. В субботу он сделал раму, натянул полотно. Ночью выбрался из котельной и, пройдя на цыпочках через фойе, подтянул к стене лестницу и укрепил картину на самом виду, над дверью в зрительный зал. А лестницу перенес через дорогу, домой.

Воскресным утром инспектор райотдела культуры Востров заехал в Подольняк по вопросу завершения отопительного сезона. Вместе с директором они вошли в фойе клуба, и оба невольно остановились: перед ними, во всю стену над входом в зрительный зал, высвеченное через верхнее оконце солнечным лучом, сияло нечто такое голубое и праздничное, что дух захватило. В сторонке толклись любопытные, среди всех Нина, Матвей Митрофаныч.

— Что это?— сдвинул брови директор.

— Картина,— подошел к нему поспешно Матвей Митрофаныч.— Мой голубой, как говорится, шедевр.

— Шеде-е-евр?! — Станислав Степаныч от изумления с минуту не мог продыхнуть.— Да знаешь ли ты, отче, что такое шедевр? Но-мен-кла-ту-ра! Высшая и последняя стадия...

— Глупости, — подлетела веселая Нина. — У искусства не может быть последней стадии.

— Верно,—подтвердил Матвей Митрофаныч,— Ох, эти мне злодеи на сцене!— наклонился Станислав Степаныч к Вострову и, уходя в кабинет, обернулся к Матвею:

— Убери стряпню, не срамись, Пикассо...

И Нина, как показалось Матвею Митрофанычу, засмеялась в угоду директору, а значит, и над тем, что висело в фойе на стене. И Матвей Митрофаныч уже не слышал ничего. «От тебя уходят в пространство струны,— мучительно думал он. — От другого уходят струны в пространство и где-то по звуку встречаются... Они не встретились, и я, выходит, прожил пустую жизнь, ничего не сумел»...

Матвей Митрофаныч перешел через дорожку, лег в постель и... умер.

Картину снять не успели. Она висела на самом видном месте в фойе, и все подоланцы, кто из ближних сел, кто из райцентра, шли взглянуть на «высшую и последнюю стадию Митрофаныча» — на его «голубой ше-девр». Стояли, высоко подняв голову (ведь это же очень важно, как держишь голову, когда смотришь на настоящую вещь). Простой деревенский хлопчик тянулся с маленького островочка к простой деревенской хате, с которой стремился в голубизну аист — подломил крыло, оттолкнулся и на полувзмахе в крик...

Станислав Степаныч извлек из котельной остальные картины, отряхнул от угольной пыли, развесил их, где только можно, не забыл даже бильярдную. Ко входу придвинули стол с книгой отзывов: пожалуйста, записывайте свои мнения.

На следующей неделе в Доме культуры собралась сессия местного сельсовета. В конце ее подняли вопрос, как быть дальше с «фондом Аксенова»: оставить его для внутреннего употребления или толкаться, если это действительно

ценно, в район? Говорили охотно и много, все знали Аксенова и подозревать не могли, что жизнь его, оказывается, была «достоянием», гордостью их села Подолянь. Горячо за движение картин «куда-нибудь выше, в район и так далее» выступал Станислав Степаныч Рыкун, назвавший в горячке Аксенова даже «народным артистом», достойным воспитанником Подолянского Дома культуры, с которым тот не порывал тесных творческих связей до последнего вздоха.

— Это праведник, солнце нашего села Подолянь, — сказал он в заключение и сел, довольный произведенным эффектом.

— Э, куда хватил, — встал тут же бригадир подолянской полеводческой бригады. — У нас таких солнц знаешь, сколько может набраться? В каждой бригаде. А солнце, товарищи, у нас, сами понимаете, только одно, — смотрел он куда-то мимо, на стенку. — А это был человек, художник, с отдельными недостатками. Хотя бы та сцена на сцене. Хм, народный артист! Сущие вы тогда, простите меня, Станислав Степаныч, сущие вы тогда оба были разбойники.

— Ну чего там, — зашумели в зале. — Кто старое помянет...

— А кто забудет, тому два глаза вон, — стоял на своем бригадир. — Я, товарищ, так вот приглядываюсь: чем-то это строеньеце... в «голубом шедевре» скидывается на наш сельсовет, а? Скидывается. Но к чему на ней аист? Где вы видели у нас на сельсовете гнездо, товарищи, с аистом? Шутит, стало быть, автор? Что, без шуток нельзя? А что в действительности на сельсовете, товарищи? Флаг! А у него аист. Вы что-нибудь понимаете? Я лично — нет. Не понимаю я этого аиста. И вообще в широком смысле не понимаю искусства Аксенова. Сам Матвей Митрофаныч был человек неплохой, не возражаю. Но с фондом его, товарищ директор, надо повременить. У нас есть дела и поважнее...

Станислав Степаныч выходил из зала последним. Посредине фойе стоял человек средних лет, со светлой бородкой, явно не подолянский. Рассматривал «голубой шедевр» Митрофаныча.

— Вам чего, гражданин?— подошел к нему Станислав Степаныч.— Мы закрываем.

— Потрясающе! — сказал человек с бородкой.— Тонко, профессионально. Как он мог? Здесь, в деревне, один, без общенья...Мне рассказали, и я специально приехал,— повернулся он к Станиславу Степанычу.— Я из области, из Союза художников... Вы не сможете устроить мне встречу с теми, кто его близко знал?

На беседе Нина не выдержала, упрекнула: «Он же к вам туда не раз обращался. А теперь»...— «Да-да, я вас понимаю,— говорил художник задумчиво,— но я лично тут не при чем»...

Был голубой майский день. В сторонке, перезваниваясь серебром, пролетали дикие гуси. Струна к струне, голос к голосу. Еще пару месяцев, и год Нининой работы уже позади. Первая встреча с творчеством у нее была здесь, в Подольяни. Перед глазами всю жизнь у нее будет тот мальчишка из «голубого шедевра», чем-то похожий на Митрофаныча. И вдруг ей захотелось увидеть его — всегда тихого, беззаветного, вечно с кистью в руке. Она вздрогнула, вникнув наконец в смысл его простого шедевра. Это в полотне не обязательно голубое — просто небо, просто воздух, просто надежды, осуществление замысла. Это все лучшее в человеке и человек, которого не вернуть.

*д. Костюрино*

## СОЛОМЕННАЯ ГРУСТЬ

— Ведь вот как бывает, — начал рассказ один мой хороший знакомый. — Случай иногда перевернет всю твою жизнь. Особенно, если тебе было четырнадцать и сердце, только что перенесшее войну, остро чувствовало чужую боль. Мечтал я стать моряком, а стал, как видите, ветеринаром. Случай повернул меня лицом к людям, заставил задуматься... Впрочем, о случае.

\* \* \*

Сенька вышел во двор. Утро было серое и зябкое. Через дорогу, под яблонями, пустынно и дальше, направо, тоже пустынно, и еще, еще дальше. Сколько хат спалено немцами, сады еще не успели отойти от пожаров, застроиться пустыри. Хата, хата, землянка, землянка, землянка...

Сенька привстал на носочки, потянулся до сладкого хруста в плечах и оглядел двор. Сквозь туман проступала двуколка с несуразно большими колесами, с торчащими вверх оглоблями. Темной горой лежала корова Рябинка, уткнувшись в натрушенную маманькой еще с вечера солому. Сенька прислушался: в саду смачно шлепались о лопухи крупные капли оседавшего тумана; в соседнем дворе неожиданно хлопнули топором — звук дошел глуховатый, нерезкий... Топор зачистил. Сенька заглянул в проем между клуней и грушинкой и различил размытые, необычно крупные тени. Тетка Феня вроде бы била топором по макушке дядю Протаса, а тот, согнувшись, продолжал что-то делать как ни в чем не бывало. Куда девалась сонливость! Сенька оторопело протер глаза и придвинулся к загородке: дядя Протас собирал хворост как раз за колодой, по которой колотила топором тетка Феня. «Вот оно что», — успокоился Сенька в повернулся к двери.

С порога пахло дымком: маманька топила печь жидкой старой соломой. Сенька даже икнул от неожиданного перехода с холода в тепло и тут же услышал от матери:

— Ватину безрукавку надень — и груди тепло, и рукам развязно.

— Ладно, — буркнул Сенька и чинно уселся на главное место. На этом месте сиживал батя. А с минувшей весны, когда батя помер от фронтовых ран, мать усадила здесь Сеньку. Почти в самый раз Сеньке отцовы штаны и рубаха, а теперь вот и стеганка. Сегодня у Сеньки серьезное дело — ехать за соломой аж во вторую бригаду, потому подняла маманька его с петухами, а на подмогу ему наладила своего любимца Витю-Витюню: небось тоже не маленький, на тот год в школу пойдет.

Витя-Витюня слонялся по горнице, словно куренок после заката. Со-слепу зацепился за тумбочку — банка с ро-

машками, собранными вчера Сенькой в Кубанковском саду, скользнула и, дзынькнув, так и расселась на половице.

— Ой! — маманька чуть не выронила чугунок у печи и поглядела строго на Сеньку: — А это тебе, родимец тебя! Ах ты, тюха-матюха! — задевала она по затылку Витю-Витюню.

На шум завозились в постели и выставили из-за полога свои чернявые головы и остальные — Колька, Тоська и Юрик.

— А ну, кыш обратно! — скомандовал Сенька и повернулся к маманьке: — Да хватит тебе!.. Подавай лучше чугунок под разгрузку.

Водрузив на стол чугунок с дымящейся картошкой, он поставил рядом жестяную миску с огурцами да положил хлеб. Маманька прошла в горницу и, присев за ребячий стол, достала лист чистой бумаги. Прежде чем обмакнуть перо, она поглядела в сизоватое окно и задумалась. Сегодня на Крюковом поле делят солому. Уж она-то знает, что это такое. Раз в год бывает. Каждый в деревне готовится к этому дню, каждый, небось, уж нашел, на чем увезти свою кучку. Нелегка вдовья долюшка. Сорвала Сеньку сегодня с занятий у Клавдии Павловны, а у Сеньки класс осенью самый серьезный, седьмой, — готовится Семен на тот год в мореходку... Э, да что там Сенька-то! Сама собралась метнуться, да симменталка в ее группе, по всем видам, вздумала телиться... Промыкалась с ней, мерина у заведующей фермой не успела выпросить, а теперь надо ехать, хоть на своей, на Рябинке. Хорошо еще сбруя, тележка сыскались. Сенька справится, ничего...

Она решительно макнула перо в чернильницу и провела им по бумаге.

— Перо почему-то не пишет, — удивилась она и вздохнула: — Навернушко, жир попал. Всегда так, — рассуждала она, — жир попал — чернила не зацепятся.

— Жир попал-ал, — хихикнули за пологом.

— Это ты, Колька? — строго спросила маманька. — Ты напустил жира в чернила?

— Это не я, это Тоська, — захлебнулся сразу от стольких слов Колька.

— Он врет! — живо вскочила Тоська. — Он бросил туда вчера кусок сала.

— Спице, ироды, — махнула маманька рукой и стала искать карандаш.

«Кирила Маркелыч, — вывела она туго, чуя, как толстые в суставах, грузные пальцы плохо слушаются ее. — Не обидь мальчонку, Сеньку-то, — писала она, помогая пальцам губами. — Он теперь у меня за старшого, за Николая, земля ему пухом. А у меня на ферме корова стельная, ферма сегодня держит. А Сенька у меня хороший, и за бабку, и порточки постирать ребятенкам, и корову когда свою подоить. А как год исполнится, на ту пятницу, приходи помянуть друга-товарища, бывшего воина Николая Семеныча. А кому мы теперь без самого? Не обидь, Маркелыч.

К сему доярка-рекордсменка  
по нашему хозяйству Мария Гамузина»

Она вздохнула, свернула записку вчетверо, положила ее перед Сенькой и стала смотреть, как управляется он неспешными, покрупневшими руками. Покончив с картошкой, Сенька хлебал уж вторую миску лапши. Так всегда едал батя, приговаривая: утро с хлебами — день-деньской с нами. А Витя-Витюня все ладился-прилаживался к миске, дул, что есть силы, то на нее, то на ложку.

— Горячая, — смотрел он виновато на Сеньку.

— Погуще, вот и остывает подоле, — ласково говорила маманька. — Зато эдак сытнее... Ничего, ты давай, Витюня, смелее, полегонечку и переплывешь.

Пока Витя-Витюня плыл через миску, Сенька успел запрячь Рябинку и провести ее по двору. Сначала корова недоуменно косилась на сбрую, оглобли, пыталась, освобождаясь, даже крутнуть боками, но годы и смирный характер взяли свое. Мотая из стороны в сторону тяжелым, разработанным выменем, она покорно двинулась за Сенькой по еще сонной, но уже розовеющей улице.

Витя-Витюня нагнал их возле околицы и, засмеявшись, полез в тележку на полном ходу. А ход у коровы был раздумчивый, важный, она шла на восход своей давней, привычной дорогой, которой всегда утрами ходила со стадом

в луга. Овода пока не докучали ей, было прохладно, она шла, загребая разлапистыми копытами пыль, и пустеющие августовские поля стояли в ее темных, глубоких и влажных глазах. Сенька загляделся в них, корова подняла голову и дыхла на него таким родным, травянисто-молочным паром, что по спине у него пробежали мурашки.

Сенька тоже взобрался в тележку. Дорога укачала Витюню, он ткнулся в Сенькину спину, обтянутую безрукавкой, и лежал, не подавая признаков жизни. Сенька вздохнул, подломил локоть, поискал затылком мягкий ватник и, повернувшись лицом в небо, весь отдался дороге. Колеса были большие и такие кривые, что каждый раз то одно, то другое словно бы наезжало на стенку, затем падало в кручу, отчего вся тележка скрипела и замирала и снова скрипела, и так без конца без начала, затягивая Сеньку в густую, тягучую дрему. Иногда под колесами возникали препятствия, Сенька их слышал затылком и догадывался, что под колесо попадалась норка суслика или тушканчика, высверленная прямо в твердо прибитой дороге. Один раз ему даже послышался чей-то писк — серым комочком метнулся в сторону зайчик. Но снова катились, накатывались на стенку и падали в кручу колеса, и в Сенькиных дремах оживали воспоминания: как три года назад, когда только что кончилась война и еще жив был дедушка, они ладили с ним эту тележку, как возили на корове из лесу бревна, как отправляли маманькину сестру, тетку Наталью, до станции к мужу-офицеру во Львов, на место его демобилизации. Колеса эти ветхие, давно бы разошлись, рассыпались, если б не дед: намудрил, наvertsел на спицах железа и проволоки столько, что глядеть страшно, а держатся. Раздвигая ресницы, Сенька с усилием вглядывался в белое облачко над собой — и оно то уходило ввысь, то падало, падало, падало на него. Дрема слетела с Сеньки, когда совсем близко раскатилось такое мощное, трубное:

— Му-у-у-у!..

— У-у-уш — снова пронесся звериный рык, ударился об опушку и, возвратившись, утонул в балке, заросшей берез-

нячком.

Из левады, впереди стада, выходил черный из соседней деревни бугай. Он круто выгнул шею, резко опустил голову и заколотил копытом о землю, которая тут же забила рыжим фонтаном. Сенька дернул вожжами — только бы успеть скрыться в лесу. Только б успеть до опушки! Но Рябинка не спешила набирать шаг — все оглядывалась, интересно ей было.

— Сенечка, ты не гони, — умолял его Витя-Витюня и, ловчась на ходу, вытаскивал из кармана рогатку. — Я си-час его... срежу...

Бык казался уже вовсе рядом. Он снова рывкнул так, что звякнуло о зубы запущенное в ноздри стальное кольцо. Сенька ожег Рябинку вожжой, она дернулась в сторону, левое колесо затрещало и, подломившись, просело. Витя-Витюня чуть не вылетел вон. Наконец, дорога скользнула за один дубок, за другой, и лес укрыл ребятешек от звериного рыка.

Они шли теперь прежним, медленным ходом, давая Рябинке смахнуть языком то ромашку, то крупный лесной колокольчик. И Сенька хохотал над храбростью Вити-Витюни, над его страшной рогаткой. Подломившееся колесо качало тележку теперь еще и слева направо, справа налево.

На Крюково поле они прибыли первыми. Маркелыч встретил их ласково. Спросил, что это у них за цирк такой — приехали на корове. А когда они рассказали ему, как за ними гнался этот деревенский бугай, а Витя-Витюня хотел срезать его из рогатки, Маркелыч долго смеялся, потом потрепал Витю-Витюню по щеке, сказал, что сын здорово похож на отца — вылитый Колька; между прочим, тот ходил с пэтээрром на немецкого «тигра». Потом взял у Сеньки записку, прочитав ее, вспыхнул:

— Чтой-то Мария — спятила? Да мы разве нелюди? Думает, если нету теперь Николая Семеныча, так мы семью у него обидим? Скажи мамке, — наклонился он к Вите-Витюне, — что солому делить будем завтра. Сам, мол, ей привезу. А чтобы ей плохо не думалось, вон берите ту кучку, везите...

Назад они возвращались торфяником. Солнце уже поднялось над леском, и воздух начал прогреваться. Сенька ловил распахнутой грудью то теплые, то снова прохладные токи, но теплых становилось все большее, он вел корову на поводу, а Витя-Витюня брел где-то сзади. Голые Сенькины пятки бухали о травяную дорогу, и она отдавала глухо, резиново, и идти тут было легко и приятно, зато в бестравных местах, подразбитых телегами, шаг замедлялся, ноги тонули в торфянистом крошеве сразу по самую щиколотку.

По краям лога тянулись заросли серебристого лоха, пониже кустился ольховник, еще ниже — по болотным оконцам — остро торчала осока. Между окнами кучерявились обильные травы. Любил Сенька иной раз с ребятами махнуть сюда, в этот лог, в эти вот травы; здесь вдруг высмотрится на тебя своим иссиня-черным оком черника, ало сверкнет из-за подорожника земляника, клюква уложит у ног свои темно-красные кислые ягоды. И все крупное, сочное... От воспоминаний у Сеньки стало кисло во рту.

— Тьфу! — с шумом сплюнул он в сторону и заметил на березе гриб чагу — темно-коричневый, сильно изрытый, растреснутый нарост. «Созрел уже», — подумал радостно Сенька, вспомнив про дядю Протаса, который, он слышал, искал его от какой-то болезни. — Надо запомнить, — сказал Сенька и огляделся.

Место здесь было обжитое. По сторонам шли налитые водой ямки-выройки, чернели на сушке сырые торфяные клети и уже годные штабеля. Кое-где был виден народ: белели платки, блестели загорелые спины.

Дорога сделалась узкой, свернула на дамбу, и Сенька, путив корову, побрел за возом вместе с Витей-Витюней. На бревенчатом мостике левое, подломившееся колесо резко просело, воз потянуло в сторону, правое колесо начало отрываться от настила и медленно поползло ввысь. Затем все мелькнуло перед Сенькиным взглядом с ужасной быстротой: тележка кверху колесами, ухнувшая куда-то солома, все четыре коровьи ноги, палками задранные в небо, — и все исчезло. Дорога была пуста.

Сенька кинулся вниз. Берег обрывался; метрах в трех внизу, в тесной выройке, лежали тележка, солома под ней, корова с торчащими вверх ногами. Рябинка силилась приподняться, но оглобли не пускали ее; буруны ходили возле ноздрей, она фыркала, тянула, вытягивала голову, словно хотела вытянуть ее из шеи, из позвонков, но вода уже закрывала уши, глаза... Ужас охватил Сеньку: корова же! Не помня себя, он ринулся вниз. Он подобрался к голове, подпер под нее плечо — корова хлебнула воздуха, навалилась на него, ноги его тотчас ушли в вязкое торфянистое дно, в глазах поплыли синие, красные, зеленые кольца. Корова задвигалась — его потянуло под нее. «Раздавит, — мелькнуло у Сеньки. — Живот копытами вспорет».

— А-а-п... а-а-ппп... — крикнул он и захлебнулся взбаламученной жижей.

— Лю-ю... и-а-а-а... — метался по дамбе Сенькин братишка. — Тону-у-у-у!.. — орал он не своим голосом, и гулкое эхо катилось по логу, жутко отдавалось в его берегах, в позакрайке опушки.

А люди уже бежали от выроек. Первым достиг дамбы дядя Протас, бросился вниз, полоснул ножом по уздечке, затанувшей корове горло.

Люди хлопотали, вытаскивая из ямы тележку, солому... Рябинка стояла на берегу, изредка вздрагивая, трясая кожей то на брюхе, то на спине. А Сенька, еще не в силах вытащить ног из выройки, лежал, упершись спиной в правый низменный берег, и, ничего не видя, смотрел прямо перед собой. Вдруг он заметил чьи-то глаза, Сеньку передернуло. Он смахнул ладонью со лба комья грязи и повел взглядом по противоположному высокому срезу: на самом верху его, под завесью трав, в корнях крапивы ютилось гнездо. Из гнезда смотрела на него пара живых смородинок. «Не улетела, — обрадовался Сенька овсянке. — Все, значит, видела». И отходил от пережитого все быстрее, представляя, как жила здесь овсяночка с семейкой всего две-три недели назад, как птенцы тянули к ней пустые, ненасытные рты, а она все носила, носила им птичье свое молоко. Сенька

вспомнил и домашних молочников — Кольку, Тоську и Юрика. Сзади в ухо ему пыхнуло густым травянистым теплом, и мягкий, мокрый, шершавый язык проехал от его плеча до затылка...

Дядя Протас снял обломки колесных спиц, посадил втулку на дубовую жердь, связал оглоблю, для чего потребовался Витюнин ремень. Они обмылись в ручье, обмыли Рябинку и двинулись в путь. Жердь шумно чертила за ними бесконечную линию. Витя-Витюня шел теперь рядом, держа обеими руками штаны и поминутно взглядывая на брата. Теплая волна прихлынула Сеньке к самому горлу, он положил руку на острые Витюнины плечи и подмигнул ему, усмехнулся:

— Ну что, брат, живем?

— Да-да, — сморщился Витя-Витюня, и плечи его задрожали. — Ты утопа-а-ть... а я... я...

Сенька глянул в небо и рассмеялся. Так оно хорошо, когда все плохое уже позади, а впереди эта дорога, целый день еще впереди. А день уже разыгрался. Солнце палило вовсю. С песчано-ржистых и красновато-гречишных жнивей тянуло отпаренно пресным, вянущим духом. Где-то бил жаворонок. По полям, вслед за облаками, катились живые равные пятна. Сенька перевел взгляд на Рябинку, на спину ее, всю в бурых подпалинах, провел длинно ладонью по ним и зашагал ходко, развязно, смело по земле, по которой ему теперь ходить да ходить.

У Тетеркиной балки их встретила тетя Феня — потная, простоволосая, с узелком в руках: несла, должно быть, обед дяде Протасу.

— Сенюшка!!! — остановилась она, остолбенев. — Да ты весь... гне-дой! Седой, Сенюшка, милый... — запричитала она и вдруг вскипела: — Мать твоя, ох, прости меня Господи! Ить надо, а?.. Послать по солому на дойной скотине! Да нешто не знает Маркелыча — исполнитель всем... От характер у бабы, от колгота! — забормотала она и двинулась по своим делам, понесла дальше свое крупное, сильное тело.

Они двигались деревенской улицей, и все у хат, у землянок разгибали спины, провожали их молча, сочувственно.

Едва Сенька отпер ворота и завел воз во двор, как в тех же воротах увидел запалившуюся маманьку.

— Ох! — вскрикнула она и упала руками на Витьку. — Ой, сынка!

— Спасибо людям, а то б... — сказал сипло Сенька и отвернулся. Отошел к Рябинке, стал отпускать ей чересседельник. Корова скосила глубокий, грустный и влажный глаз, и Сенька увидел в нем себя, на себя не похожего, и маманьку с Витюней, и двор весь, сарайчик с оторванной дверью. Слезинка выкатилась у коровы из глаза и остановилась. Отгоняя овода, корова ударила себя по животу задним копытом, застонала, вздохнула и грузно опустилась на мокрое прямо в оглоблях...

\* \* \*

Теперь, когда один мой хороший знакомый — бесхозный ветеринар Семен Николаевич Гамузин — на своем двухцилиндровом «черте» пролетает во вторую бригаду, он нет-нет, да и завернет к тому самому логу, прозванному в поселке Гнедым. Постоит, поглядит с мосточка в пересохшую выройку и, сглотнув тугую слюну, распахнув грудь в матросской тельняшке, помчится проселками, стежками на самую дальнюю ферму.

*п. Приволье*

### АВДОНЮШКИНА ЛЮБОВЬ

Моталась-моталась Авдонюшка по городам, а вот и вернулась в деревню к себе, восвояси. Да не одна вернулась — с Николушкой, сыночком своим пятилетним, таким же глазастым и светленьким, с такими же ухватками, как и его мать Авдонюшка. Вернуться-то вернулась; в Живые Ключи, а кто ее ждал тут? Отец с матерью лет восемь как умерли, родных по земле раскружило, изба коренная и та завалилась. Но свет не без добрых людей: оформил ее директор сельхозпредприятия подменной дояркой, дал комнатку в общежитии. «Старайся, — сказал Авдонюшке, — мы тебя не обидим». И вот Авдоня старается...

С утра день какой-то сиреневый, сизый. Морозьяка так и цепляет ресницу к реснице, до костей пробирает сквозь Авдонюшку легонькое городское пальто. Спасибо волнушки на ногах, тетя Фрося дала на морозы. Бежит Авдонюшка — не близок свет — за деревню, к Касьяновой балке. Туда, бывало, девчонками за щавелем собирались особо, ватажкой, а теперь доярочки каждый день туда-сюда ходят на животноводческий комплекс. Бежит Авдонюшка, поскрипывает волнушками — невесомая, молодая. Не знает с чего, но так бы и оттолкнулась и перелетела овраг, так бы и полетела над полями и перелесками со скоростью где-то там городского троллейбуса. Но что-то вдруг начинает тревожить ее: коровье мычание? Му-у-у... Авдонюшка на комплексе первый день, а то подменной была на Гремяке, на Гремяченской ферме. «Да че им реветь-то так? Ревут, надрываются, — ноги сами придерживают Авдонюшку. — Как будто режут их».

Ворота полуоткрыты, из них и несется наружу коровий рев, клубится белый, густой пар. Авдоня — в ворота: у коров языки до земли и пена лохмотьями. Да что же это такое? Да они же не поены не меньше, как полтора суток! А где же люди, доярочки где?.. Вбежала она в комнату отдыха, где молоко в бидоны сливают да где всякие таблицы — показатели, списки с победителями соревнования по стенкам развешаны, а там Сельдепа, Митяйкин Сережка, лежит чубом в кружку. Поднял голову, не увидел ее и опять башку в кружку.

— Ах ты, сволочь! — кричит на него Авдонюшка. — С утра нажрался, а коровы не поены... А ну, давай, давай, просыпайся! — колотит она его по затылку своей худенькой ручкой.

Но бесполезно, не встанет он, пока сам не протрезвеет. И никого кругом. Кинулась Авдоня к автопоилкам — прихватило их, видно, морозом: ни вниз, ни вверх —никуда, а то бы коровы и сами напильсь. Открыла кран — не течет вода. «Всю сеть прихватило», — мелькнула до-гадка, Авдонюшка так и присела.

А коровы ревут, тянут морды, сердечные, к ней, на нее вся

надежда. «Да где же доярки хоть?» — уже чуть не плачет Авдонюшка и отворяет ворота пошире, начинает отвязывать коров, какие поближе к проходу. Когда отвязала почти половину и коровы стали бродить, где какой вздумается, Авдонюшка по высокой одиночной тени в воротах поняла: кто-то пришел.

— Куда ты их, к речке? — подбежал зоотехник Василий Конокотин.

— Сельдепа нажрался, вражина, — подняла она на него влажные глаза. Губы ее еще были прикушены, щеки разгорелись, серый вязаный платок сбился дальше затылка, мягкие светлые волосы высвободились и разлетелись прядями по лицу.

— Хороша-а, — так и застыл Василий, — Ну, хороша, как есть!

— Да не про вашу честь, — оттолкнула его руку Авдонюшка. Опустила на лоб пониже платок, стала махать веревочным поводом, подгоняя коров к воротам: — А вы не стойте, Василь Василич, столбом, помогите!

Целое утро управляется на ферме Авдонюшка, к себе в Живые Ключи возвращается только к полудню. Двухэтажный дом, где ей дали комнатку, выделяясь свежей светлокирпичной кладкой, только снаружи и производит впечатление. Внутри этажи состоят из секций, в каждой — по шести комнат с общим коридором и кухней. В их кухне горит электрический свет. «Почему горит днем-то?» — приостанавливается Авдонюшка, не успев остыть от всего, что было на комплексе. — Вера и Фрося так-таки и не пришли». Вера и Фрося Митяйкины — ее двоюродные сестры, обе доярками на комплексе и обе сегодня так и не появились. «Чего это с ними?» — беспокоясь, поднимается Авдонюшка крупным шагом, через ступеньку к себе на второй этаж. Зоотехника, хоть она и прогнала, но он как привязался, так и входит в коридор следом.

А на кухне дым коромыслом. Ах, вот они где, доярочки! Раскраснелись, разголосились, распелись. Все вместе, все в кучке. «Пой, гуляй! Иди, Авдонюшка, к нам сюда...Иди к нам, Авдоня... Премию обмываем, первое место...»

— Вы что же это творите? — стоит в дверях, не проходит на кухню Авдоня.— Там коровы непоенные-некормленные, а вам тут море по колено?..

Все стихают, смотрят на нее — кто подозрительно, кто с любопытством, кто как.

— Подумаешь, начальник какой заявился! — поднимается из-за стола старшая из сестер Митяйкиных - Вера.— Зоотехник молчит, а ей надо... Ты чего женихов чужих отбиваешь, разведенка? Василя на хвосте принесла. Видим-видим, маслятся глазки...— И уже зоотехнику Конокотину: — Ишь ты, кот! Потянуло на сладкое?..

— А ну ша, бабы! — резанул рукой зоотехник.— Не дурейте тут! Акт сегодня же будет составлен, передам, куда надо.

— Составляй! — закричали обе Митяйкины.— И чего там укажешь? Сено не тащим домой, коров своих у нас нет, да и куда — сюда, на кухню, тащить?

— За другим бы лучше углядывали! — загалдели доярки все разом.— Ни выходных, ни проходных. Раз в жизни праздник себе устроили и сразу нехорошие? Забыл, что ли, Новый год сегодня по-старому... Каждый день ни отъехать, ни отойти. Подменных давай!... Вот, вот, вот, гляди! — сова-ли они под нос зоотехнику руки свои — загрубелые, порепаные, растресканные, плоские от работы.

— Ладно, ладно вам, очумели,— отступал шаг за шагом Василий. — Так же тоже нельзя! Взяли и не пришли. Мы вот с ней, с Авдоней, скот к реке гоняли поить.

— Мы ж Сельдепу оставили.

— Так Сельдепа ваш головой в кружке увяз.

— Бабы, да он нам коров запорет! — взвизгивает вдруг Вера Митяйкина.

— Ой! — вскакивают доярки и кидаются по своим комнатам одевать-ся.— Доить пора! — и друг за другом все, одна по одной, исчезают в две-ри.

— Вот скаженные,— остается одна Фрося Митяйкина: у нее замотано горло, она держит его одной рукой, а в другой кружка с чем-то горячим. Поворачивается к Авдонюшке,

проводит по ней сверху вниз подозрительным взглядом: — Это ты, что ль, сегодня подменная вместо меня?

— Я, — угибает голову в плечи Авдонушка, — я подменная. — И стоит так какое-то время, потом срывается к себе в комнату: как и что там сыночком с Ницолушкой?.. Надежа мамина. Коло-коло, Ницоло, коло-около мамы. Ну как ты тут один, без меня?.. Что ел, что пил?.. Ах, все цело, не тронуто. И не спал, не лежал? Ах, играл, рисовал? По столу, по диванчику, по подушке, по книжкам и все синим карандашом. Хорошо, хоть не красками... А что рассыпал из мешочка? Ах, муку! И стал ездить по «снегу» на санках. Ах ты, мука моя! Ах, моя любота-сухота, Колоколушка, Ницоло, коло-около мамы...

Авдонушка прижимает худенькое, вздрагивающее тельце Ницолушки. И сама вздрагивает, ходуном ходить начинают ее плечи от сухого, беззвучного плача, сотрясающего, кажется, всю ее до основания. Опять по-вернулся у Веры язык сказать это слово — «разведенка»! Да что же она, не человек? Яма мусорная? Всякую грязь в нее можно сыпать? Мол, стерпит. Мол, обойдется, угнется, смолчит. Да что же она виновата, что, как они говорят, «переключил скоростя зоотехник», по-прежнему ходит вроде бы к Фросе Митяйкиной, с ней сидит тары-бары на кухне, а сам к Авдонушкиной двери прислушивается, Авдонушку ждет на кухню? Как она выйдет, так весь и просияет, улыбается, все на лице, как на тарелке. Хоть бы чуть-чуть скрывать себя научился... Ведь как было в городе у них на заводе? Начальник цеха к одной нормировщице подойдет, бывало, строже всех с нее спросит, разнесет в пух и прах. Это когда тринадцатую зарплату стали делить, докопались, что все у них неспроста. Два года, оказывается, на чужой квартире от людей миловались-встречались... А у этого грудь нараспашку. Может, парень он и неплохой, неплохой, конечно. Еще когда она в шестой бегала, а он был в девятом, гляннулся он ей. Так ведь времени сколько прошло; он по флотам служил, плавал на кораблях, а она вот съездила в город, возвратилась с Ницолушкой.

— Возвратилась с Ницолушкой,

Потеряла покой,—

опирается она локтями на стол, опускает подбородок на локти и запеваёт, завывает тонко, по-бабьи, глядя в быстро темнеющее окно. И слезы градом льются на подбородок, с подбородка — на стол, на Николушкину голову.

— Не надо, мам, ну не надо, — толкает ее Николушка.

— И теперь села, сиднем сижу.

Ах, несчастные мы с тобой,

Ах, никого-никогошеньки да не надо нам, Николушка,

Ах, потеряла покой,—

поет она, и душа разрывается.

— Не надо, мам, ну не надо! — толкает ее Николушка, сам готовый вот-вот разреветься. И когда плечи у Авдонюшки начинают дергаться снова, весь сжимается в ком, весь трясется, кричит ошалело: — Мамка, дура! Перестань сейчас же. Кому говорю, перестань!!!

— Кто ж тебя научил такому? — успокаивается сразу Авдонюшка и глядит на него, прижимает к груди, гладит его светлую головушку.

Ничего не жалеет для сына Авдонюшка. Сама — ладно уж, как-нибудь. А для него и в город съездить не поленился, на свои небольшие денежки купит ему рубашонку, штанишки, какие понаряднее, кусочек лучшенький для него прибережет. Чтоб не хуже было, чем у других, при отцах. Даже кошку намедни ему принесла; надоела — на тебе собачонку, та надоела — купила в городе черепаху, все кормила ее капустой, пока черепаха куда-то не уползла. «Вырастишь себе на шею охальничка,— упрекают ее сестры Митяйкины.— Эгоистика вскормишь». Ну, а кто ж его обиходит, обласкает, как не мать?

За такими думками и не замечает Авдонюшка, как ночь подтащилась, прикрыла Авдонюшкина окна на кухне и здесь, в комнатюшке. Едва раздвинула диванчик да постелила постель, стук-постук в дверь. Вышла, а это... боже мой, Василий! Руку, на дверь, шевелит губами: «Пусти». Авдонюшка сразу дверь на себя, а он ногу в дверь. У Авдонюшки даже глаза на лоб: «Да ты что? Да народ же кругом». А сама слышит, дверь качнулась напротив, шевельнулась еще и дверь

сбоку, у сестер Митяйкиных. Небось, Фрося, в чем есть, из постели, босиком, в рубашке ночной, стоит и жмет ухо к двери, прислушивается.

— Пусти! — все сильнее тянет на себя ручку Василий.

— А ну-ну, — не сдастся Авдонюшка, а сердце бьется, колотится, готово упасть. — А ну-ну, иди-ка туда, к Сельдепе... на ферму иди...

— Я пойду, — говорит покорно Василий, — только ты приходи.

Соскочил с диванчика Николушка, подскочил к Авдонюшке, схватил за подол.

— Не пушу никуда! — кричит и отпихивает Василия. — А ты уходи, уходи, дядька, отсюда!

И Василий пятится, пятится, на цыпочках проходит мимо Фросиной двери.

После этого не стало житья Авдонюшке. Съели бы, со свету сжили бы ее сестры. И такая-сякая она, заразная, все плохое из города привезла, что на кухне опасно с ней. И еще грязнуля — лишний раз не протрет полы, сама не помется, хлев в комнате у себя завела. И неумека — все из рук у нее так и валится. Одним словом, оглоед, честный люд с грязью смешать готова (это намекают на случай с коровами). И мужиков всех, того и гляди, перепортит...

Все это сестры Митяйкины стараются говорить при Авдонюшке, чтобы сама слышала. Говорят где попало: в конторе, в магазине, на почте, просто на улице. Авдонюшка уж и на кухню выходит ночью, когда там нет никого. А если столкнется с Фросей, косится, как бы та кипятком не шваркнула. Кастрюли, чайник на кухне прибрала — не набросали бы ей туда чего-нибудь.

«Да что же это за жизнь такая? — подступает иногда к ней отчаяние. — Да никакая это не жизнь». Но куда деться? В городе она уже побывала, хватит. Еще куда дальше уехать, завербоваться, так где про нас калач с маком лежит, дожидается?

А Василия как разбирает: то на ферму придет — по делу, то на улице встретится. Краснеет, глаза — в сторону. И Авдонюшка — глаза в сторону: ведь люди кругом, так и смо-

трят из каждой щели, из каждого двора. И жаль его порой становится Авдонушке: зоотехник все же, из начальства, а стоит перед ней, как мальчишка, руки по швам. И далекое - из школы, из детства - поднимается в ней от груди к горлу и выше куда-то, к лицу, и Авдонушка чувствует, как у нее загораются щеки.

— Письмо пришло тебе, — встречает Василий ее у подстанции, говорит глуховато, не глядя. — Из города. От него, что ли?

— Письмо? — поджимается она и поводит плечами, смотрит прямо в глаза Василию.

Поздно, когда все в квартире легли и спит, отвернувшись к стенке, Николушка, Авдонушка из-под резинки рукава, где обычно платочек, деньги, даже ключ от комнатки, достает желтый узенький конверт с белой полосой поперек — письмо оттуда, из далекого, очень теперь далекого города. Почерк знакомый, полузабытый, его. Она кладет на стол письмо, налагает на него руку и долгим, невидящим взглядом глядит в чернильное, с едва осязаемым лиловатым электрическим подсветом окно и далее, туда, на улицу, до самой подстанции. И думает, что вот уже больше недели в коридоре у них стоит велосипед, а она Николушке ездить все не разрешает. Если бы велосипед умел говорить, если бы смог рассказать сестрицам, как он здесь очутился, они бы не стерпели, выкинули бы его. Остальные три двери молчат, остальным все это не нужно...

— Ну что ж, читаем? — убирает Авдонушка руку с конверта и поворачивается спиной к Николушке.

Письмо короткое. Из одних упреков. Решительное. Авдонушка пробегает его глазами мгновенно. Запинается лишь на последних словах: «...не вернешься, отцом ему не считай. Знай, у меня нет жены, нет сына, у вас нет меня».

— Все такой же, жестокий, — говорит она сама себе едва слышно. Решив что-то, разглаживает лоб ладонью, снова смотрит в черно-аспидное окно уже без всяких признаков электрического света: наверно, где-то на столбе выключили фонарь.

Всю ночь думала она об этом письме и все утро, весь день до обеда. Поневоле вспоминалось, как жили они втроем у его матери — неопрятной, сварливой старухи. Комнатка не комнатка, так, закуточек за русской печ-кой. Зато сколько упреков от этой старухи, сколько у нее фальшивой нежности к сыну и сколько зла к ней, жене его, и даже к Николушке, своему внуку. Авдонюшка ушла от них, в чем была, захватила лишь вещи Николушки и ничуть не жалеет. Он пишет, дают им квартиру на четверых, трехкомнатную. Да, конечно, они же с Николушки не выписаны... На четверых, конечно, трехкомнатную, со всеми удобствами...

С той же мыслью о письме, о квартире Авдонюшка собирается на обеденную дойку на комплекс. Она уже не подменная доярка, — ей дала Фросину группу, а Фрося ушла уборщицей в школу. Ну что ж, с Фросиной так с Фросиной, только больно уж группа запущенная. Сколько сил нужно, чтоб подкормить, раздоить, провести племенную работу.

Авдонюшка оставляет Николушке на столе что поесть («где-то, стервененок, гоняет с ребятами») и, пятясь, пятясь, уходит, хлопает комнатной дверью, натывается сзади на велосипедик. Отшвыривает его в сторону — надоед, глаза намозолил, спасибо в квартире не знают, кто купил его для Николушки. И в комнату брать нельзя, какой знак Василию? Так за всякими мыслями и бежит Авдонюшка привычной дорожкой на комплекс. И вдруг... в стороне, под яблоней, в старом саду, стоят двое — она и он, Фрося с Василием. Авдонюшка только метнула взгляд из-под платка, даже шаг не замедлила, побежала, куда бежала. А Василий оторвался от яблони и побрел своею дорогой, к конторе.

Доит Авдонюшка коров, косит глазом за аппаратом, не перекачало бы, не потянуло из сосков кровь. Бежит, пульсирует в бело-прозрачных шлангах парное молочко, а у Авдонюшки думка уже не столько о письме, сколько совсем о другом, о том, что возле яблоньки видела. Гонит она ее, эту думку проклятую, а она не выходит, стоит в голове, подбирается к сердцу, тревожит, вздохнуть не дает. Подоила коров, слила надой в баки, бабы уже разошлись по домам, а

она все сидит в комнате для показателей, локотки подперла, голову на локотки, взглядом в окнушко, а ничего в нем не видит.

— Здорово, Авдонюшка, — заходит и садится на скамейку рядом Сельдепа-скотник. — Ну и как ты ето... хи-хи... .

— Чего «хи-хи»? — косит Авдонюшка глаза на Сельдепу - Сerezьку Митяйкина, от него за версту прет перегаром.

— Как ты ето, без мужука, говорю, обходишься?

Авдонюшка не отвечает, молчит.

— Дык я думаю праздник устроить вам, бабам, — шевелит Сельдепа огромным подшитым валенком. — Яму с силосом открываю. А тебе, Авдоня, почтенье особое, с доставкой на дом, — не вытерпливает, подсаживается он поближе, под бочок к Авдонюшке.

— Уйди, хрен старый! — аж подскакивает Авдонюшка, — Иди, дьявол, опохмелись. У жены на опохмелку про...

В дверях показывается он, зоотехник, Василий, Василий Васильевич. Как стояла Авдонюшка, так и присела. Смотрит ему прямо в глаза. И тот смотрит ей прямо в глаза. Сельдепа забурчал что-то и в дверь.

— Не подходи, — шепчет она слабым голосом и ищет позади себя что-то рукой, щупает стенку. — Не надо, не надо, — видит она его уже рядом — вот его губы, вот близко, совсем близко, под глазом — розоватое пятно, вероятно, порвало сосудик. — Уйди, не подходи ко мне, уходи! — слабеет она и вдруг вскакивает, бежит к двери, останавливается: — Иди обжимай свою яблоньку.

— Плохо там тебе, в общежитии, — говорит он невнятно, под нос себе. — Директор дает мне квартиру, полдомика. Если хочешь, приходи и живи... вместе с Николушкой. Приходи и живи, я уйду... если хочешь, — отворачивается Василий к бревенчатой стенке и ведет по ней пальцем.

— Куда уйдешь, к Фроське? — смотрит на него уже смело, открыто Авдонюшка. — Ах, не надо, Вася, оставь. Что тебе, молодых не хватает? Разведенку давай? Да вон их сколько ходит — красивых, статных телушечек. Да ты только мигни — любая мигом. Что ты, какой дефективный, что ли? Гляди, какой... А я, Васенька, уже не для тебя, не впервой все.

Каково оно, если сравнивать буду — кто лучше, кто хуже?

— Авдонушка... Авдоня... — стоит и не знает, что делать с лицом, с губами, со всем собой большой, сильный, красивый Василий.

Когда он ушел, Авдонушка долго стояла, думала. Чужими сделались руки-ноги, чужою стала душа. Не помнит себя, как бежала привычной стежкой, как поднялась на этаж, мимо дверей, мимо глаз, мимо Фроси, как дверь свою от себя толкнула и дверь назад толкнула ее... Да что же она, в самом деле, какая порченная? В городе не притерлась, тут ей нехорошо? Никудашня, горемыка сердечная... А в дверь уже входит, притопывает валенками весь в снегу, по горлышко мокрый Николушка, а за ним тянется вот-он какой хоровод — ребятишки мал мала меньше и какие постарше.

— А мы его привели домой, а он не хотел, — галдят они разом все, наперебой, по-грачиному. — Он, тетя Дonya, в ручей провалился по пояс. Не хотел домой, а мы его привели.

— Спасибо, дети, спасибо, — говорит Авдонушка и стаскивает с Николушки одежду по одежке, как с лука репчатого, как с гуся лапчатого, красноногого. — Ишь, ноги набродил, — упрекает она Николушку, — а теперь будешь болеть, никуда не пушу.

— Не буду болеть, — обещает Николушка, — а завтра, как уйдешь на комплекс, все равно опять убегу.

— Ах мужчинка ты мой, ах ты глупенький, — прижимается, греет щекой она его пухлые щечки. — И никто нам не нужен.. Никто-никто. Проживем сами... проживем как-нибудь... Сами вырастем во какими большими, во какими красивыми.

— Как дядя Василий? — спрашивает ее Николушка.

— А почему ты думаешь, что он большой и красивый? — застывает Авдонушка и сквозится ревнивой мыслью: «Ишь какой, мальчонку приваживает».

— Все говорят, что он большой и красивый и что мы скоро будем жить с ним. Все говорят, все знают, одни мы с тобой ничего не знаем. — А я вот знаю, — подмигивает ей Николушка.

И Авдонушка хватает его за плечи и бросает на постель,

разбрасывает горячими губами рубашку и ищет его сырое, холодное пузочко.

Растертый, накормленный, всем довольный, Николушка засыпал, а сам нет-нет, да и взглядывал на нее из-под одеялки крупным, хитровато блестящим глазом. Авдонушка сидела рядом, опустив плечи, прислушивалась к тому новому, что возникло в ней в последнее время, что должно было переменить ее привычную, длинную, слишком длинную жизнь. Прислушивалась и к входной двери, и к синичкам — как радостна для них неожиданная оттепель!

Шевельнулся Николушка.

— Чего тебе? — наклонилась она к нему.

— Ох, и надоело же мне жить без папы, — вздохнул Николушка и снова закрыл глаза.

Авдонушка подперла щеку рукой, покачалась над ним, запела свое причитаньице, поднялась и ступила за дверь, внесла в комнату, чтоб не маячил там перед всеми глазами, новенький Николушкин велосипед.

*п. Ясная поляна*

## **ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ**

По деревне прошелестела молва: Любка Крутилина родила негритенка. Эта новость вызвала в Клейменовой переполох, в каждой хате обсуждались Любкины действия. Знающие мужики уясняли: «Какого там негритенка — африканца. Эфиопа. Негры — те, что в Америке, завезенные». Бабы трещали свое: «Пигалица такая... моль... и нате вам, отчебучила. Так-то отпускать дочерей своих в техникумы».

Больше всех, конечно, поражена была Любкина мать. Ну вышла, писала Любочка, за какого-то там иностранца, Господь с ними, любовь. А тут, — как сообщала в письме домой Дашка Медведева, лежавшая с ней в одной палате роддома, — родила черного, как смола. Агафья Степановна так и сомлела вся.

Через год Любочка примчала матери чадо и улетела тем же автобусом. Агафья Степановна взглянула на него, в белых простынях, так и присела, едва успела спросить:

— Нарекла-то как?

— А Степаном, — щебетнула Любочка.

— Степаном, — повторила Агафья Степановна, и влага качнулась в глазах: с год назад у нее умер отец. Труженик из тружеников, человек из людей, тоже Степан. — Степан, — позвала она мерно сопящий кулек. — Гуль-гуль-гуль, Степа-а... Степушка-а-а... Ах ты, Степа, Степа — дитя человеческое...

Через год вместе с мужем Любочка окончила свой финансовый техникум и вместе с мужем отбыла в свободную Африку с твердым намерением стать в саванах крупным специалистом. Экономика, финансы — сейчас «нота и вена всей жизни». Об этом Люба сообщала Агафье Степановне в подробном письме. При чем позади шла приписка аршинными буквами: «Приедем, мама, на сопственной «Волге»».

Когда Агафья Степановна показала приписку соседке Федосье, та со-образила:

— Никак твой зятек приписал? — И добавила: — Как же, жди от них, от зятьев, завезет тебя на машине-то да и сбросит в кручу к чертовой матери.

Мужики в отъезде Любочки в знойную Африку находили иные моменты:

— Финансы поехала им там налаживать, — рассуждал Николай, муж Федосьи. — Она им наладит. Знаем мы ихние порядки, газетки почитываем. Там баб у каждого больше десятка. Люба у него, наверное, третья.

— Ты что! Очкнись, продери свои бельма, — одергивала Николая Федосья. — Любка тебе будет третьей, а?

— Да уж точно, наших клейменовских в тенек не усадишь, — пересмеивались дружки Николая. — Любка теперь у него, это... за генерала.

Между тем Степка подрастал. Смуглый, вьюн такой, кучерявый, с серо-стальными Любочкиными глазами. И было ему уже около четырех. Агафья Степановна во всех бумагах называла его сыночком, причем в сельсовете однажды районный уполномоченный, из новеньких, даже хохотнул в кулак и проставил в нужной графе мальчонке — «мулат».

— Что хоть это такое — мулат? — как квочка, растопор-

щилась Агафья Степановна. — Сынок он мне? Сын! Пиши, стал быть, русский.

После этого разговора Агафья Степановна прибрала в хате все зеркала. Даже тусклое, рыжее, еще бабкино, трюмо, треснувшее наискось и все от старости в пупрышках, вытащила из угла и загнала на потолок. И все-таки видела, как мальчонка, бегая вместе со всеми, сунулся как-то к пруду, глянул и остановился, притянулся к воду, пока не набежали детишки.

Однажды Степка влетел в хату гневный.

— Гаша! — закричал он с порога. Губки его вовсе взбухли, глазенки сверкали. — А чего они длазнят меня чумазый?

- Чумазый-то? — подлетела Агафья Степановна и положила тяжелую, темную от работы ладонь ему на курчавинки. — Чумазый, сынок, хорошо... Чумазый вон дедушка наш, сосед Николай. Видал, какой? Тракторист. Чумазые хлебушек нам выхаживают, а мы едим его. Хороший хлебушек, да?

— Холосий хлебусек, — согласился Степка. — Я тлакторист холосий. Я тлакторист... Я тлакторист! — полетел Степка на улицу.

С той поры и припало к Степке: «тракторист чумазый» или просто «чумазый».

Клейменовская мелюзга уносила с утра босиком и в одних только трусишках на пруд, в поля, перелески. И все за лето так обгорали, что почти не отличались от Степки, все с головы до пяток чумазые! Вечером, сморенный беготней, Степка падал в постель и засыпал. Поуправившись, Агафья Степановна подсаживалась к нему, клала пахнущие молоком руки на щуплое Степкино тельце и шептала, шептала:

— Скоро вырастет Степка наш большой-пребольшой. Возьмет и уедет Степушка из деревни, забудет свою мамку Гашу, письма даже не напишет мамке, как наша Любочка...

И теплые бабкины слезы капали на голое черное тельце, и Степка ше-велился, слышал родной голос и, приоткрыв глаз, хитро глядел сквозь ресницы, шептал так же тихо:

— А я от тебя никуда не уеду. Колмить тебя буду, когда станешь ста-ленькая... Хлебусек буду выхазывать...

Лучше всех встречали Степку на механизаторском стане. Он прибежал туда рано. «Сменщик наш пришел! — радовались мужики. — Тракторист наш явился». Степка знал уже все марки машин, куда какое горючее заливается, что каким маслом смазывается. Хмурил иногда брови, как это делал дедушка Николай, говорил бригадиру:

— Ты когда калбюррратор пледставишь?

И все вокруг хохотали, хохотал на Степкину выходку и бригадир. Тогда Степка поворачивался ко всем, пожимал — серьезный — плечами:

— С этими запцятями плосто беда.

— Степушка... Степан! — вопили голоса. — Попроси мне пускатель... а мне пальцы на гусеницы... резину...

В полдень, в самый обед, по Клейменовой прошуршала белая «Волга», приткнулась к дому Крутилиных. Агафья Степановна была в это время на дойке, в лугах. Федосьина Зойка прилетела к ней запаленная, закричала еще вон откуда, с бугра:

— Тетя Гаша! К вам на «Волге»... дипломаты какие-то!

— Откуда хоть?.. Вынесла кого-то нелегкая, — забурчала Агафья Степановна и подхватила подойник.

Еще издали углядела белую «Волгу» у хаты и две фигуры в белом. «Мамочка!» — кинулась к ней женщина с высоченной махоткой на голове и припала к груди. Через плечо Агафья Степановна видела, как перед хатой собирался люд. Из палисадника вышел мужчина в такой же длиннополой одежде, а лицо — боже, ноченька темная! И тоже тянул руки, и тоже к ней: «Ма-мочка». Агафья Степановна озирнулась вокруг и нырнула в калитку.

Споровили на стол. «Где Степа хоть?» — допытывалась Люба, чистя картошку. «А на рыбалке, придет, — отмахивалась мать и делала страшное лицо, кивала на горницу: — Что хоть он ест у тебя?» — «А что и все», — смеялась счастливая Люба.

Собрались соседи. Сидели деревянные, словно аршин проглотили. Косились на Любу и ее мужа, как звать его... не запомнили. А Люба-то тоже, гляди, африканка. Завилась, сожгла солнцем кожу, навела губы.

— Вроде была из белесых твоя Любка-то, — сказала Федосья вслух через стол Агафье Степановне.

— Какая она её, она теперь вон чья, — насадил на вилку соленый свинух бригадир механизаторов Никодимыч и показал глазами на зятя Агафьи Степановны.

Агафья Степановна стоит на подхвате в переднике, стоит и молчит. Горка курятины тает, квас шипит в кружках.

— Да я о чем? — вывернув пальцем мясную нить из зуба, отстраняется от стола Никодимыч и говорит в пространство прямо перед собой: — У некоторых народов до сих пор так: мужики едят — бабы стоят за спиной...

И косится в сторону Любы.

— Да ну! Да ты что, Никодимыч? — отстраняет булдыжку муж Федосьи — сосед Николай. — Где ж сейчас такой обычай найдешь? Похоронили, брат, с етим... с империализмом...

— Да он, подлюка, живуч, — упорствует Никодимыч. — Его похоронишь... Его, говорят, хоронят, а он встает и встает. В разных точках земли...

Разговор всех затрагивает, мнение разделяется: одни стоят за то, что империализм еще попортит кой-кому крови, другие — что к концу века закруглится как таковая проблема.

— Разрешите спросить, как вас... господин или товарищ, — приподнимается Никодимыч. — У вас лично в стране империализм до сих пор или как?

Любин муж смотрит сначала на Любу и улыбается, поднимает указательный палец:

— Республика.

— Видал-миндал? — торжествующе оборачивается Никодимыч к Николаю, мужу Федосьи: — Тоже, значит, республика? А что, вполне самостоятельный мужик, — заключает Никодимыч свое мнение и улыбается. И все отмякают, становится легче дышать.

— Вот ты скажи мне, — лез через полчаса Николай к мужу Любы. — Ты скажи, как тебя? Иван? Просто Ваня? А по батьке? И по батюшке Ваня? Иван Иванович, значит? Нешловко как-то... Иван Африканыч, вот так! Да, скажите, Иван

Африканыч: чем ты, извините меня, занимаешься?

— Я владею трактор, ферма, — поднял гость кудрявую голову. — Большая ферма.

— Владеешь? А как же респуб... тада? Ах, владеешь? — соображал Никодимыч. — Значит, ездешь? Как я? Как он, Николай?

— Как же, владеете, — перебила Никодимыча жена Николая Федосья. — А забыл, как в кручу намедни спикировал, едва откачали?

«Африканыч» сидел, кивал головой и улыбался, гонялся вилкой за скользкими свинухами. И уже где на пальцах, где словом вызнали «коллеги», что с женой сообщается он по-английски, и она, значит, чешет по-ихнему; вылавливали у него слова «Килиманджаро» и «негус», соображали: кто ж она теперь, Любка-то, тоже «негуска» — «нерусская» или как?

В дверном проеме стоял запыхавшийся Степка. Агафья Степановна всплеснула руками:

— Степушка! Глянь, кто к нам приехал!

И Люба бросилась:

— Степка, сынок мой!

Степка спрятал лицо в ладони Агафьи Степановны, сверкал оттуда блестящими бусинками. Из-за стола поднялся отец, шел, протянув к Степке длинные, ис-синя-черные руки, и говорил, говорил ему что-то. Степка ткнулся в колленки Агафьи Степановны, потом закричал и кинулся в дверь.

Все в доме пришло в движение. Любка убежала в спальню, мать не знала, чем ее и утешить. И лишь за столом Никодимыч и Николай завершали полемику.

— Я говорю, — стучал Николай вилкой в стол, — дуб свою кожу знает. Вот тада поглядишь.

— А я говорю, Степка нашей кости, — стоял на своем Никодимыч. — Одно слово, наш... тракторист...

— Будя вам, дипломаты, — подошла к ним Агафья Степановна. — Языки бы на сук повесили. Вон налейте на пошонок и валяйте отседа. Не вишь, дите мать свою не пришло.

Николай с Никодимычем налили по граненому, крякнули, подошли в угол к зятю Агафьи Степановны, поклонились, передали привет всей его черной Африке, пожелали, чтобы быстрее освобождалась она от всякого там империализма.

— Если что, — ухмыльнулся под мухой уже Николай, — мы баб своих вам подбросим. Империализму, будь спок, покою не будет.

И два друга-товарища заковыляли к двери. А в спальне, скинув свой пестрый тюрбан, рыдала в подушку простоволосая Любка. Агафья Степановна стояла поодаль, вся сжавшись.

— Ты мне молодость загубила, — кидала слова-камни Любочка. — На лишнее платье, бывало, не дашь... А подружки и в атласах, и в крепдешинах. Надюшка Филонова у меня Витьку отбила, а я Витьку любила... люби-ила...

— Не реви, — наконец, разомкнула рот Агафья Степановна. — Я твоего отца жду до сих пор, хотя вон она, похоронка. Уж больно ты пряткая.

— Ладно тебе, пряткая, — поднялась Любочка, слезы как рукой сняло. Говорила низко, словно мужчина. — Будешь учить меня жизни?

— Да где уж. Ты теперча грамотная, — вздохнула Агафья Степановна. — Степку оставьте, не забирайте. Прижился мальчонка, и всем по душе...

Ночевать Агафья Степановна ушла на сеновал. Степка вскоре отыскал ее, поднырнул под одеялку, прижался горячим ладненьким тельцем. Мысли Агафьи Степановны убежали вперед, в завтрашний день. Нет, она не отдаст его. Ни в какую. На что он им? Она его, крохотулечку, выходила, на ноги дальше поставит. Всей деревне Степка по нраву. А они еще родят себе... «Соберу завтра сальца, яичек — пуской уезжают...»

Сильные запахи сена путали мысли. Зашелестел дождик, на сеновал проник хлебный дух. Он родился на буграх, пролетал по-над оврагами, попадал сюда в приоткрытую дверь. Хлебный дух, запах зреющей ржи. Степка зашевелился, задергал носом. «Ить тоже чует, — обрадовалась Агафья Степановна. — Как дед... тоже был такой чуткий до хлеба...»

А дождь надавал, пузырилось у входа. И мысли сбивались в густой узел — о жизни, о дочери, о невиданных землях. Нелегко Любочке там без нас. Оттого такая-то нервная... Попыталась поставить на Любочкино место себя, и тоска облила, захватила всю душу. «Ни дождя о ржаную солому не услышишь. Ни антоновских яблок, ни ржицы не увидишь. Одна, небось, тебе кукуруза». Агафья Степановна ворохнулась, закрыла глаза. «Надо завтра еще квасу отбить. Чтобы в нос шибал. Чтобы попомнил зятек и Клейменовку, и ее, Агафью Степановну».

— Спи, спи, голубок, — касалась рукой она жестких Степкиных куд-рей. — Пушкин наш дорогой, эфиопчик.

*с. Корсаково*

### АКСИНЫИН СВЕТ

В полдень с ней случилась беда. Снег, обильно выпавший ночью, навалился на крышу, крыша прогнулась, прогнившая балка наконец хрястнула, и не успела Аксиныя мотнуться в сторону из-под коровы, как что-то тяжелое, мощное лупануло ей в спину. Сколько раз говорила она бригадиру про эту проклятую балку: «Подведет она под монастырь. Ишь, нависла над симменталками». — «Ни черта ей, — отсмеивался бригадир, с утра изрядно хвативший, — перестойт и тебя». А, выходит, не перестояла...

Прискочил из Пантелеевки председатель, сам помогал грузить в свой «козел» пострадавшую. Аксиныя пришла в себя, смотрела на председателя укоряющим взглядом, даже и пальцем не двигала.

Прибежали из школы перепуганные ребятишки Аксиныны — Ваня и Олечка, упали перед ней на солому. Аксиныя смотрела на них, и крупная, светлая капля, сорвавшись с ресницы, тихо двигалась по щеке... В больнице Аксиныя лежала в двухместной палате. Лежала, провалившись во тьму, три недели. Очнувшись, увидела белые стены, услышала запахи, которые слышала только единожды, когда болела горлом ее меньшей — Ванечка, и потому не сразу-то поняла, где она и что с ней. Потом Аксиныя почувствовала неу-

добство позы, в которой она пребывала: лицом вниз, руки и ноги на привязи, почти все на весу, на каких-то распорках... Она напрягла свою память и вспомнила тот злополучный полдень на ферме.

Соседка ее была давней жительницей этой палаты. Она уже полегонечку двигалась на костылях; иногда, подсев к Аксинье, принималась рассказывать про свою жизнь, про работу. Боль в спине вроде бы притишалась, когда Аксинья вслушивалась в ее неторопкую речь.

- Сюда, милая, — ворковала Мария Степановна, - на короткое время не попадают, так что лежи, терпи. Привезли врачи — значит, надеются. Была тут до тебя одна — Любочка, с контузией, все плакала. Сгорела совсем. А вот Вера Ивановна до нее, с переломом спинного хребта... сильная женщина... на поправку увезли, на курорт..

Иной раз слова соседки проходили как-то мимо сознания Аксиньи, не трогали ее, не задевали. Она лежала и думала о своих ребятах Ване и Олечке («кому они теперь, горемычные?»), о своем муже Василии («и вов-се теперь отобьется от дому»). И мысли ее переходили на родное, привычное, давнее: на двор свой, на хозяйство, на ферму..

Проходил месяц, другой. Дело не улучшалось. Кол, однажды вступивший в спину, так и держался. Иногда, удивляясь, Аксинья наблюдала, как Мария Степановна делает по утрам, вечерам какие-то непонятные движения руками, ногами; узнала потом — физзарядку; как массирует усохшие ноги энергичными, сильными пальцами, тяжело дышит, утирая обильный пот полотенцем.

Через полгода Марию Степановну отправили на курорт. Аксинья умолила врачей, чтоб ее отвезли домой, к детям.

Ее провезли на машине в крестах через весь Синь-Колодезь, гложущий в вишневых садах, пронесли на носилках через двор, на котором с детства она топтала подорожник босыми ногами, положили на постель в клетушке за печкой, где в студеные зимние дни содержался, бывало, теленок. Явились дети ее — Ваня и Олечка. Семилетний Ваня сейчас же стал показывать Аксинье палку, на которой он сделал себе автомат, а двенадцатилетняя Олечка мигом

слетала в сад и принесла Аксинье решето, полное чернеющей вишни. Аксинья улыбнулась детям уголками губ, глянула на потолок, знакомый до каждого потека-разводинки, и об-легченно вздохнула. И начала ждать Василия.

Василий приехал домой уже ночью. Замерев, Аксинья видела, как он осторожно прошел к столу, присел, оперся на локоть и просидел так часа два, глядя прямо перед собой в одну точку. А утром, чуть свет, подошел к ней (она притворилась спящей), постоял, сняв картуз, и снова на дворе загудел Васильев «газон».

Аксинья попросила, чтобы ей подняли повыше постель и поднесли к самому оконцу, выходящему во двор. Отсюда виделась и ей часть улицы. Вот Олечка («моя дорогая помощница») вышла покормить кур, а потом прошла с тяпкой на огород. Вот Ваня погнался за бабочкой и плюхнулся за ней голяком на крапиву. А во-он подальше сосед Чепель спешит с сумкой куда-то. Чепелиха, наверно, послала в лавку за хлебом... Все проходит перед глазами Аксиньи, вся деревенская жизнь: будто бы и не отлучалась Аксинья в больницу, вечно жила здесь, стояла, глядела на все, как вон та старая ракета, которую тоже ведь не сдвинешь с места. Как воткнул прутом возьмь еще ее, Аксиньин, дед по отцу, прозванный в Синь-Колодезе Берендеичем, так и стоит...

Наведывались подружки-доярочки, приносили всякие новости. Гово-рили, что Аксиньину группу отдали вчерашней десятикласснице Алене Ручевой — дочке старой доярки Матрены Кондратьевны. «У этой твои коровки не пропадут, — тараторили Аксинье подружки. — Уже сейчас выходит девка по хозяйству на третье место». Иногда девчата приносили Аксинье гостинцев иль книжек, Аксинья слушала и молчала, и нельзя было понять ее, радуется ли она приходу подружек, желанны ль для нее эти книжки, гостинцы.

Девчата передавали ей все, что носило по деревне досужее «бабье ра-дио»: кто на кого взглядывает томно, в какой хате намечается свадьба, кого выдвинули на орден, а кто на зерноскладе проворовался... Но од-нажды Аксинья почувствовала в девчатах что-то неладное. Постояли они, по-толковали про то да про се, затеяли было о зяби, но лишь

только Василий, вернувшийся вторым рейсом со станции, шагнул за порог и завозился в загнетке, покосились на него и одна за другой потихоньку ис-чезли.

Допоздна Аксинья пребывала в смутном волнении. Не спалось, да и только. А ночь была серебристая, лунная. Видно было до самого Чепеля — каждую ветку, каждую былку под пепельным светом. Аксинья смотрела во двор, и беспокойство, не покидавшее ее со времени посещения подружек, не уменьшалось и не усиливалось, а стояло в ней ровно и плоско темной прудовой водой, смягчаемой разве что лунным рассеянным светом. Вдруг Аксинья ощутила вдали движение. Пригляделась: двигались двое... Что-то ухнуло и остановилось в груди. Неужели Василий? Но с кем, кто она? Прижались к раките, к той самой, под которой когда-то встречалась она с Василием...

Жизнь для нее стала невыносимой. Дни казались похожими друг на друга — грузными, вязкими. Для чего я живу, думала она, ну для чего? Лежу пластом, словно каменюка. Да ведь и каменюка лежит до поры, пока не пойдет в работу, например, под фундамент. Сколько хлопот другим с нею, о Господи! Вот уж образовались и пролежни, и Василию с Олечкой приходится теперь перестилать простыни каждый день, не наготовиться мануфактуры...

Она ловила себя на мысли, что как-то по-особому, с дрожью и страхом смотрит на свой столик с едой и питьем, на ножик у хлебной коврижки, которым Василий к Покрову резал подсвинков, и каждый раз, задохнувшись, прогоняла из мыслей дурное. Да ведь это ж последнее дело. И люди тебя не простят. Все чаще, когда становилось невыносимо, она вызывала в воображении картины тех мест, тех времен, когда она была юной еще и могла часами, лежа в траве, смотреть в это бездонное небо, наблюдать за бело-кисельными облаками, представляя в них всякие чудеса, всякие байки-побаски, слышанные-переслышанные ею от Беренденча. А как приятно было плыть, словно кречет, по воздушным потокам, не чувствуя тела, махать руками, забираясь все выше... Страшный зуд на спине возвращал ее в хату обратно, и виденья кон-чались.

Аксинья теперь почти ничего не пила и не ела. И таяла, таяла. Как-то пришел председатель. Еще с порога уловил тяжкий дух в хате, сунул оторопевшим у двери бледно-прозрачным Ване и Олечке огромный пакет с апельсинами, купленными по оказии в городе, молча прошел за печку к Аксинье. Всю жизнь переворошил Егор Тимофеевич с Аксиньей, вспоминал ее молодой и красивой, когда в школе он, ее однокашник, — чего там греха таить! — вздыхал по ней тайно, а женился вот на ней балагур и красавец Василий, пока он, матрос Егор Петрович, охранял берега Отечества на эсминце.

— А пошла за меня, если бы не Василий? — улыбаясь, попытался председатель. — Таковую б свадьбу с тобой затятили!

— Седой уже ты, — молодея душой, шевелила сухими губами Аксинья. — Моя-то жизнь конченная, детей только бы...

— Не смей так. Не должна так говорить, прав таких не имеешь. Жизнь дается только один раз... И детей на ноги ставить... Так вот, на правлении решили пенсию тебе, Аксинья Сергеевна. И с Чепелихой уже столкнулся, заплатим ей, пусть ходит за тобой, помогает по дому и так... А по весне выхлопочем тебя на курорт.

— Спасибо вам, — замлелась Аксинья. — Спасибо...

А вечером Василий едва притащился домой.

— Не твое дело, почему пьян я, — сказал он, еле ворочая языком, хотя она и не пыталась ему говорить что-либо. — Я пью, вот и все.

Наутро он не смотрел ей в глаза. Молча гремел ухватом в загнетке, грел воду теленку, замешивал корм курам и поросенку. Проводил ребятишек в школу. Так и не взглянув на нее, сам ушел в мастерские. На ремонт «газона».

Через несколько дней Василий привел в хату женщину.

— Наш завгар, — кивнул он на нее Аксинье. — Переехала в кооператив наш из «Дружбы», просится на квартиру.

Олечка стояла, потупившись, изредка взглядывая то на отца, то на незнакомую женщину с ярко накрашенными губами, в коротенькой плюшке, в новых резиновых сапогах.

Ваня стоял, прижавшись к сестренке.

— Что ж, — вздохнула покорно Аксинья, — надо ж человеку где-нибудь притулиться...

Дни стали короче, «с воробьиный хвостик», говорила Чепелиха. Теперь в оконце Аксинье был виден двор в маслянистой осенней грязи, кой-когда уже густеющей от морозца. По лужам ходили куры. И небо, набухшее снегом, висело над раkitой так низко, как будто смыкалось вдаль со стальной дорогой, которой теперь Василий с завгаром ходил утрами к себе в мастерские.

Ночами было ей еще муторней: оконце делалось вовсе черным, да в передней на конике ровно дышала Кланя, Клавдия Анатольевна, их квартирантка. Аксинья вслушивалась в каждый ее вдох и выдох, и силы, заснувшие в ней, оживали, трепетали в каждой кровинке ее, во всем ее теле. «Нет, ты еще не пропащая, не изошла еще вся, Аксинья Сергевна, — истово говорила она сама себе. — Рано себя хоронить-то. Ведь выдужают, встают на ноги и такие... Вон хоть соседка по палате, Мария Степановна. Уехала на курорт... И дети, гляди, стали пуганые. Смотрит Оля на отца и на квартирантку, ровно зверок, исподлобья. А нехорошо. Ну, кем она вырастет с ненавистью? И учиться стала похуже... А Кланька-то вчера штопала рубашу Василию. Наготовишься ему на такие плечищи!»

Наутро Василий проснулся от легкого скрипа, идущего от постели Аксиньи. Заглянул за печь: Аксинья поднимала и опускала голову на подушку. Отдохнув, снова поднимала и опускала голову на подушку. Потом придумала себе упражненья для пальцев. Месяца за два научилась двигать и пальцами. Потребовала рубашки Василия, стала их штопать сама.

Когда главбух сам принес ей первую пенсию, она подозвала Василия, наказала, кому что купить, не забыла и Клавдию. В доме все опять привыкали к подчинению Аксинье. Первыми прежнюю силу ее почуяли дети: Ваня бежал к ней с обидой на соседского здоровилу Николку, который отнял у него на горке ледянку да еще и натер снегом щеки. Олечка приходила из школы и отчитывалась, что получила,

что задали. Аксинья напрягала свою когда-то сильную память, вспоминая, как решались задачи по алгебре, которые в школе ей давались легко, но с которыми дочери теперь приходилось сражаться. Василий и тот иногда являлся к ней на совет и, глядя не на нее, а в угол куда-то, на стенку, спрашивал ее мыслей насчет того, что купить на базаре: одного или двух поросят, заводить на лето кур или, может, гусей?

Все постепенно возвращалось к Аксинье: и речь, и память, и прежняя ясность ума. Все могла она рассудить толково и основательно. И только немым по-прежнему было тело, ее ссохшиеся недвижные ноги. Правда, благодаря упражнениям, Аксинья теперь отрывала грудь от подушки, могла понемногу держать на весу тело.

Она попросила Олечку положить на столик зеркальце, извлечь из сундука расписной ларец, подаренный еще Берендеичем в день ее свадьбы, где лежали всякие бусы-мониста. Надев одно из них, то, что нравилось когда-то Василию, она лежала в новой блузке, молодая и праздничная, ожидая мужа с работы.

Началась весна. В оконце уже видны были черные пятна подтаин. Унавоженная дорога горбатилась и днем веселела ручьями, а ночами взвизгивала под кованым полозом «kozyрей». «Егор Тимофеевич куда-то мечется по бездорожью. К севу дело, — вздыхала Аксинья и думала о детях, о жизни. — Жить надо, а как же? Ведь это ж если каждый на себя в трудностях руку наложит, что с жизнью-то станется? Изучали, помнится, в школе Корчагина. Павка, конечно, герой. Как портрет, как икона — каждому человеку со школы. Только жизнь мудреватее всяких икон: у одного так случилось в ней, у другого иное. Но у каждого должно быть одно так одно: это сила твоя, вера, дух твой неукротимый. Иначе и портрет не в портрет человеку, а икона — картонка... Жизнь приходит из веков и уходит в века, и мы должны оставлять ее детям лучшей, чем было. Вон хотя б возле речки все пустился в кочкарнике клин, а Егор Тимофеевич включил его в дело. Прошлым годом вспахали...»

В день, когда во двор с поля хлынули полые воды, ушел

из дому с квартиранткой Василией. У порога смыло ручьем их следы. Акси́нья выдержала все спокойно, не дала себе ни закатиться, ни закаменеть. При-поднялась над подушкой и наблюдала, как складывал в фанерный чемоданишко свои вещи Василий. Напомнила даже про новые брюки, лежащие в сенечном сундуке. Под конец сказала, чтоб захватил ларец, подаренный в день их свадьбы еще Берендеичем, да не забыл бы ключ от ларца.

— На что мне теперь, — глухо выговорила она, — возьми своей Кланьке-то.

Василий упал перед ней на колени. Глаза его помутнели, губы прыгали, он сиился что-то сказать.

— Не надо, — откинулась она на подушку.

В окно било ярое солнце. Оно теперь вставало за этой ракитой, грело выболевшие Акси́ньины щеки, золотилось в ее раскиданных волосах.

По двору, по стеклянистым лужам ходил патриархом петух, горланили на бузине слетевшиеся воробьи. А на взгорье, по черной горбатой дороге уходил в соседнее Сдобье Василий.

Когда Олечка прибежала из школы и по привычке крикнула еще с порога: «Мама! Сегодня на экскурсию ходили на твою ферму», — ей ничего не ответили. Акси́нья лежала лицом к оконцу, и солнце стояло во влажных глазах. Сжавшись вся, Акси́нья слушала, как где-то над головой возникает движение. Она чувствовала, что оно все круче, все властнее входит в нее, отчего крепнут пальцы и бегут по спине мурашки. А движение нарастало, озвончалось, грузнело — по железной крыше на-конец-то сползал слежавшийся снег.

— Ступай, дочка, в правление, — твердо выговорила Акси́нья. — Скажи, что Акси́нья, мол, просит работы. Сюда, домой. Ну хотя бы счетоводкой. Скажи председателю, Егору Тимофеевичу, что, мол, помните, у Акси́ньи по математике были только пятерки.

*д. Знаменка Орловская*

---

## НОЧЬ СВЕТЛА

---

### «ЦВЕТЫ НА СНЕГУ»

На столике возле него всегда стояли цветы — белые хризантемы. И вот лепестки осыпались, хрустальная ваза выглядит сейчас стоящей как бы на снегу. Это напоминает о времени, когда они только что поженились, и он целовал ее именно на снегу. Цветы навевают настроение, напоминают странную мелодию старинного романса, который не забывается ею никогда:

«Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду,  
А любовь все живет  
В моем сердце больном».

Больное тело его приковано к постели, душа измотана за эти два года. Когда он сломал бедро и оказался в постели, оба подумали, что это не так всерьез, обойдется. Евгений еще найдет в себе силы подняться, пой-ти на завод, где числился инженером. Но время идет, и он все лежит. И она все так же вертит его с боку на бок, выносит из-под него большую «утку».

Сын женился, развелся, снова женился и ушел к жене — и все это уже без него. Так они с Терезой и живут вдвоем. Она по-прежнему ходит на работу в свой университет, бегают по магазинам и возвращается в свои эти узкие, тесные стены, к нему.

— Херувимчик ты мой! — целует она его в плохо выбритые электрической бритвой щеки. — Херувимчик! Герой...

И все надеется, все поддерживает, не дает пасть духом, в качестве примера приводит такой случай у себя на работе. Одна пожилая женщина также сломала бедро. Силу воли проявив, она поднималась, разминалась, ходила, делала всевозможные упражнения и массажи. В результате вернулась в строй. Ходит теперь даже без тросточки, в том месяце в Африку к дочери укатила. На все это Евгений только отмалчивается и лежит, как и лежал... Она убрала цветы со столика, поставила перед ним телефон. Телефон был единственной ниточкой, связывающей его с внешним миром. Книги, газеты и телефон — вот и все, что ему еще

оставалось в жизни. А когда, придя с работы, она однажды застала у его постели дружков — заводских пьянчужек с бутылками, Тереза убрала и телефон. Перенесла его в другую комнату. Вскоре Евгений забросил и книги...

И вот он лежит на постели небритый, развалина. Злит-ся, если она за-держивается в своем университете, и требует водки! На работе ее жалеют, называют подвижницей, а мужа презирают втайне и клянут втайне, вслух такое не говорят.

Ей уж платят и пенсию, а ему еще нет — по возрасту рано, а по болезни — напутали что-то там с документами. Да просто улегся он после больницы в постель, вот и все. Денег, конечно же, не хватает, так хоть сын, родственники помогают. Да пить же ведь начал Евгений — давай бутылку, хоть сдохни! Объясняет ей, заливаает, мол, пожар души, так ему легче. И она жалеет его и уже презирает. И ненавидит даже, особо когда устает на работе, да и просто готова задушить его. Взять полотенце и закрутить спящему голову. Но он пока еще сильный, порой может в нее запустить даже пустой бутылкой. «Много о себе думает, — ворчит она про себя. — Не перестает воображать, что он по-прежнему молод, лидер, воздействует на окружающих, а вокруг — никого». За эту силу, за волосы его пышные, смоляные она полюбила его когда-то, а теперь ненавидит. Всех отвадила от него или сами люди покинули: ни пьянчужек вокруг, никого.

— Задушу паразита! — закипает она каждый раз, когда ставит на столике перед ним бутылку.

Накануне Дня защитников Отечества почтальонка принесла пенсию, ее пенсию, когда она была на работе. Кто принес ему водки и каким образом — неизвестно. Только приходит она с работы, а он в стельку. Лежит поперек постели, «утка» перевернута. Что делать? Уложила его, отругала, денежки отобрала. Еды наготовила на двое суток, поставила на столик, к матери ушла. Так хоть решила его проучить...

А уже к вечеру назад явилась. Как он тут, не голодный? А он пластом лежит — ни слова ни полслова, молчит. Лишь

через пару суток стал оттаивать, запел:

— Отцвели уж давно

Хризантемы в саду.

А у нее как сжало сердце, так и не отпускает. А все равно даже в день пенсии водки ему не купила. А что делать? Надо же как-то бороться. И так на работе уши ей продолбили — бесхарактерная ты какая-то, он же лежачий и то из тебя веревки вьет.

Лучше бы уж не ругала его, не бегала бы к своей матери, после чего еще хуже ей делается. Смотрит она на Евгения, как влага у него в глазах стоит-качается, так все у нее и валится из рук, ничего не держится. А он зорко следит за ней, как глаза устремит на нее, так и режет ими, даже спиной своей чувствует это Тереза.

А 8 Марта завтра уже. То мужской был День защитников, а это — женский праздник. На работе поздравили, всем студенты цвели дарили. А Терезина группа на практике, и Тереза без цветов домой возвращается, так получилось. А тут еще школьная учительница с седьмого этажа с огромным красивым букетом в лифте столкнулась с Терезой. Так победно глядела!..

Щелк Тереза ключом, ступает за порог да зырь привычно глазом к Евгению, а на столике возле него цветы — белые хризантемы, хрустальная ваза на белых, слегка обсыпанных лепестках, как на снегу. Ее любимые белые хризантемы. Откуда? И телефон на полу перед столиком. Боже, как же ты добирался в другую-то комнату? А денег где взял? Неужто соседи, ключ она им оставляет...

Спит Евгений, лицо обмякло, видит хорошие сны. Она стоит перед столиком, перед цветами, боясь разбудить его, припадает к щеке его. Горячие губы, сухие губы ее слегка шевелятся во сне вслед за музыкой слов:

— Отцвели уж давно

Хризантемы в саду,

Господи, боже мой! До чего мы дожили, для чего мы живем? И как же красивы они — эти цветы, для нее самые, может, дорогие. Самые ценные, самые-самые для нее, самые дорогие за всю ее жизнь, эти ее цветы на снегу!

**ВСТРЕЧА В САВОЙЯХ**

*Моей жене Людмиле*

А годы мелькнули, как листья, и перелистали жизнь. Все на французском отделении их провинциального университета перебивали во Франции, решительно все, даже по несколько раз, но судьба обходила ее. И вот в Париже ее ждут с самолета друзья — простые французы...

Даже не верится, она — в Париже. И вот в подтверждение тому фотографии. Это ее фигурка на фоне Эйфелевой башни с цифрами на табло — количеством реальных, не мистических дней до 2000-летия новой эры. А это вот позади нее розово-красные герани — на балконах парикмахерских, улиц и площадей. И это награда ей за долготерпение, за беспощадную жизнь. Волнуясь, ожидала она встречи с подругой, с которой была знакома только по письмам, заочно они знали друг друга вот уже сорок лет и должны, наконец, повидаться... Да, это так, Жозетта сообщала, что у нее рак груди. Какой же будет их встреча?

Комок подкатывает к горлу, когда она идет тихими, игрушечными улочками бунинского Грасса, купается хотя бы взглядом в лазури Монако, поднимается алой парадной лестницей Канн. Ее подводят к кинофестивальной плите, на которой Татьяна Самойлова — единственная из русских актрис, удостоенная этой чести, оставила тут отпечаток ладони как приз за лучшую роль в фильме «Летят журавли». И тоже ей за танталовы муки, ее неизбывный талант. Она переносится мысленно в свою деревеньку в срединной России — этот поселок Синяевский, где у них свой домик крестьянский близ виллы первого мужа Татьяны Самойловой — Василия Ланового...

А горький ком держится в горле, не пропадет. Мелькают лица — дружественные, оптимистичные. Вина, красные виноградники, синие поля лаванды, белые абрикосовые сады — этот глубокий Прованс...

Ей подарили черное пончо с разводами белых роз. Оно к лицу ей — это пончо, ее просят надевать его, когда они

отправляются в гости. А ком все держится, южное солнце режет глаза. Вся жизнь пролетела ведь, как журавли! Когда она получила адрес Жозетты в Клубе интернациональной дружбы, обе они были молодыми, совсем девчонками. Жозетта жила тогда под Парижем. Теперь у них давно уже семьи, дети, даже семьи детей; давно уже Жозетта живет где-то возле Женевы. Теперь за спиной у них годы, болезни, воспоминания...

И ком этот вдруг куда-то девается, когда Моника говорит ей: звонила твоя Жозетта, они с мужем выезжают навстречу, встретимся где-то в Савойях.

«Что надеть мне? — заметалась она. — Черное пончо исключено. Черный цвет — чересчур строг для этого случая, нужны яркие краски — надежды, веры, любви». И она выбрала легкое шифоновое платье сразу всех жарких летних цветов.

Автомобиль летит, везет их по горным альпийским дорогам, по которым когда-то на 100 дней возвращался в Париж Наполеон. А ком в горле все равно то возникает, то опять пропадает. Что скажет она ей — Жозетте своей, да и что в таких случаях говорят?

Даже во Франции, даже в Швейцарии — в этих благополучных странах — люди, оказывается, могут болеть так жестоко; за что же ты ее караешь, о Небо, за какие грехи? Жозетта, ее подруга, ведь безгреховна, хороший же человек. Зачем же, Господь, посылаешь нам такие вот испытания?

Моника, которая везет ее сюда в своем автомобиле, молчит. Моника все понимает. Это правительствa где-то там наверху, это у них все там: банки, армии, государства, а тут у нас, простых людей, нет ничего, кроме сердца и одиночества. И мы страдаем больше всего именно от одиночества. И тянемся друг к другу, просто рвемся друг к другу из своего одиночества, и для этого нет ни границ, ни барьеров, ни расстояний, если мы не хотим их. Жизнь коротка, даже слишком, чтобы этого не понимать, просто катастрофически нам не хватает жизни... Она сидит в этом своем шифоновом платье и подбирает для Жозетты слова утешения: «Господи! Помоги же ей, помоги!...»

Городок с традиционным замком на горе, мэрия на площади, храм, на котором начертано: «Свобода, Равенство и Братство». Как все это знакомо и катастрофически странно в этот момент...

— Ларошетт, — говорит Моника. — Это здесь.

А к ним уже идут сразу двое — мужчина и женщина. Все мелодии Поля Мориа грянули в душу! Это, конечно, Жозетта! И Жорж — ее муж...

Герани алые. В алых геранях столик. И сказочен дворик ресторанички в Ларошетте где-то в Савойях. Люди встречаются, чтобы любить, смотреть друг на друга, — и в этом свобода. Слова утешения куда-то деваются, слова забываются — все эти слова, которые она готовила к этой встрече. И говорит она совсем ведь другое, совершенно другое — перед всем этим равенством и неравенством в ней. Они сидят, кажется, всю свою жизнь рядом друг с другом, просто слушают биение сердца друг друга, просто молчат...

Жозетта — ее сестра, важная такая, царственная особа, с внутренним достоинством. Порядок чувствуется во всем. А они с Моникой худенькие, подвижные, она во всем своем облике — чисто француженка. Вот что удивительно! В письмах разве об этом расскажешь, это надо видеть и принимать.

Она никогда не видела женщины красивее Жозетты. Волосы яркой блондинки коротки после химиотерапии, глаза голубые. Если бы не Франция, не Швейцария с их медицинской, что было бы с ней. Она научилась жить спокойно, с житейской мудростью, ценить каждый день своей жизни...

— О Жозетт! — только и знает, что повторяет она вслед за подругой.

Да, Жозетта училась жить достойно, кажется, всю свою жизнь. И только этого предусмотреть не могла. И в том, что они, наконец, встречаются, есть высшая справедливость. Именно среди красоты, среди запахов этой герани во дворике, в сиянии снега на отдаленных вершинах, на виду альпийских лугов.

— Ну что ж, — говорит Жозетта как можно спокойнее и закуривает, пуская легкий дымок. — Норма моя — две

сигареты в день и порой стаканчик вина. Неспа — не так ли? — обращается она к мужу. — Главное — не съезжать на обочину. Ма шер — моя дорогая Люси!

— Ты мудрая, ты справедливая, — говорит Жозетте Люси. — И я люблю тебя, очень и очень. Мне так не хватает тебя.

— А мне — тебя, да-да, это так, — расслабься, может, впервые за все эти годы так печальна Жозетта. Я привыкла к тебе, моя русская подруга. И я тебя очень, очень люблю... я переживаю, когда у вас к России там трудности. Когда болеет президент... когда вам не дают зарплату...

— О да, да! Мы переживаем, как все простые французы, — искренне огорчается Жорж, облокотясь на столик, ушедший ножкой в землю.

— Береги себя, Люси, — слабея голосом, говорит Жозетта. — Семью свою береги — это главное, — и кладет голову на плечо Жоржу.

А потом они пьют вино. Ну, конечно, шампанское — настоящее, французское, что же еще? Боже мой, как хорошо с ней Люси, так хорошо ей не было никогда! И никогда еще не было так грустно, печально. Когда прохладный воздух начнет стекать в долину со снежных вершин, они расстаются и — уже навсегда.

Вот и вернулась Люси домой, но уже через Лион на Москву, в Шереметьево. И вернулась она совсем ведь другой — свободным, раскованным человеком. Вот зачем, оказывается, ездят за границу, в Париж. Это Мекка для всех и каждого, кто хочет дышать открытой грудью. Она совершила свой «хадж», и Свобода, Равенство и Братство — это начертано теперь в ней, этого не отнять.

\* \* \*

А через три месяца ей в Россию пришло сообщение что Жозетты не стало.

В НИЗЕНЬКОЙ СВЕТЕЛКЕ

Окошко светится в хатенке, а в окошке — бабушка Митревна. Божий одуванчик, в чем только душа. Топчется на солнышке с зари до зари, пока солнышко за ракету не спрячется. Смотрит бабушка Митревна с краешка деревни Бездонной на дорогу, по какой сыночка - последыша ее Володьку, казачка молодого бездоннен-ского, в Чечню на войну увозили. Старшие развеялись по городам и весям, а младшенький туточки в Бездонной с ней проживал, под самым ее материнским сердцем...

— Ты чего, Митриевна? — проходит мимо Хорунжев Василий Димитрич, тоже из казаков, глава местной администрации. — Чегой-то ты потемнела? Личико-то, как яблочко, гляди, испеклось.

— По сыночку плачу, — качается-раскачивается в окошке бабушка Митревна, в самом деле, личико с кулачок. — По Володьке все плачу-то, по сыночку горюю.

— А чего плакать? — важно этак говорит главный тут на деревне Хорунжев. — На высоком месте твой сын, — в Хомутово! Где, мать, все наши герои.

— Об одном, сыночек, хочу тебя попросить, — утирает глаза бабушка Митревна. — Сюда бы к нам на бездонненское на кладбище-то прах Володькин бы перенесли.

— Нельзя, мать, — сочувствует ей Хорунжев и твердеет голосом. — В районном центре твой сын, на мемориале! На погляд всего района, для всех лежит, поняла?

— Дойдись туда не дойдешь, ноги с кажным днем слабнуть, — перестает бабушка Митревна блестеть глазенками маленькими своими, выплаканными своими, вытирая их насухо концом бесцветного, застиранного го-ловного платка. — Сюда бы, под бок матери, великая просьба, низкий материнский поклон.

— Не слыхала? В Гималаях, говорят, обнаружен, мать, генфонд всего человечества, — заключает Хорунжев и проходит далее по своим неотложным делам.

А бабушка Митревна из окошка назад к себе в хату. «Генфонд... человечества... Слова-то какие находит Хорун-

жев», — движется она по светелке, не скрипят под ней половицы — легка больно стала, безвесна и бестелесна, скоро к Богу, туда, где и все. А под Володькой скрипели. И под девками, под Володькиными ухажерками, тоже скрипят. Являются пока что, проводывают. Завмаг Зиночка-Зинаида хлебца свеженького, слава Богу, приносит. А Галина с фермы молочка ей сюда кой-когда. А Валюшка, учительница, Валентина Сергеевна, полы мыла с порошком ка-ким-то до желтизны. Вот в светелке и чисто, светло, боголепно...

«А чего это «генотип» означает? И где это в Гималаях? — шевелят слова всякие душеньку бабушке Митревне. — Это, наверно, где собираются восточные люди на «хадж», — так по радио говорят. А она, бабушка, как зарыли Володьку, так и ни разу там, в райцентре — в Гималаях у них, не была. — Как бы это сходить, проведать Володьку. Недалеко тут, километров за двадцать, Гималаи-то эти. Молодой была, как челнок, шмыгала туда-сюда. То яблоко на базар, то корзину вишенок. Де-тишкам на одежонку, на книжки. А ныне автобус не ходит уже второй год, отменили...»

Прошлась по светелке бабушка Митревна, поглядела на фото Володькино, поправила его на тумбочке, чтобы тверже держалось. Эх, держава ты, наша держава, держись! На Володькиных-то костях, на слезах ее материнских... Ущипнула бабка хлебца Зинкиного, молочка с фермы Галькиного отхлебнула — этого ей теперь на неделю. И назад к окошку, в окошке торчать. Глядеть на дорожку Володькину, куда увезли его и не вернули...

— Бабушка, — говорят, проходя мимо нее, школяры-казачата, — мы все к тебе завтра придем.

— Приходите, приходите, — кланяется в пояс им бабушка Митревна. — Да с утречка пораньше. А не то к закату уж за ноги оттянут, отволокут.

А вместо казачат назавтра приходит опять же Хорунжев.

— Вишь, мать, — достает он из кармана коробочку, — чего я тебе схлопотал? — И вешает ей на кофточку это... как бы с бесцветной, застиранной ленточкой...

— И что же это?

— А орден Красной Звезды. В военкомате дали за Володькины подвиги.

И сидит теперь бабушка Митревна в окошке своем в хатенке, что на краю Бездонной, не просто так, а с орденом на своей бесцветной кофтенке. Сидит и глядит на дорожку Володькину. И вспоминает все да никак не вспомнит, не держится в памяти Гималаи этот — Мемориал, где лежит-то сыночек, «дорогой мой, поскребыш, последненький... с кем бы я доживала... кто бы кружку к постели подал... кто сам бы меня к отцам-матерям на погост проводил... Володька — сынок мой, сыночек...»

Сидит бабушка Митревна в окошке к дороге ликом своим, изнутри испеченным, совсем что-то стала плохая. Тело с утра гудит, как мешками побитое. Не дойдешь до Гималая-то, до районного центра, по светелке пройтись и то ноги вихляются. Глядит бабушка Митревна на ракиту, аккуратную такую, поглядистую, и ждет над макушкой ее озарения. Первой такой вечерней, аккурат красной звезды. И звезда озаряется зорюшкой призакатной. Этот кончик неба видишь с Володькиным об-ликом, а звезда алая — в самом сердце ее.

— Еще один день прожит с Володькой, — сухими, бумажными губами шевелит старушка. — И, слава Богу, переволоклась в другой день. Это звезда не дает мне упасть, как и всей нашей Бездонной. Царствие небесное смотрит на нас живым зраком, каждого надо заметить, ить не каждого Господь забирает к себе туда так высоко.

### **СКВОЗЬ МЕДНЫЕ ТРУБЫ**

В сельхозпредприятии имени Чкалова, чтобы маленько придержать молодежь, купили комплект духовых инструментов. Но энтузиастов не обнаружилось, и медные трубы повесили на крючок до лучших времен. Лучшие времена наступили, когда в Ушаковку прибыл на жительство кузнец Антон Дубина, человек средних лет, с крупной грудью и кулаками-кувалдами. Оглядев критически брошенный домик, он сказал сам себе решительно:

— Поселяюсь.

И вбил возле двери лично откованный штырь, на кото-

ром пристроил черный футлярчик с металлическим ромбом: «Участнику художественной самодеятельности А. С. Дубине, артисту своего дела». В чем он был настоящим артистом — по кузнечному или как участник, предстояло узнать, и это пробуждало у ушаковцев к нему интерес. Тем более, что в отличие от прежнего кузнеца — «мазурика», этот, новенький, стал появляться на людях в пиджаке с модным разрезом, при галстук-бабочке и в свежей рубашке.

Деревенька ему понравилась.

Ушаковка стояла в логу, в стороне от движения, от центральной усадьбы. Кому надо, с нее уже съехали; кто остался, жил складно с собой и с соседом. На общем дворе живо обсуждали события: прокладку асфальти-рованной трассы в трех-четыре километрах, появление доильных аппаратов на ферме, новейших марок тракторов. Ни грузовые машины, ни тракторы к домам не подпускали, держали на бригадном дворе, на бугре. Околицу перекрывали ворота из березовых слег. Дальше ехать могли лишь «Жигули», «Москвичи» да мотоциклы, которые были тут почти в каждом дворе.

Предки позаботились о сегодняшних: всю деревеньку обжимали седые ракиты, сбитые в три-четыре ряда теми же слагами, они отгораживали от всего белого света дома, прудишко где-то внизу, бродивших по воле телят.

По утрам ушаковцев поднимал теперь звук трубы. Серебристый, он лился по освежившей за ночь деревне, подбирался к леваде, уходил далеко по холмам. Коровы начинали перекликаться сиповатыми, отроселыми голосами. Усмирялись цикады, скворцы улетали в лески заморить червячка, и только люди, запнувшись, поворачивались на звук и стояли с минуту или две, забыв о делах, и чуяли, как где-то в них возникает душа, как легким становится тело. «Боже мой, — шептали чьи-нибудь ссохлые губы, и ссохлые, плоские от работы пальцы трепетали, сучили, — и это живем мы? В работе, навозе. Спешим, гоним жизнь. А все, чтобы наесться, набить свой живот, да когда ж наедемся? Для чего хоть явились на свет, для какой-такой доли? И что останется после нас, кроме холмика?.. Как, однако, красиво поет

труба. Словно спрашивает тебя: все ли ладно устроил ты там, где живешь? Не забыл ли чего? Что еще слы-шишь, кроме себя?..»

По деревне гуляли веселые слухи: Антон, мол, разжалованный народный артист. В трубу играть, дескать, может даже ноздрей, а если губами, так сразу в два инструмента. Только каков он кузнец, интересно? В кузню, под вязами, подъявились любопытные. Сверкая кожаным фартуком и глазами, кузнец перехватывал в левую клещи с поковкой, бросал — малиновую — на наковальню. И прежде чем грохнуться молоту, каждый раз с кончика носа у него падала капля пота и вспыхивала!...

Вскоре в Ильинском на двери Дома культуры появилось объявление: «Любитель, кому это надо! Приди, запишись у меня в музыкальный оркестр. Запись в 19.00. А. Дубина». После этого с неделю кузнец аккуратно ходил на центральную. Настроение падало: даже школьников не было.

Месяц спустя в кузню ввалилось целое скопище — все в спецовках, в смоле, загорелые, лохматые, черноголовые. Сунув в воду раскаленную ось, Антон стоял, ждал, чего надо.

— Пришли, дорогой, всей футбольной командой, — выдвинулся вперед маленький и, видимо, самый речистый. — Принимай. Музыкантами будем, кунаками будем.

— С Луны свалились?

— Зачем с Луны? Асфальтировщики... Ток приехали вам асфальтиро-вать, дороги приехали делать. По личному договору. Может, тут и останемся.

— Шабашники, значит? — усмехнулся кузнец.

— Зачем обижаешь? — обернулся назад речистый. — Приехали, в клубе живем, а тут эта бумажка. Что делать вечером? Будем учиться... Будем, ребята?

— Бу-удем, — протянули осипшие голоса.

— Ладно, алкаши, охламоны, шабашники, — оглядел лихое воинство кузнец и вздохнул. — Только ша! У меня дисциплина.

— Ясно, начальник, — изогнулся в заднем ряду верзила в пиджаке из одеялки. «Ну и детина, два метра с лишним», — усмехнулся Антон и сказал вслух:

— В баню — раз, утюгом рожи — два, пить лишь по пятницам — три... Одежки под лавку, наведите багет-марафет. Вы же артисты!

— Раз в не... не... — дернулся речистый, но верзила заткнул ему рот:

— Есть, начальник.

В этот день молоток у кузнеца плясал веселее обычно. Антон справлял веялки, ковал лошадей, ладил бороны, сбрую, телеги. В перекур призадумывался, усмехался, крутил головой. В среду вечером шел на центральную. Проходил залесенной балкой, на макушку которой то и дело вымахивал трактор. Эта весна была ранняя, яровое давно покосили и уже пахали под зябь. Моросило. Сумерки изменяли очертания, и он подумал, что в грозы и ночью лес, должно быть, совсем не такой. На земле, как и у людей, все в движении: где веками лес стоял — пашут, где пахали — остволяется дерево.

Вошел в репетиционную — все разом встали. Усмехнулся: прямо тебе вечерняя школа. Вызывал пофамильно, порядок всегда есть порядок.

— Ну, с чего начинаем? — брякнул на стол он тяжелую руку.

— С похоронного вальса, — несмело сказал речистый Арсен Матевосян и оглянулся на всех.

— С марша, то есть, — подтвердил басом верзила — Вася Косичкин.

Антон вскинул бровь:

— Не понял.

— Так надо, начальник, — зачастил Арсен. Из его вдохновенной и складной речи Антон Дубина понял, что похоронный марш — это материальная база, это бета и гамма, были бы гроши — будет программа. Кто-то где-то умирает, кто-то кого-то хоронит; они хотят хоронить по-человечески, мы хотим жить по-человечески — личная инициатива.

— Ладно, вы, инициаторы, — остановил их кузнец. — Вот вам, видали? — показал он дулю им. — Будем разучивать, что вам скажу. Эти... хоровые, вокальные песни...

— Здорово, — улыбнулся Арсен. — А кто ж будет петь?

— Запоешь! — сказал сумрачно Вася Косичкин и смягчился: — Кто поет сейчас? Население. Пионеры и пенсионеры.

В другой раз бежал — опаздывал — напрямки по опушке, через Сивый ложок. Остановился как вкопанный: по краю затравеневшего противотанкового рва шершаво тянулись ракиты. «Наши оборону держали,— вспыхнуло, — маскировка была... А теперь из веток ракиты, и те уже старые». И он впервые задумался о своем возрасте...

И в тот вечер решил рассказать «охламонам» о музыке. Помнится, читал еще там... в отряде, брошюру, такая интересная брошюра о музыке, о Петре Ильиче Чайковском. И на нотах было написано тоже Чайковский. Вот имел человек понятие, вот имел красивую душу. Как это у него: тата-тата-тата-тата... трата-тата-тата-тата... С полчаса Антон выговаривал все, что знал, все, что помнилось. И так было приятно самому за себя, так хорошо себя слушать. И ребята были хорошие, такие внимательные, чуткие, прямо ели глазами. Да он горы своротит с такими, Чайковского они у него будут щелкать, как семечки...

Расчувствовавшись, Антон принялся проверять музыкальные данные, стал сажать на инструменты. Васе-верзиле была вручена колотушка, Арсену — вторая труба. Из кладовки извлекли проломленный барабан, выбросили мышинное гнездо, водрузили в середке оркестра. С десятков дней гул стоял адовый, дули каждый свое. Едва приспособились извлекать звуки, последовали заявки: начальство приказывало сыграть на чествовании доярки Аксютиной, на слете механизаторов, на открытии новой столовой. Антон сбился с ног. Кроме единственной партитуры, съеденной мышами, в клубных шкафах ничего не нашлось. «В далекий край товарищ улетает...» — разучивали они ее, эту единственную.

Блудил по своим и не по своим нотам тенор-секунда, давила все и вся труба, барабан ахал, как валеk по белью. Антон прерывался, брал колотушку, тубу, показывал...

В субботу кузнец Антон поехал в Мокрянск насчет репертуара. Оказалось, нет в районном Доме культуры оркестра, нет и никаких нот. Антон уже шел обратно к себе на авто-

бус, когда что-то неуловимо знакомое, ви-тавшее в воздухе, заставило его остановиться.

Блуждая, с запинками, как по ухабам, звуки подбирались к мелодии:

— В далекий край товарищ улетает, —  
жалобно пела труба.

— Эх-та-та, эх-та-та, —

грохотал и дребезжал барабан. Антон даже привстал на цыпочки: только вторая партии тенора, первой партии нет.

— Чего это там, бабусь? — спросил он семенящую мимо старушку.

— Товарку, милок, провожаем, — шевельнула та мягкими, как вата, губами. «И куда же ее?» — хотел было поинтересоваться кузнец, но в это время справа из переулка вышла людская процессия. Где-то сзади плыло знакомо, жалобно:

— В далекий край товарищ улетает...

Впереди процессии выступали старушки в черном, несли венки из ромашек и хвои. Гроб покачивался на тугих полотенцах. Из окон высывались любопытные, останавливались прохожие. Позади, по дороге, в пыли, оставались зеленые ветки. Ступая на них, медлительно; то кучкой, то вразноброд двигались они, его охламоны, голубчики.

Антон подошел к ним, пристроился, шел, опустив голову.

— Они сами приехали к нам, — шептал Арсен кузнецу Антону. — Зашли в клуб к нам и спрашивают: это вы, говорят, играете? Ну, мы. Вы, говорят, любители ай профессионалы? Ну, профессионалы, говорю. Бабушка, ветеран у нас, говорят, померла, не проводите? В общем, мы провожаем...

— Вижу, — заиграл желваками кузнец. — Нахлестались!

И отошел. Трубы исходили слюной. Вася Косичкин, закрыв глаза, всаживал колотушку чуть ли не в полбарабана, даже грачи на тополях встряхивались и кричали. Дорога вильнула направо, все тоже туда, и только Вася продолжал идти прямо. На пашню, по пашне. Арсен двинулся к нему молча, развернул за плечи и молча же подтолкнул следом за всеми.

— ...улета-а-ает... —

запевал во весь свой трагический голос Вася, и слезы катились у него по щекам.

— Ладно, ладно тебе, — гладил его по спине Арсен. — Нервный какой.

— Ты меня не оглаживай, не оглаживай! — открывал глаза Вася. — Я сам... са-а-ам...

Часа через полтора охломоны явились к автобусу, на автостанцию, по-дошли к Антону.

— Ну, проводили ласточку? — спросил он их хмуровато.

— Какую ласточку? — поднял рыжие брови Вася.

— А какая в далекий край улетела.

— Это тебе, начальник, — подлетел к кузнецу Арсен и сунул в руку червонец. — От первого жмурика, земля ему пухом. — И достал из Васиного барабана бутылку. — За почин! Верно, Вася?.. Антон Семеныч, музыканты просят. Просим, ребята? Ну!

— Про-о-осим, про-о-осим!

— Какие к черту вы музыканты! — Антон посерел от гнева. — Шкуры вы, жулики, трепачи, охломоны...

Все надвинулись на кузнеца.

— Сволочи! Скопом бродите, — отступил на шаг Антон и уперся спиной в ствол не крупного вяза. — Я же только оттуда. Что мне жизни, сволочи, жалко?

Они окружили его, надвигались, сжимали кольцо. Пальцы у кузнеца побелели на вязе. С кроны, подрагивая, сыпались на русую голову семена-крылышки...

К концу лета «профессионалы» в Ушаковке исчезли. И Антон теперь не ходил на центральную, папиросы и хлеб ему приносила соседка. Он почти не вылезал из кузни, закоптился, поблек. Выполняя срочный заказ, бил с темна до темня по тяжелой поковке.

Давно уже промычало стадо за садом, прогнали телят. Спешить некуда: кто дома встретит и что? Он положил молот на наковальню и вышел во двор, лег на травку — лицом в небо. И увидел первую звездочку. Прильнув к земле сердцем, слышал, как она отвечала на каждый удар, опускалась и поднималась, дышала под ним, как живая...

В тот сентябрьский вечер, когда душа привычно маялась от одиночества, в дверь постучались: сосед Матвей Матвеевич. Шофер.

— Чего тебе? — встретил невесело его Антон.

— Да что ж я, соседушка, — переступил Матвей Матвевич порог и улыбнулся, качнул головой на стенку, на черный футляр. — А я гляжу: чего кузнец не поет? Уж и вся Ушаковка волнуется. И бабы, и мужики. Сами деликатничают, а меня подсылают: спроси. Всю деревню, поди, прошибаешь...

Кузнец стоял истуканом, потом лицо его дернулось: видно, дошел, наконец, смысл услышанных слов. Руки прыгали, ставя кружку, стакан, пальцы дрожали.

— Это сейчас мы, — говорил он и отворачивался. — Это мы мигом.

Выпили и молчали, чувствуя: один — интерес к другому, а этот другой — за тоской накатывающую в душу, нечеловеческую теплоту. Ведь сегодня еще, можно сказать, и не знал Матвея Матвевича, а сейчас так и нет человека роднее. И всю жизнь свою вылил кузнец перед человеком, выдохнул всю свою жизнь...

— Да, судьба, — смотрел сосед заволокшимися глазами. — Нелегко тебе, да. Все мозги у тебя набекрень. — И приподнялся, крутнулся резко, кивнул на футляр: — А ты дай сигнальчик, Антон Семеныч. Дай сигнал му-жикам...

Они вышли наружу. Ночь была звездная, бесконечная, теплая. Кузнец поднял к губам свой «корнет-а-пистон», и живой, малиновый звук овладел темнотой.

Ун-тата, ун-та-та... —

серебром наливалась мелодия.

Завозились грачи на ракигах, в траве усмирялись кузнечики. Чей-то молодой голос возник на том берегу:

— А кузнец-то наш снова запел...

Серебро улетало в тугие созвездия, куда-то к Венере, что-бы эхом, от-толкнувшись и там о что-то живое, о душу людскую, возвратиться сюда, в Ушаковку, назад к кузнецу.

## ЗВЕЗДА МЕЖДУ ЯБЛОНЬ

Небо это он видел тысячу раз. И все смотрел на него с практической целью: или дождя просил, или, наоборот, молил, чтобы глянуло солнышко, обогрело поля. Всю свою жизнь Ковшевой Геннадий Архипыч пробыл на селе агрономом. Только и знает эту свою круговерть — битву за урожай. Лето пролетает на едином дыхании — ни выходных, ни проходных. И вот всего с год назад его взяли в райцентр главным специалистом. И тут, нате вам, отпуск, да еще накануне косовицы хлебов. Что бы это значило?..

Ну да, в самом деле, Геннадий Архипыч находится в отпуске — в родовой своей деревне, в пустой отчей хатенке. С утра он обегает грибные места — все эти перелески, долы и суходолы с легкостью лани, они его не утомляют, но все равно тоска не покидает сердца. Вот и сегодня, чувствуя очередной приступ, он поднимается к двум матерым березам в конце усадьбы. Далеко видать! Там, на зеленых холмах, село Высокое, извивается змейкой дорога, вечерами по ней бегут автомобили с включенными фарами, цивилизация. А тут — зеленое безмолвие, поле непаханое, за огородами» поселок, утонувший в садах. Да еще это вот небо — огромное, с мириадами звезд. Он плохо в школе учил астрономию и потому знает только одну, и ту по наитию, зато самую главную — Полярную.

Как человек деревенский Архипыч вообще-то знаком с небом неплохо. А вот то, что Земля, Солнечная система, вся наша Галактика, а значит, и все сущее — наши человеческие законы — писанные и неписанные, страны и государства, города и деревни, даже их райцентр с его производственным управлением, — вращаются вокруг этой одной-единственной Полярной звезды, невозможно себе представить; все это он знал давно, познает и сейчас. Полярная звезда — в ковше Большой Медведицы, а не накормит никак своим ковшом человечество... На их поселок гроза заходит всегда от Высокого. И бывает с молнией, даже с градом, впечатляет, но страшновато. А сейчас на зеленых холмах, на белых, едва различимых отсюда домиках лежит отсвет,

скорее какой-то неуловимый налет розовости, переходящей в синее, темно-синее, в темноту. Неистребимо в нем это чувство тревоги, особенно с того момента, когда этой розовостью еще дает знать о себе Солнце, уже ушедшее за горизонт. И именно в той его части, где за одинокой раки-той над полем обозначается ночью Полярная звезда. Летом и осенью, строго и постоянно, всегда в одном месте...

Архипыч поднимает голову и не узнает Неба. Он просто не знал до сих пор, что может быть так красиво. Легкость голубизны с позолотой необыкновенная. Перистые облака, как перлы золотые, в разнообразных вариациях, единые в своем росчерке по этой голубизне напоминают о Пушкине, о его необыкновенно полетном гусином пере, выражавшем на бумаге такие же воздушные, золотые сочетания слов. А за голову Архипыча, туда — за Высокое — тянется огромное, в полнеба, павлинье перо — рябоватое, синевато-малиновое, темнеющее по мере приближения к Высокому, откуда и заходят грозы, как бы притягиваясь к его зеленой тоске. И чуть в стороне плывет почти черная острокрылая стерлядь... «А ведь сегодня 27 июля, — подумалось Геннадию Архипычу. — День, когда какой-то негодяй убил на дуэли Лермонтова... Зачем отец назвал меня так — Геннадий? По-гречески «гений», кажется, «бог вдохновенный», «энтузиаст»? Люди не любят живых энтузиастов. Какой-то разрыв у меня между именем и практической жизнью...»

Ночью он просыпается в холодном поту. Только что его накрыло то самое павлинье перо — рябоватое, синевато-малиновое, кладущее тень на все высокое в нем, перехватившее горло. Он встает, проходит через хату, с прибулькиванием пьет тепловатую воду из деревянного корца старинной, еще дедовской выделки, приседает на крыльце. На лавку с краю, на привычное местушко. Сколько сжилось здесь после смерти отца, после трудов праведных на родной усадьбе! Бывало, он опускал набрякшие руки, и, свесясь, они тянулись куда-то вниз к земле, а с кончиков пальцев туда, к отцу, сбегала древняя усталость. И все равно хорошо. Луна уже серебриста, все в странном сне, зачарованно как-то. Прошлепал сюда, к крыльцу, от калитки

ежик, пофыркал на него, посопел, подергал носом: «Свой», — и пошлепал далее к подвалу.

«Тогда в детстве меня звали Ежиком, — зевая, провожает взглядом его Геннадий Архипыч и потягивается. — Волосы у меня стояли торчком. Всегда и во всем я шел поперек».

И тут его что-то обеспокоило. Что же? А сад почти вымер, тьма кромешная. Вековые липы и дубовый лес прямо за садиком давят на него, на существующее в нем ощущение свободы. И тут, между яблонь, он увидел звезду. Такая странная, невероятная. Как глаз алмазный, взгляд живой, узнаваемый чей-то. Холодком протягивает между лопатками. Геннадий Архипыч ежится, легче вживаться в облик невероятной Звезды. А она мелко дрожит неверным фосфорическим блеском, сине-зеленым, холодным, идет сюда от чего-то малиново-золотистого, теплого и вся без остатка входит в него, и сердце уже бьется гулко, в такт ему, рождая новые чувства, предчувствия, предначертания...

«Так вот зачем ночью, перед рассветом, выходил наружу отец, и мать ворчала вслед: «Гляди, не свихнись». Вот на что смотрел, бывало, отец!...» Черная стерлядь плыла по синему океану. В потоке жизни мы считаем четыре их — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. И меряем вниз, в глубину, всю эту землю. А океан, что над вами, он один, но перевернут в нас, он бездонен. И если тело уходит, то души-то куда делись? «Я знаю, — ослепляет Архипыча. — Это он смотрит на меня с этой звезды. Это отец мой, отец!» Где-то звенят цикады — кузнечики, сквозь их монотонность к нему подбирается отдаленный звук церковного колокола. Что это, где это? Неужели какой-нибудь странный монах решил таким способом на спасение души ссыльного поручика Тенгинского полка Лермонтова? Или это звенят в лесной траве по всем живущим и страждущим синие колокольчики?.. И тут ему начинает казаться, что Звезда мигает — подмигивает как-то странно ему одному в целом мире, ему лишь, как когда-то и Архипу — его отцу. И он увидел, как яблони в саду каждой весной, каждым листом тянутся не просто в Небо, к Солнцу — это днем, а ночью — именно к ней, к этой невероятной, стран-

ноприимной Звезде. Они тянутся к Ней, он это видит, наклоняются — сплетаются — вытягиваются, и он ничего не может поделать. Он точно знает теперь, что именно там, на этой Звезде, из-за которой приходит рассвет, — душа отца его и именно там живет Красота. И это вокруг нее — Звезды без имени, отчей Звезды, и совсем не вокруг Полярной звезды, крайней в ковше Большой Медведицы, и вращается все это огромное, непостижимое, с мириадами звезд: Земля наша. Солнечная система, вся наша Галактика со всеми нашими писаными и неписаными законами, все эти страны и государства, и города и деревни и, конечно же, его производственное управление, где он числится агрономом.

Во тьме кромешной он видит весь сад свой — до каждой яблони, каждое яблочко, с семечками насквозь, резной очерк листочка. Вот как изощряется зрение перед рассветом...

— Сын! — кричит он, входя в надышанную, теплую хату. — Глядь поди, как сияет Звезда! В городе она не сияет, лишь здесь!

— Хватит, отец, чудить, — переворачивается сын на другой бок.

«Молодой еще, — думает Геннадий Архипыч, — видеть такие звезды».

И через окно взглядывает ввысь еще раз, любитесь, скорее, ощущает каким-то невероятным внутренним зрением, чем видит, как на тоненькой, просто на невидимой паутинке серебрится сухой лист — крутится, вертится шар голубой, — дыханье рассвета, отблеск отчей, дивной, странно-приимной Звезды.

## ПОД БЕРЕЗОЙ

Люблю подняться в конец усадьбы к двум своим одиноким березам. Сажу и смотрю на село Высокое прямо перед собой: спичечные коробочки белых домиков, узкая змейка шоссе, автомашины. Какие-то мистические, ирреальные мысли и чувства рождают эти березы. Гляжу снизу ввысь, привалясь спиной к стволу, в эту зеленую купу, и безбреж-

ность как-то ввинчивает меня в Небо. И этот зеленый вихрь все быстрее, мысли несут в предначертания вечера, сумерки втягивают в розоватую синь. И, кажется, пульс планеты перекликается с сердцем, вовлекая тебя во всю эту долину с ее обширными заливными лугами, лесистыми склонами, реликтовой речкой, а по берегам — валунами, оставленными еще в ледниковый период. Вот отрезвляющее средство для всякой власти; все эфемерно перед этими ландшафтами — свидетелями эпох...

Береза, по гороскопу друидов, — мое дерево. Я рожден в день русской березы, в единственный такой день в году, — 24 июня. Это венец летнего солнцестояния, пик лета, далее «золотое руно» сжимается, и это грустно. Что-то выходит за пределы, я родился не днем, а ночью, как записано отцом в моей метрике. Однако ведь накануне рассвета, и потому моя фамилия дневная, солнцеликая. Что-то не вполне вероятное и в том, что мать моя — Мария, а почти отец мой, отец отца, большой отец — дедушка тоже Иосиф. Фамилия наша Золотаревы от «соло» — «солнце», от него образовано «золото» — «золотой» — солнечный, небесный металл, растворить который не берется даже «царская водка», адская смесь из соляной и серной кислот. И все мне это дано, не придумано мной, как и то, что я — Леонард, «льву подобный», тезка самого Леонарда да Винчи. И если вдуматься, я же сын Сергея Есенина, призвавшего меня в поэзию, ибо Есенин — одноклассник, оказывается, отца моего. Вот сколько мифов во мне и вокруг...

С детства стою я за имя свое. Диктовали: фамилию смени на материну (Нижевясова) — «ниже вяза», ибо отцова нехороша (отец мой сгинул в 37-м). И имя мое, где только могут, на почте, в паспортном столе, в домовых, писательских, любых списках, даже в первой журнальной публикации (журнал «Наш современник», 1971 г.) пишут, печатают, переводят частенько на «Леонид». Моего имени нет в святцах, потому при крещении и дано мне православное, но вроде исконое «Леонид». Имя мое — Леонард! И это меня возбуждает, заставляет держаться. Леонардо да Винчи, — звучит!.. Отступись, — был бы я Леонид Нижевясов, а так

— Леонард Золотарев. Вроде как американский писатель не О'Генри, а Билли Портер, француз не Стендаль, а Анри Бейль, у нас в России не Андрей Белый, а Василий Бугаев, не Игорь Северянин, а Лотарев...

Священное «семь» — твое имя отцово,

Плюс «два» роковых у меня.

По «девять» у нас полыхают пунцово.

Когда мы седлаем коня.

(Золотарев — Лотарев — Северянин).

Я — «30 Лотарев», всего один,

А Лотаревых — тридцать.

Упорство вырабатывает характер. Одно название «Глагол» — первого поэтического сборника — чего стоит. Лет пятнадцать муржили, пока что-то не рухнуло в мире, и это как-то само издалось с «глагольным» названием...

Сижу под Березой, а ведь сумерки, да комарье — «гундосики» — в брови, в ухо, в глаза. И на плечи мне валится сухой березовый лист («сухой лист» — у нас такой, а у бразильцев другой — мимо защитника, подкрученный мяч). И от Проказинки, что за речкой, идет сюда, извивами движется, дым («и дым Отечества нам сладок и приятен»). И все это во мне и вокруг меня, лезет в голову всякая мистика... осень падает с листика... осень, осень — милости просим...

По Велимиру Хлебникову, человеческий дух находится сразу в трех измерениях — в прошлом, настоящем и будущем. И, что интересно, тени былого оживают, заполняют долину, качаются, изгибаются, как столбы дымовые, над хатами. И дымы, туманы, тени былого — это леди Макбет Мценского уезда, даже Лев Николаевич Толстой с Абрикосовым — пчеловодом, к которому писатель наезжал на хутор Затишье — в Синяевский... Из какого слоя извлекаю я силой духа волны собственного воображения...

Я, конечно, знаком со страшноватым, ужасным (однако дьяволиады боюсь). Достаточно Эдгара По с его заживо погребенными. Например, Го-голь весь век свой опасался этого, а ведь погребли в Донском монастыре; когда разрыли могилу, чтобы перенести прах, погребенный лежал ничком, лицом вниз... Так вот. Гоголь боялся, а погребли. Надя Ко-

соусова из Малоархангельска боялась укуса пчелы, а ведь укусила, и погребли. Никогда никому на свете не сообщай о страхах своих, инобытийные силы не должны знать страхов твоих. А ведь ты сообщаешь, звонишь о себе даже врагам. Да ведь несет, мать моя, куда денешься?.. Так я не об этом. А о том, что, если бы Тургенев, скажем, пожил бы еще, мы бы знали его куда более странным, чем по «Запискам охотника». Нашу русскую литературу до сих пор подпитывает биоэнергия Пушкина, от одного из семи перстней исходит поэма темно-зеленого изумруда, который умирающий поэт передал Владимиру Даю, это подвигло Даля на создание «Толкового словаря Живого великорусского языка»...

А Береза все сыплет и сыплет листьями. Конец столетия, даже тысячелетия, эпохи — должны быть катаклизмы. Я знаю, я ощущаю эти прямо-таки от Березы, уходящей корнями в землю, а макушкой — в синь поднебесную. Много будет иным — сама эстетика, восприятие Красоты. Мы живем все еще в прошлом — в романтизме и реализме, а уже подготовлена почва для символического ощущения. Например, два американца наблюдали Великий Аттрактор (Притягатель) — сгусток галактик, отклоняющих движение нашей системы. И все, согласно тому, и в эстетике должно быть изменено. Вот мой ключ к Вселенной! Я просто немею перед будущим полураскрытым; боятся осваивать неосвоенное, даже Нобелевскую премию держат в тени. Что знаем мы о нашем поэте Хлебникове Велимире? Будучи рожденным в калмыкских степях, он соприкоснулся с буддизмом, с его великими недрами, страшно-безбрежными тайнами. Годовые ритмы, как кольца на стволе твоём, о Береза! Циклы в 365 лет. И назад и вперед. В человеке они и в судьбе планеты Земля. В человеке — это твои двойники, если ты стоишь того — где мы были, где будем?.. Вычитай 365 лет от года своего рождения — и кто жил в том году из художников, кем ты был, в чьем облике существовал?

Биосферы содержат пятно — информацию, где была Земля циклом ранее, те же 365 лет назад. И «пятно» известно, установлено наукой, многократно повторено экспериментально. Российский астроном Козырев — земляк наш,

орловец по рождению, констатирует примерно так: знаем, знаем, какими мы будем и что с нами будет через тот же планетарно-космический цикл в 365 лет... А мы еще говорим что-то об эстетике реал-изма — о какой эстетике? о каком реализме?...

А я все сижу, сижу под Березкой. И листья сыплются, сыплются. И меня засыпает листвой, я превращаюсь в золотой, огнедышащий холмик. Июнь прошел, пройдет и август. И августейшее сойдет катаклизмами. Останется только это село Высокое, этот ландшафт заповедный — внеземной, вневременной Красоты. И как по «Золотому кольцу России», где-то севернее Москвы, так и тут, южнее ее, будут идти и ехать паломники по этому «треугольнику», самим Богом подаренным, созданным Природой, Человеческим Духом, — по этому «Золотому Треугольнику России»: Спасское-Лутовиново (Тургенев) — Никольское — Вяземское (Лев Толстой) — хутор Затишье — поселок Синявский (Человек и Природа)...

И тут где-то в устье Алеши, при ее впадении в Зушу, на «колыме» раздались охотничьи выстрелы. Стая диких уток прошелестела и села на Березу. Из соседнего перелеска выскочила русская легавая и сделала стой-ку. Утки не улетали. Береза, встряхиваясь под ними, только постанывала.

Из лесного массива вышел человек с ружьем.

— Здесь нельзя охотиться! — твердо сказал я.

— Что — частное владение? — усмехнулся он.

— Да, это моя Береза! — заслонял собой я зеленую купу.

Человек в камуфляжной куртке приподнял ружье, я беспомощно огляделся.

— Да ты знаешь хоть, что такое Великий Аттрактор?! — воскликнул я и для себя неожиданно. И тут в отдалении затарахтел трактор.

— Знаю, знаю, — засуетился человек в камуфляже, путая божий дар с яичницей и опуская ружье.

А с тракторной тележки уже прыгивали люди и среди них знакомый мне егерь Петрович. «Великий Аттрактор — это Великий Притягатель», — задрал я голову на макушку Березы, стараясь взглянуть за купой в это притягательное,

мистически глазастое, животворное Небо. Они нас видят, эти дневные звезды, а мы их нет! Что же надо нам, чтобы мы их увидели... видели... днем и ночью... ночью и днем?.. Они еще считаются с нами, потому что мы пока что не оторвались от них.

## В ЛУННУЮ-ЛУННУЮ НОЧЬ

Вот и бабье лето, второй — яблочный — Спас. Пчелочка золотая — осень молодая. После трудов праведных сижу на одном из излюбленных мест — на крыльце, упершись спиной в дощатый, синим крашенный, угол, положив на скамейку ноги прямо перед собой. Плетями свисают руки по сторонам, по ним — обессиленным — от плеч до кончиков пальцев и далее вниз, в самую землю, гудя, стекает дневная усталость, весь этот чертячий физический труд в саду и на грядках.

Завтра, чуть свет, надо вставать и двигать на автобус — отправляться в город. Рюкзак уж набит, приготовлена сумка; все для прокорма в ненасытных наших «бетонах... Включаю радио, чтобы не проспать. Засыпая, проваливаюсь в какую-то яму. Сигнал подан: колом во мне уже беспокойство, знаю, сработает вовремя. Задаю с вечера, например, программу — и точно: встаешь полчетвертого, скажем, по грибы. Или в школе академический час «вижу», как самого себя — буквально за секунду до окончания урока слышу в себе звонок. Биологическое время чувствую я хорошо...

И тут заиграли по радио гимн. Утро, без пяти шесть? Новый, музыка Глинки. Вот запомнить только никак не могу. И вообще слова-то хоть существуют? Но услышал первые звуки — и все прочистилось во мне ото сна. Включаю свет — тут же радио вон из розетки. Все идет в полусонном, заданном режиме, по автоматике: движения, жесты, одежда, рюкзак... Минут через пять уже выхожу за поселок...

Луна-луница. В оцепенении сад и опушка леса. Они не слышали гимна, еще спят. Постанывают на плечах лямки рюкзака, сумка оттягивает правую руку, а впереди меня движется тень, она и манит идти чуть светлеющей стезе-

кой, однако контрастом света и тени не очищает меня ото сна. Так, полусонный, и бреду до одинокого матерого дуба, темнеющего среди местности. И только тут, у дуба, приостановясь, подозрительно вглядываю-сь вниз, во всю эту замершую в летаргическом сне пойму речки Алешин. Направо и выше — село Высокое под покровом луны. Тихая, оцепенелая Русь!.. Ни машины, ни огонька. Ни птичьего вскрика, ни треска кузнечика. Даже перепел не бьет, не дерет сухую доску дергач... И все во мне сбивается в узел, начинает с чем-то сообразовываться. Во-первых, петух где-нибудь по речке внизу, по поселкам, уже трепыхнулся бы, вскрикнул бы. Во-вторых, руки, тело под рюкзаком быстро тяжелеют, словно за ночь и не отдохнули. Глубокий сон, внутренний сон. И только не спит луна, объявшая половину неба. Она и ведет меня — все до былки видать по обочинам, все до стеклышка лужицы на влажном проселке. Нескончаемы земные мои диалоги с луной...

Тысяча шагов, первая тысяча — и я снимаю рюкзак... Еще тысяча, а это уже половина пути... И тут уже, у Арендового леса, весь этот лунный пепел в глазах, толчки в ушах от учащенно бьющегося сердца перерезает слабеющей, одна-ко явственной, реальной догадкой: «А тот гимн по радио? Утренний, а то, может, вечерний?» Но возвращаться не хочется, сил никаких, просто жаль истраченных сил.

Уже добравшись до асфальта, догадываюсь чиркнуть спичкой. Так и есть: без десяти час. Полночь, глубокая ночь. Что делать?

До первого автобуса почти пять часов с половиной. И вот он, рюкзак, у ноги, теперь уже неподъемный. И сумка. И четыре тысячи шагов за спиной, это если назад. А если тут все оставить, то охотники, собаки — сколько их по полям и лесам шныряет? Да просто жаль мне рук своих, которые вызывают, гудят.

Итак, остаемся, где наше не пропадало. Ночь теплая, почти летняя, лунная. Лунная-лунная ночь. Тряхнем же молодостью и стариной! Диалоги с луной продолжают-ся. В погоне за временем, в беге времен мы забываем о корнях. Неплохо вернуться назад в себя человечеству, очистить

себя языческой первозданностью. Мчался, помню, в молодости еще на велосипеде таким же проселком, и путь свой ночью чуял при мерцающих звездах. Я все, абсолютно все видел каким-то внутренним, обостренно мистическим зрением — все до выемки, всю колею до былиночки. На многие, многие годы вперед.

Я — Пан, я — языческий Бог. Стою посреди большака под Луной, под ее серым усталым, ликующим теплом. Асфальт перед взглядом взбирается на пологую ленту горки, а сзади, я знаю, лента виляет за посадку. Такая стоит тишина. Просто гложешь. И все внутри куда-то течет, перемешивается вместе с лунно-пепельным светом, прострация просто какая-то: близкое и далекое, призрачное «фрр, фрр, фрры-ы-ы!» — это шорохи в кустах и отфыркивание, это живая реальность; торопыга ежик шлепает, перебегая дорогу. Лежу, привалясь к муравьиной кочке, мягко под локтем — это тоже реальность; я — в реальной посадке, под реальными березами. На коре белых стволов, напротив, вижу целые картины из темных, почти черных фигурок. Мистическое, что ли, предвиденное мной: чукчи все, трибуны, трибуны, яранги по великим снегам? И темные, темные флаги. И все на белом, белом, белом — на бере-сте. Предощущаю, сдвинется все, упадет в катаклизмы. Ага, а вот я и сам на дереве, на бересте! Дерево мое — Береза! Вот и мой автопортрет. Он рисуется внутренним зрением, этот курносый мой, сократовский профиль, не сократовский лоб; слагаясь из очертания живой темной массы, ракиты передо мной, напротив, так резко-светлы на фоне такого же пепельно-лунного неба. Да, это я, и Пан, и Сократ — все вместе, одно. И там и тут лежу, упершись спиной в высокую комариную кочку. Удивительно, но не чувствую кочки, своего тела, себя. Меня несет по волнам времени, по всему пространственному язычеству Руси, которое было когда-то тут. Ни храмов, ни христианства. Одни только капища, такие вот идолы, угро-финские племена по Зуше и по Оке. И мы еще под Хазарским каганатом с его иудейской религией, и нам предстоит еще выбор...

Заурчала машина. Это «уазик». Из Мценска по дороге

на Высокое. Чиновник какой-то, местный председатель — припозднился с дружками, выбивая деньги и фонды.

И опять тишина. И мой Пан, мой смешливый сократовский профиль, по-прежнему предо мной, И митинги у яранг. И снега по стволу — великие, белые-белые, и великие митинги. И внизу под березами — пядь...

И опять машина в ночи. Это «Москвич». Из Высокого — в сторону Мценска. Ага, москвичи повезли продукты. Пять-шесть часов ходу, часам к восьми-девяти в столице...

— Боже мой, кто я, что вижу? — так все во мне обострено этой ночью, лунной, лунно-пепельным светом. И опять машина. Скорее всего, «Жигули». Из Алешни в поселок за бугром — в Косаревку. Ага, низочком туда не проедешь, топко ведь, дождик был накануне. Это друг мой Демьяныч, пасечник, у него одного такая машина. От знакомых, от родственников Демьяныч домой возвращается.

А это вот — через полчаса и «Нива» пожаловала. Оттуда же, из Алешни, далее следует на Высокое. Больше машин не будет. Это — плетун, конечно, от бабы, бабы у него на уме. Цветы запоздалые. Интересно, какую лапшу жене будет утром на уши вешать? Из Мценска, мол, из райцентра, дела... Пан я, Сатира и Юмор. Высокий сократовский лоб... Петух прокричал, следом — другой. Это в Прилепах. Вот не спится кому-то — первые петухи. Опять лунно-пепельная реальность. Нет, каковы эти живые радости — первые петухи. По посадкам косточки ведьмины перебирают, сатане секунды отсчитывают...

Дай-ка пройдусь вдоль берез, а то тут совсем обездвигнешься. Эта посадка и щедра же прошлым летом была на грибы! Даже рубаху пришлось снимать, рукава завязывать. Да вот же, вот они — пионеры лесов, белые, что ли? Один при луне даже шляпкой своей отсвечивает, другой — в полшляпки листком прикрылся. «Здорово, голубчик! Ну что, брат, не спится? Посиди, посиди до утра, я тебя не забуду»... И так по посадке, по посадке — вон куда ушел от рюкзака. А потом назад пришел к рюкзаку; кабы ежики на иголках своих рюкзак-то мой не унесли. Близко и далеко. Скажи кому, что ночь ночевал в посадке, на смех подымут.

Не брешы, мол, как радио, в котором диктор Бычков вещает погоду, а дождь уже каплет на лысину...

Стою посреди асфальта; пока не пойдут утренние машины, я — хозяин тайги, всего высокоинского большака. Птица трепыхнулась на дереве — дикие утки; это у устья Алешни, где-то на «колыме», стреляли вчера — на уток охотились. Ветерок потянул от Алешни, полем-полем да по раките, да по лбу моему сократовскому, ух ты, какой поток света! Каковы лунные блики! Подбежал к кочке, откуда Пан мне привиделся и держался все, пока не развеялся ветром; да вот же он, вот — мой Пан, мой курносый Сократ, мой двуликий Янус, Световид — мой языческий бог...

И опять бегу на большак. Погреться. От асфальта идут дневные, еще те - солнечные излучения. Ибо луна цыганская, хоть и широка в поясе, не обхватишь, навроне «Демьяныча», а отопление скудное, «городское», как говорят на «незалежной», ибо газ, говорят, они покупают...

Стою на асфальте. По лунному, облитому луной, почти белому фону асфальта темнеют черные пятна. Такие же, как пятна на лице у Сашуни — председателя сельской администрации, когда люди Набойщикова с работы его сымали. Дай, думаю, еще постою, ничего со мной не случится. А петухи уж вторые, из Косаревки, от прилепских петухов приняли эстафету. Это, значит, сколько у нас — уже два, третий час. И сколько времени тогда до первого автобуса? Да еще половина. Ничего себе, подождем, братцы, — не под дождем.

Так что же это за пятна по асфальту-то? Ух, луна, ух, красавица! Улыбаешься? Улыбайся! Как невеста на свадьбе: близко сидит, да рукой не дотянешься. Но что душу облагораживает, так это то, что страхи снимает, правда, ведьмы да ведьмаки все мерещатся, терзают душу то Чечней, то Косовым полем, спасибо луна просвечивает всю посадку насквозь до самого низочка, что-то вроде гласности в средствах массовой информации, а то как бы и жили. А как третьим петухам прокричать, так тут тебе Вальпургиева ночь и закончится. Тогда можно на портрет свой, на Пана в ракиновом профиле, уже не молиться...

Загляделся на звезды я — не звезды, а яблоки. Тут внизу по садам — по яблоням, по тортам яблочным. И там, вверху, по всему млечно-пепельному пространству, вместо укрупненных звезд, тоже яблоки. Интересно, какие это — антоновские яблоки или «штрифель»? Если бы можно было подпрыгнуть и откусить. Вот беда (Нина Родина — жена моего друга — сама гжатская, мать ее жила по соседству с Гагариными), — надо было туда вовремя съездить, когда живой еще был Юрий Гагарин, он бы мне все рассказал: и какого сорта они там, яблоки эти, и какой сочности. Я так думаю: это он завез туда нашу антоновку и развешал по звездам, между созвездьями, сразу по всем очертаниям...

Вот и третьи петухи, слава Богу. Ух, родимые, как вы вовремя! Аж чертям тошно стало, ведьмы в норы полезли. Даже профиль сократовский Пана и тот заколебался на дереве. Это — от ветерка. Вот и небо оживать, светлеть начало там, за нашим поселком Синяевским, в сторону Елизаветинки, далеко-далеко над Алябьевом наливаются уж, розовеет... Комбайны возвращаются. То ли правду сказали в сводках о косовице, то ли слегка притрепнули, чтобы было чем погордиться...

Эти третьи петухи сняли камень с души: ночь закончилась. В то же время и жаль ее стало, хороша была ночь — эта лунная-лунная, красивая ночь! И нате вам, нет уже, отошла. Звезды пачками выключаются. Только самая рдяная, самая крупная, самая-самая все еще борется, не исчезает. Уж и красится небо, а она все висит, всем видна. Уж румянцем облачка затомило, а она все не пропадает. Пан и тот слез с ракиты и вместе со мной ушел посмотреть на асфальт. А на асфальте уж опасно стоять — вот-вот с ревом пойдут машины...

Солнце краешек высунуло. А она все мигает — Венера, утренняя красавица, напоследок все глядит-глядит, очаровывает. Как повесил Пан ее, так и забыл снять, пусть горит — светит людям. И вдруг слышу в себе столько всего происходит. И рюкзак уже мне нипочем, хоть пешком иди, тащи этот груз на себе в свои городские «бетонки». Как душа-то легка, обновилась! А все Пан этот, мой языческий

Бог, утро, бессонные мои разговоры. Подвиг ведь совершил, переступил страхи, красотой наполнился, преодолел в себе что-то, чтобы снова идти... Прежде по радио гимны на ночь, на сон грядущий играли. А утром, на день грядущий, гимны те пели. А теперь и утром, и ночью исполняют без слов. Вот оно утро с ночью и перепуталось...

Бегу по посадке, а грибы — ночные знакомцы руками тянутся: «Возьми, Пан, возьми!» И тот, что с белой шляпкой, и тот, на котором листок. Оставлю, пожалуй, вас, братцы, березам с их митингами, раките с ликом Пана, Луне оставлю, Венере.

Все, все оставляю Стране Облетевших Ракит, с собой уношу только этот сентябрь, бабье лето на ночном большаке и всю эту лунную-лунную ночь. Навсегда, до конца своей жизни.

### СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ

Совсем недавно здесь было село Сирий Вражек. Века стояло, а исчезло за какие-то десять — пятнадцать лет. От усадеб только полынь да крапива, вон качаются на ветру. На подворьях, что первыми брошены, нет уже и крапивы.

Кое-кто уехал недалеко тут — за семь километров. И теперь село то Репнево уже не село — городок, скорее, с телефонами, ваннами, асфальтированными тротуарами. Перебрались лет восемь назад на центральную усадьбу и Каргопольцевы, родители Дмитрия, и считает себя сейчас Дмитрий репневцем. Одно обидно до слез: в паспорте у него в графе «место рождения» стоит «село Сирий Вражек». А где оно, это село? Воронки от погребов, в бузине одичалые кошки... Лишь один куток и сохранился: Белгород. Семь дворов по-над логом, где с времен еще дотатарских добывали белую глину. Остались здесь люди домовитые, хваткие, упорные, все живут да живут. В каждом дворе по старику со старухой, молодые где-то на стороне.

— И у нас же тут город — Белгород, — смеются они, назжая.

Дмитрий с рюкзаком книг по истории и философии за-

вернул к деду с бабкой на пару неделек. Это после Сибири, после тайги, где они со своим студенческим стройотрядом возводили город нефтяников. Дед с бабкой еще при силе, живут крепко. Ну чего еще надо? Дом кирпичный в пять комнат, пристроен не счесть, в каждой — всякая живность. А вокруг балки, поля, перелески. Не ленись, топор-косу в руки и сшибай сенцо-топливо. Пенсию тебе на дом носят, хлеб тебе чуть ли не на стол кладут — товар привозят на бричке из репневского магазина. Смотрит дед Дмитрия, отцов отец, Филипп Каргопольцев с фотографии в главной комнате. Молодой, со шрамом поперек носа, с двумя медалями «За отвагу». Героический дед, не подумаешь, что сейчас под началом у бабки.

И запальна же бабка Серафима, лиха: и сама дня не видит, по грядкам елозит, полет то огурцы, то картошку, и деда заездила — хлев расширь, сеголетке-телке сарай городи, прогуляй быка-двухгодовика. Дед у нее туда-сюда крутись-поворачивайся, не глядя на прежние раны. Дмитрию жалко деда, но ума хватает понять: ворошить улей нельзя, за многие годы здесь все подогналось, улеглось, другой жизни дед и не знает, потому, возможно, доволен и этой.

После завтрака, накрыв рушником на столе ложки-вилки от мух, бабка Серафима сказала деду, как бы мимоходом:

— Вишню — шпанку поди обери и сруби.

— Как... сруби? — оторопел дед.

— Машку вчера захватила, жрала вишни прямо с нашего куста.

— Убудет тебе? — заикнулся было дед Филипп.

— Сруби! — поставила бабка глаза на него. — Неча поводить, свое нехай вырастит.

Соседку справа, Маланью Миронову, Дмитрий ветретил утром на стежке к колодчику. Бежал окатиться студеной водой и чуть не влетел в ее ведра. Маша сошла со стежки, уступила дорогу. И он уступил ей дорогу. Так и стояли, пропуская друг друга. Дмитрию и сейчас видится ее маленькое, в кулачок, ветвистое от морщинок лицо, глубокие, водянистые глазки, «Старость не младость, — подумал Дмитрий. — Когда-то, небось, были карие. У стариков они всегда одного, блекловатого цвета».

Сидя в малиннике за книгой, Дмитрий нет-нет да и взглядывал на соседский двор, на длинную низкую хату, задумывался; что за жизнь теплится там, за оконцами, чем держится эта Малаша? Из всего Белгорода лишь она вековала как перст. Деда своего схоронила прошлой весной: умер от угара, рано закрыли вьюшку. Малаша была завезенная, из того же Репнева, жила с дедом тут каких-то семь лет и теперь, после дедовой смерти, вовсе считалась чужой. Каждый норовил ее чем-то обидеть, особенно бабка Серафима, которая на кутке видела только себя: ну-ка выходи четверых. Сыновья. И все с высшим образованием. Через все, что терпела сама, должны были пройти теперь и другие, к примеру, Маланья, а как же?

— Глотку-то петуху своему шнурком затяни,— поставил руки в бока, утесняла она спозаранку соседку.— И орет, и орет, черти его раздирают.

— Ты бы и меня в моток, дай тебе волю,— возражала ей слабо Малаша и иногда не сдерживалась.— И чего ты, скло-ка, все кружишься?

Дмитрий лежал на сеновале, вслушивался в их перебранку и думал, как все в жизни зыбко и одновременно стойко: одно, вековое, сходит за какие-то годы, другое держится и будет держаться еще тысячи лет. Сено было духовитое, из разнотравья, привезли из Грининой балки. Внизу, под сеном, по самой земле, он слышал, ходили ходуном мыши и терли в труху осохшие чистотелы, чертополохи, дикие скабиозы, отзолотившиеся купавы. А вместо них на другой год в лугах и балках опять поднимутся дикие скабиозы, чертополохи и золотые купавы...

На сей раз дед Филипп не стал прогуливать быка-двухгодовика, вывел и бросил его пастись по тому боку оврага. На быка было страшно глянуть: под шкурой бугры, глаз налит кровью, губы в розовой пене. Пастухи (а стерегут все по очереди от дворов и от поголовья) отказываются принимать быка в стадо, советуют вдеть ему в ноздри кольцо и вообще давно пора сдать быка в «Заготскот», но бабка Серафима сопротивляется, ворчит дома; «Ишь удумали — летом сдавать. Да за лето он еще ценнера два нажует». Дед Филипп прозвал быка Идиотом.

От чтения Дмитрия оторвал жуткий крик. Кинулся в овраг: под ракитой сидела бледная, как полотно, Малаша. Дед Филипп уже отгонял кнутом Идиота, стегал его, подгибаясь, по пузу, по ушам, по глазам. Всхлипывая, Малаша попробовала подняться и упала в крапиву: с ногой было неладно, уж не перелом ли? В стороне валялось ведро.

— Подошла толечко, зачерпнула,— плакалась Малаша Дмитрию,— а ён с горы на меня. Как туча. Я бегом, нога в ямку, я кубарчюю. Тут, спасибо, Филипп... Ой-ой-ой!— скривилась она, запричитала: — Да как же я теперича без моей ноженьки. Ой, да пропаду же я сиднем сидючи-и-и... кто хозяйство — кабалу эту — будет вести?..

На другой день дед Филипп свозил Малашу на репневский медпункт. Оказалось, ничего страшного — растяжение; стопу укрутили в бинты, предписали покой. Дед Филипп подвез Малашу под самое крылечко, и она, взяв подойник, тут же поволоклась в коровник доить измучившуюся, недоеную свою симменталку Красавку.

— Цаца какая, к крыльцу ее,— ворчала бабка Серафима.— Прихитряется, темная личность. Тут тебе улыбка, как блин, а в душе черти.

— Да ить мы виноваты,— разворачивал телегу на ферму дед Филипп.— А с чертями-то чужая душа — потемки.

— Прихитряется,— твердо решила бабка Серафима.— Бык ее даже и не покатал.

— Да зачем ей притворяться-то?

— А-а, много ты понимаешь,— махнула на деда бабка Серафима.— Езжай давай, по назначению.

Трудно в деревне стать своим человеком. Слово ли с ком скажет Малаша неловкое, косо взглянет на овраг, а белгородцы уже на дыбы: все Репнево тебе пирог маковый, а тут все тебе нехорошо, и чего тут окологлазишь? А тут еще бабка Серафима масла в огонь подливает. Все на кутке давно подогнулись под Серафиму: серьезная бабка, а ну попробуй подыми четверых, да еще дай всем такое образованно, тут с одним не знаешь, куда бежать. Ходит Малаша чисто, скота много не водит, за дедом — считалось — голову, как гусыня, держит; теперь и сама живет, а головы не опускает, из себя воображает чего-то.

Через день Малаша кое-как дотолкалась до фермы, увидела запряженного мерина, только что Стенька — старший сын чабана Алешки Терехова — подкатил с комбикормом.

— Стенька,— сказала парнишке Малаша, — мне на медпункт надо,— и уселась в бричку.

Стенька бросил ей вожжи, сам подался домой, за что тут же получил от отца нагоняй.

— Коней туда, коней сюда, изорвали бы,— ворчал Терехов-старший.— А доглядывать некому.

— Ладно тебе,— остановил его Стенька.— В другой раз с Малашей сам разговаривай.

В полдень Дмитрий видел, как, возвращаясь из Репнево, Малаша проехала мимо на ферму. Тащилась обратно пешком, далеко отставляя забинтованную ногу, налегая на корявый грушевый сук. При каждом шаге лицо искажалось, рот был полуоткрыт, видно было, каких усилий стоила ей эта ходьба. Почуввав хозяйку, заревела корова, ей вторила летошняя телушка, и Малаша заметалась по двору, загремела подойником, позабыла про боль.

Сегодня стадо стерег Алексей Терехов. С утра крутил его за оврагом, напротив дома, чтобы, в случае чего, нырнуть к себе, узнать, что и как с Идиотом. Только что вился где-то здесь, Терехов согнал стадо, должно быть, к самому пруду. Малаша ковыляла за Красавкой, возле Красавки туда-сюда ходила, сновала телушка. Корова была необычно взволнована, все вертела головой — то старалась смахнуть языком овода себе из-под пуза, то поглядывала назад на Малашу. «Му-у-у!» — призывала она все поселковое стадо. На ее голос тут же обычно отзывался Серафимин бык, а сейчас вот не отзывается. У пруда никого. И у балки, вправо от пруда, никого. Куда хоть все запропастились?

— Алешка-а! — доносится с пруда Малашин голос. Дмитрий откладывает книгу, сидит с минуту в задумчивости, разглядывает, как пчела споро бегаёт хоботком по цветущей решетке подсолнуха.

— Алеша-а-а! — опять отвлекает его от мыслей голос Малаши.

Голос Малаши ходит по буграм, по поселку, встряхивает

даже кур, присевших на нашест, затем пропадает. Дмитрий встречает Малашу вместе с Красавкой — телушкой у самого края оврага; она гонит животных обратно домой, на привязь. Корова приостанавливается, жадно хватая макушки ромашек, кипрея, луговых колокольцев, норовит вильнуть в сторону. Малаша ковыляет за ней, облегаясь на сухой грушевый сук, зовет тихо, ласково, со слезами в голосе:

— Красавка, Красавка, Красавка...

Телушка, играя, шарахается из стороны в сторону; подпрыгивая, задирает задние ноги, бьет ими воздух, забегает вперед, толкает Красавку мордочкой в шею.

— Давайте помогу,— говорит, чего-то смущаясь, Дмитрий и поворачивает корову назад.— Мы сейчас их отыщем, живо.

— Вот спасибо, дай Бог тебе здоровычка,— припадая на грушевый сук, причитает Малаша.— Горы золотые, невесту-красавицу, с женой душа в душеньку...

Слова несутся в спину, в них уже чудится неискренность какая-то, фальшь. Дмитрий не дает нехорошим чувствам развиться, отрывается от Малаши мыслью о том, что он здесь не как все, возьмет да и сделает, для нее пусть небольшое, но все же доброе, гуманное дело.

Спуститься вниз к тростнику, подняться на гребешок, а оттуда, как на ладони, Синцовка. Был и такой куток в Сиром Вражке — Синцовка, а теперь это пустошь, ложок, по дну которого едва слезится ручей. Тут же — цел покамест — холодает под раковой колодчик. Деревянный замшелый сруб вовсе утонул в травостое. Когда-то и он, Митя, бегал сюда со жбаном.

Отсюда, с бугра над Синцовским колодчиком, лучше и не глядеть — сердцу больно. Дмитрию еще в память, как густо после войны жили здесь люди. По степи были развезены выселки — всякие Ивановки, Панки, Николаевки; там теперь островами черемуха. За рвом разметаны грубые серые камни, говорят, такие растут из земли. На одном из них сидит кто-то в черном.

— Здравствуйте,— подходит Дмитрий ближе.

— Здравствуй, здравствуй, добрый человек,— в пояс кла-

няется старушка и показывает равнодушно-спокойно на следы старых могил: — Вот пришла своих проведать.

Посидели. Выяснили, кто из чьих будет. Старушка оказалась отсюда, синцовская, давно перебралась к дочери на Репнево.

— Жизнь пошла не такая, нет,— убирала она подвижные губы в свой мягкий беззубый рот.— И снегу-то стало вна-труску, поля не прикроет. Вот уж сезона четыре на машинах ездят всю зиму. А то на санях не проедешь, понасует сугробов-то... Да... А дворов-то тут, ты не знаешь, битьмя было набито. Крыша к крыше. Только в ворота меж ними проехать — в твои, мои. Сын к отцу лепился, внук к деду. А теперь... Лети куда хошь. И едут куда-то, и едут...

— Ну, а вы-то, вы сами? — остановил Дмитрий старушку.

— Да что я,— поднялась, засобиралась старушка.— Я как все.

— Алешка-а-а,— неслось издали.

Голос Малаши был не силен, зато резок, такие слышать за километры... Во-он на седых овсах ее синий платок. Красавка и телушка кинулись в хлебное поле, Малашин платок подвигается медленно... Вот у кого по молодости, должно быть, получались песни, частушки. Да были ль равные ей они в целой округе? Голос поднимается, тает, плывет над полями, могилами. Над настоящим и прошлым.

— Алешка-а-а!

Глухо. Не отвечает Алешка. Запропастился Алешка. Ушел куда-то со стадом, попробуй сыщи: кругом балки, поля, перелески и снова поля. Слишком просторно. Дмитрий увидел на стежке пачку «Примы», буквы карандашом. Наклонился.

«Оттого придумываю сходства

Я тебе с родного стороной,

Что душой врастаю каждый год свой

В край мой конопляный и ржаной».

Слушал, как шелестят, отзванивают, вызревая, овсы. Сердце его замирало. Как красиво где-то там и на Севере, и в Сибири, но только тут он может так искренне, так беззаветно любить землю. «Это Стенька гнал утречком стадо,

Алешкин сын Стенька, кому же еще?» И он смотрел, не мог насмотреться на балки, овсы, перелески, тут бродила недавно и бродит своя, родная душа.

А крики неслись, рвались ветром, бились в грудь ему, в спину. Как прос-торно здесь крикам и как же тесно. И вспомнилось ему, как в первое время они в отряде ходили за зону в кедрач, «шишковали» — плечом к плечу, вместе. Потом разбились по кучкам, по парочкам...

Подошел к Малаше. Стояли, не знали, где еще искать Терехова.

— Ума не приложу,— вздохнула она,— куда бы он мог запропасться? Все лога обшарили. В Отцовском был?.. А в Отлогом?..

Смирно ходили Красавка с телушкой. Солнце стояло еще высоко.

— И что с того, что через два-три двора у людей «Жигули»,— речь Малаши плавна, обдуманна,— да жизнь в чем? В «Жигулях» разве? Вон бабка твоя, Серафима, захлестнулась от жадности. А для чего? Свеклу с поля на «Жигуленке» таскать?.. Я тут всем, на кутке, не по пузу. Приютились в куточке и тащат: клевер, сено, дрова, зерно в уборочную. Все грозят, нажимают, боятся — докажу.

— А чего не уедешь? — шевельнулся Дмитрий.

— Не молоденькая мотаться. Да и от себя не уйдешь... Везде, Митя, можно жить и просторно, и тесно. Этот как оно жить... Все, милок, идет своим чередом. Возвышается Репнево, обмелел Сирий Вражек? Значит, так оно надо. Небось, наш районный Амченск постарше Москвы... Как жить, говоришь, сынок? — морщинки сбегают у Малаши к глазам.— А как, по-твоему? По-моему, день-деньской надо быть на ногах. Хочешь поесть хорошо—потопчись, выхлопочи курочку, коровенку. И на себя и на людей потрудишься.

— Жить только для коровенки? Сама говоришь, куда скатишься.

— Вот и думай, милок, какие не скатиться,— поднялась Малаша.— С коровенкой, милок, века русские люди жили, не скатывались.

Остаток дня Дмитрий стерег одну только Малашину корову с те-лушкой. Лишь к закату на Вельмежьем верху показалось белгородское стадо: Терехов гонял его, не подумать, куда, аж в Гринину балку. Прогон туда по топкому, глинистому оврагу неудобен: коровам недолго поломать ноги. Вот оно, стадо. Впереди — бык, все четыре ноги в желтых глиняных чулках до колен: глаз налит кровью, ищет, чего бы это вытворить? Завидев Красавку, подбирается бык к ней боком-боком, подает трубный рев. Но Терехов настороже, тут же охаживает быка ремненным, с подвесом, кнутом по ногам, по ногам. Бык сжимается — до чего труслив, просит пощады тонким, каким-то телячьим голосом.

За ужином бабка Серафима говорит, не обращаясь ни к кому, как бы в пустоту:

— Малаша-то работничка сыскала себе.

— Кого это? — живо интересуется дед.

— Да вон внучка нашего,— смотрит на Дмитрия бабка Серафима. Дмитрий еще ниже угнулся над кружкой с молоком.— Эх, внучек, внучек,— подсаживается бабка к нему.— Успела напеть тебе эта Малашка? Нашел светлое пятнышко. Да она, лиходейка,— бабка Серафима сделала страшные глаза, задышала Дмитрию в самое ухо,— деда-то своего на тот свет спровадила. Вьюшку нарочно закрыла...

— Да ладно тебе, не грехи,— поднялся дед из-за стола.

— Почем купила, не грехи! А ты тоже хорош. Другие исподники отпятил по щиколотки, ай гоняться за цацками?

Перед сном Дмитрий вышел за двор, сел на бревнышко. Посидеть, поварить в голове, что услышалось, увиделось за день. «Алешка-а-а!» — плыли по рыжим буграм одинокие крики и повторялись оврагами, балками, заглушались крапивой, полынью на жилых прежде местах. И глядя на звезду, простую и непростую, как яблоко, Дмитрий думал, как просто все и как все непросто даже здесь, в этих семи дворах Сирого Вражка. Вспомнилась Сибирь. Люди едут, хотят начать новую жизнь и все свое привозят с собой... Вон она, бабка Серафима, погасила окно. Завтра ей вставать по-крестьянски, чуть свет...

Дмитрий вглядывается в теплую июльскую ночь. Ско-

ро взойдет луна. «Алешка-а-а»,— висят на рыжих буграх одинокие крики и то вздымаются, поднимаясь до звезд, то утопают в выройках, где издавна брали белую глину синявенцы, и возили возами далеко по Задонью в обмен на соль, яблоки, жито. Жили люди, живут. Везде можно жить и просторно, и тесно, это как оно жить. «С утра наносить Малаше в бочку воды»,— решил Дмитрий и спал в эту ночь хорошо.

*с. Шамардино*

### ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА

Когда цветет черемуха, натекают откуда-то холода. С утра дух черемуховый но был так явственен, но вот воздух остекленел, отстоялся, проредился, и ту улетучившуюся гушину, которую ему придавало тепло, вдруг заместило диковато-горьким, ликующим запахом. Нынешней весной все припоздало: обычно к последнему звонку уже польхала сирень, а тут распустилась черемуха. Ребята из его десятого стоят стеночкой, неловкие, у всех на глазах, и первоклассники дарят им эту черемуховую канитель. И он рядом с ребятами, стоит — размышляет о том, как жизнь в сущности повторима, ровна, одинакова, замкнулась у него между тем же последним звонком, институтом и годом работы в этой вот школе. И у него была та же черемуха, те же слова, даже стихи перед всеми на последнем уроке — о высоком признании, долге... Тронув привычным движением пальцев очки, он неспешно идет держать ответную речь как классная «дама» десятого.

Ребятчья взволнованность передается и ему: ведь последний звонок, и он его тут впервые, тот оселок, о который он пытался испробовать все: и толстовские идеи об обучении по желанию, по свободно подобранному материалу, и макаренковское, и сухомлинское. Повозился же. Ираида Васильевна, пребывавшая в педагогах уже пятый год и каждой осенью возрождавшаяся надеждой наконец выйти замуж, встречала его в коридоре, опуская скромно глаза, уязвляла вопросом: правда, мол, что в десятом пляшут у него на сто-

ле? Нет, в десятом уже на столе не пляшут — возраст не тот, вероятно. Да и можно сколько хочешь плясать вечерами, когда всем классом они собираются в комнате, именуемой «залой», где стоит старенькое пианино и где он играет им вальсы Штрауса, Шуберта и Шопена.

Они вносят с собой в класс охапки черемухи, и белым светом заполняются парты, учительский стол, подоконники. Назначенная на сегодня консультация явно не клеится. Вопросы подбрасывает только Златка Меняйло — палочка-выручалочка, староста, цыганка, у которой от жгучести пробиваются легкие усики и от сдержанной страсти косит левый глаз. «Когда это она успела так заневеститься?» — словно впервые видит ее Андрей Александрович. Обращается на скрип. Под всеобщий гул, вся сгорев, от двери идет Анна Дубровская, Аннушка. Легкая, праздничная в своем светлом шелковом платье, русоволосая, словно ромашка.

— Вы, товарищ Дубровская, — следит он за ней, пока она не присаживается рядом с Меняйло, — вы заставили класс в последние дни изрядно поволноваться. Отчего-то пропал человек, ни слуху ни духу. А тут вот-вот экзамены. Хотели к вам в Вязовое уж идти с делегацией...

Аннушка склоняет голову к парте, только ярче пунцуют мочки ушей.

— А знаете... что... Андрей Александрович, — вскакивает неугомонная Златка. — У нас тут сегодня идея... в самом деле, отправиться в Вязовое делегацией, вернее, всем классом... В Москве после бала выпускники идут, например, на Красную площадь. А у нас свой обычай: встречать черемуховы холода в Вязовской роще. Там прощаются... Идемте и вы с нами, а?

— Идемте... такое ведется у нас... обычай... — вскакивают, хлопая крышками парт, десятиклассники.

— Как так? — теряется вдруг учитель. — Прямо так вот сразу?

— Не нами начато, не нами и кончится, Андрей Александрович, — с вызовом говорит Златка и, сильно кося, смело заглядывает ему прямо в глаза.

Солнце, подавшись за крышу Дома культуры, наконец отделяется от нее и начинает стремительно падать на горизонт. С Гремучих ключей тянет до одурения черемухой, воздух колеблется всякими звуками: перестуком ведерок, мычаньем телят, грудным женским смехом — смеется с кем-то басистым вдовая тетка Анфиса. В речном затоне турлычат лягушки.

Златка оборачивается к Андрею Александровичу и, кося глазом, кричит частушку резко и озорно:

Кавалер, а кавалер,  
Покажи-ка нам пример.  
Не покажешь нам пример —  
Ну какой ты кавалер.

— Ты, Златка, серьезно цыганка? — останавливает ее Андрей Алек-сандрович.

— Н-ну! — играет Златка плечами.— У меня мамка из табора. Задержалась тут во время войны, вышла после замуж за папку... Вон за ее дядю двоюродного, — кивает она па Аннушку. — Аннушка! — окликает подругу Златка и, взяв ее за руку, приближается к Андрею Александровичу. — Вот она вот про папку моего вам тут расскажет, а я пошла к Петечке своему. Он меня, ой, как любит.

Между тем совсем уж стемнело, на небе выступили крупные звезды. Ребячьи фонарики высвечивают на обочинах бледно-молочные былки то лозняка, то крапивы, за ними — черные глубины полей. Свежо. Аннушка дрожит всем своим легким телом, мелкой несдержанной дрожью. «Вон оно, какво им в платьишках,— думается ему.— Как знобит, колотит всего в черемуховые холода».

— Аннушка,— говорит он, слушая собственный голос.— Ты чего это, милая, в школу уже как неделя не ходишь?

Он слышит, как она перестает трепетать, обмирает.

— А я школу бросила,— наконец, выдыхает Аннушка.

— Ребята! — кричит впереди Златка. — У кого есть спички? Будем жечь костер...

Быстро собирают валежник, посвечивая фонариками, ломают сушняк. Затравливается костерчик. Стараниями Златки он растет, набирается жара, окаляет лица, одежду. Ребята

сидят вокруг костра без движений, без звуков, чуя в буйстве рваных огненных косм первозданность, проявление дикой природы, а в себе пробуждение радости от владения огнем, от того, что они все умеют, все могут, что и здесь вот и дальше, дальше, в полях, где работает техника, вес подвластно им тоже, дай они лишь начнут. Он смотрит на них и завидует, что им еще предстоит начинать, впереди какая-то тайна, а он ее прожил, прошел ее, не заметив, и теперь вот смотрит на пышущий жар, на перебегающие по нему газовые язычки — колыханье его синей птицы и жалеет о том, что напрасно так быстро исчезает огонь, пропадает бесследно, что в него можно закатить картошку. С парком и с сыринкой получится, с прожаренной корочкой...

Поблизости забрехали собаки — в Вязовом. Возвратилась Аннушка, принесла из дому ведро картошки.

— Молодец! — похвалил ее Андрей Александрович. — Догадалась. А то мы тут проголодались, как кукушкины дети.

— Видите, какая у нас картошка, — обрадовалась Аннушка. — Крупная, крахмальная. На черноземе росла...

Губы вскоре у всех зачернелись. Златка первой подвела себе горелой картошкой и брови, и уголки глаз. «Да тебе-то зачем, смоляной», — подшучивали девчата и, уже хохоча, наводили себе красоту. Смеялись выдумке парни, смеялся и Андрей Александрович, засмотревшись на Аннушку. На лице ее лежал красный костровый отсвет, оттого и веснушки исчезли, глаза потемнели, углубились, стали крупнее, таинственнее, уходя наведенными линиями за виски, в темную кротость ночи.

— Айда рвать черемуху, — сорвалась неугомонная Златка, и все ринулись в ближайшие заросли. Потом девчата плели венки, где-то в глубине закуковала кукушка.

— Здравсте-пожалуйста, проснулись, ваше сиятельство? — звонко, на всю рощу, крикнула Златка.

— Ты, кукушечка, скажи: сколько лет еще мне жить, как любовь при-ворожить, что на воду положить... — шепчет Аннушка, чуть подавшись на птичий голос, и все смелее, откровеннее взглядывает на него. И он не отводит глаз, слушает, притихшая дыхание, и чувствует спиной, как с низин

натекают волглые токи, и от них начинает бить руки и плечи — черемуховые холода.

Луна поднимается. Быстро движется и бледнеет. В лозняке пологой светится речка, меж стволов протягиваются голубовато-серые столбы. Радостно, жутко и сказочно.

— Айда пускать венки, — подмигивает Златка девочатам, и вот они уже трещат валежником вверх по реке. Парни важно дымят «Беломором», вслушиваясь в плеск воды па перекате, и гул машин на дороге, и шорох листвы. Ожидают. Вскоре валежник снова трещит под ногами. Запыхавшись, подбегают девочки, подсаживаются к костру.

— А ну, давай русского! — хмелея, требует Златка и, откинув голову, встает перед «своим Петечкой» — Петром Березанцевым, вызывает его в круг частушкой. Парни вскакивают, дремота мигом слетает. Ведут губы мелодию, звенят дружным звоном ладони, озорует разбойничий посвист. Находится балалайка-трехструнка. От костра по деревьям мечутся тени. Сыпят дробью девчонки, вызывают в круг своих суженых, и летит из-под ног трын-трава, изливается из души сокровенное.

Стоит Аннушка, смотрит на Златку.

— Ну-ну, — толкает она Аннушку. — Ну что же! А то я сама... сама вызову...

И вдруг, перекрывая все, у реки раздается радостный вопль:

— Венки проплывают!

И все бросаются к речке. На броду ловят венки, гомонят, толкаются, ахают: тот ли? Лишь один веноч, покачиваясь, удаляется по лунной дорожке. Плачет Аннушка.

— Эх ты! — Златка хватает за рукав Андрея Александровича, увлекает его за собой. Улыбаясь, он делает шаг вперед и вдруг падает в рытвину, окунается с головой. «Ах, дьявольщина!» — всплывает он и отплеывается, горячитя и, как есть в пиджаке, саженьками бросается догонять пропадающий за поворотом веноч.

— Ну вот, — говорит он, наконец, выбравшись на берег, — что мне с ним изволите делать?

Все притихло. Только и звуков, что шлепают тяжелые

капли с пол его пиджака, да у слабеющего костерка шепчутся тени.

Аннушка ждет, подняв худенькие, острые плечи. Он нащупывает в ветке несколько кувшинок-«кукушек» и вспоминает недавнее кукованье птицы и Аннушкин шепот и, улыбнувшись, надевает веночек Аннушке на голову. Она вдруг касается его рук щекой, потом губами.

— А ведь я очки потерял, — глухо говорит он и отворачивается. Они лазят по берегу, по траве, заходят и в воду. Лунного света им не хватает, и он начинает жечь спички, желтое пламя высвечивает лицо его — непривычное, жалкое, с усталыми мальчишескими глазами. Поиски откладываются до восхода солнца, а пока она берет его за руку и ведет, покорного, рошей, лунными голубыми столбами. Он чувствует на себе ее взгляд, странный взгляд. Так бывало и на уроках...

— Что же ты сейчас делаешь, Аннушка? — спрашивает он, слушая сам себя.

— Я... люблю, — говорит она просто.

Голубые столбы опадают, принимается сеянец-дождь. Они приникают к толстому шершавому низу и ждут. Под шепоты листьев ему вспоминается все вокруг тоже белое, но не черемуховое, а снеговое, январское. Вот он бежит целиной, без лыжни, на Кривцовскую ферму к дояркам, на политкружок. А Елены Дубровской, сестры Аннушки, на занятиях нет. И он волнуется, в пургу полями решает идти в Вязовое на огоньки... Он приходит в себя в чьей-то комнате, в чьей-то постели. Болит тело, обморожены уши и щеки. А за перегородкой, в передней, воркует Елена, счастливо вторит ей смехом мужчина. И Аннушка, сидя напротив, смотрит на него поверх книги долго и странно...

— Ну, и что же Елена? — спрашивает он Аннушку.

— Елена? — вздрагивает она и молчит. — А Елена красивая, да?

— Да.

— А Елена уехала... в город.

— Как-как уехала?

— А так. Вот уж неделю как замужем. За инженером. А я

на ее месте на ферме... Мы ждем, а вы все не приходите. В понедельник вот не были.

— А как же со школой? У тебя остались только экзамены... Ты хорошо училась, тебе надо дальше...

Аннушка поднимает голову, смотрит ему прямо в глаза.

— Вы думаете, и все — маленькая, да, маленькая? — вспыхивает она, и голос ее готов сорваться. — А я хочу, как Елена. Своими руками, своими трудами... А ваши экзамены после. Мне работать надо, у нас детей много, а отец — пьяница. А вам, Андрей Алексанч, за все, за все большое спасибо. Вы глаза мне открыли, я теперь хоть добро в людях видеть стала, на белый свет вашими глазами смотрю...

Он стоял задохнувшись. «Боже, за что все это, за что? Ведь не достоин, не такой, не такой... Нет, нет! Да, а может, это любовь? Великое, редкое, безумно редкое счастье. Вот ты прожил двадцать три, и что же? В очках, незаметный, в затертом костюмчике. Все пять лет за книжкой. И головы не поднимешь, бывало, на танцах... А тут ты — учитель, прямо какой-то герой...»

Темнота ослабляется, воздух сереет, листья отливают стальным. И вяз начинает двигать, шевелить тонкими ветками. Рождается ветер.

— В кабинете физики место лаборанта освобождается,— говорит он.— Пойдешь?

— Мне на ферме нравится, хочу зоотехником...

Очки оказываются в воде, возле самого берега. Он водружает их на переносицу и в пришедшем рассвете видит Аннушку в прозрачном от сырости платье, натянутом на плечах, видит сразу весь до шершавинки вяз.

— Эге-гей! — кричит на всю рощу Златка и, ловко подтягивается на суке вяза. — Люди добрые-е-е-е! — Эхо летит по деревьям, по речке. — Вижу: тучки уже разбежались, и восходит солнце-е!

А лучи уже розовят ей лицо, и костер снова весел, просторен, так приятны возле костра черемуховые холода. Все сидят вокруг побледневшие за ночь и строгие. Все такие знакомые, близкие. Что-то сжимает горло Андрею Александровичу и мешает дышать.

— Друзья мои, — делает он шаг вперед, чувствуя, как что-то накатывает на него и куда-то несет. — Вы вступаете, да, вступаете в жизнь! Здорово это, а? Когда все впереди... Все — впереди... В трудную минуту не забывайте друг друга.

Когда со смехом и песнями они проходили мимо Аннушкиной фермы, в дверях показался заспанный сторож.

— Уж и... и... на дойку? — удивился он Аннушке. — А чего расфрантилась?

— На экскурсию, — засмеялся учитель.

Аннушка вышла с подойником и в халате.

— Приходи на экзамены, Аннушка, — сказал он ей, и все зашумели, закричали: — Приходи!

Не помня себя, Андрей Александрович прошел заросшим садом, влез в горенку через окно. И, спустя миг, в постель к нему ворвалась, все густея, густея, черемуховая пурга. Завертело-завьюжило синюю птицу в костре, мокрое Аннушкино плечо. Он приподнялся на локоть, прислушался к стуку в себе, и ему страстно захотелось любви.

*с. Алябьево.*

## СКОРО ОСЕНЬ

Скоро осень, за окнами август, щемящая тоска, давнишняя мелодия... Мелькнула и не ушла. Пятое августа — День освобождения Орла и первый салют. Это — когда поспевают яблоки. Сам Антон и яблоки антоновские исключительных, духовитейших свойств. И много-много всего-всего.

— Тебе бы не на этажах, а на земле жить, — сказала Шуферу жена его Рита при всех мужиках, забывающих во дворе с утра до ночи в «козла».

— В садах плодоносящих, — под нос себе поддакнул чернявый такой, шепелявый Костя Безлепкин.

— А что — Антон разве тоже еврей?.. Рыба, га-га-га! — гаркнул его соперник Витковский Гена — наглый, крупноголовый мужик — бывший какой-то начальник.

— Антон, но фамилия-то какая — Шуфер!

— На фамилии, дураки, обращать внимание стали, —

проходя мимо, встряла соседка Шуфера — дверь в коридоре напротив, многолетняя женщина Анциферова.

— Да какой же он еврей? — сделал удачный, забойный ход Безлепкин. — Был бы еврей, давно бы на свою историческую смотался. Что ему с нами тут, с дураками, мучиться? Шекелями бы пенсию там огребал.

— Один поехал — профессор, зав. кафедрой, — двинул костяшкой Жорик, любимец двора. — А там стал асфальт мести и вскорости умер.

— Кто умер?

— Ну, профессор, еврей. А Антон — наш человек, фронтовик. Медали не носит из принципа...

— Садись-ка вместо меня, Антон.

— Я же в «козла» не играю, — угубается чего-то Антон, делаясь вовсе маленьким каким-то, тшедушным, и отходит в сторонку.

Садится на лавочку возле сирени, так и сидит тихо, мышкой, без всяких слов. А песня ушла и не возвращается, зато мыслей — бурный поток. А Родина — она что, разве всегда историческая?.. Худое, аскетически желтое лицо Антона тщательно выбрито. А простой хлопчатобумажный пиджачок висит на нем, «как на распялке». Всю свою жизнь составлял он каталоги, расписывал книги по документам — манускрипты чьи-то, высверк таланта. Сразу же после войны их, безруких-безногих инвалидов, было хоть пруд пруди. И валялись они под заборами, торговали камешками для зажигалок да иголками, привезенными в качестве трофея из Германии. Колотили костылями в глухие двери присутственных мест, а кто слышал их? И тогда так же...

Вот и сейчас живет он в своей каморке, в дощатом бараче этом, совершенно бездетный, с женой вдвоем, как сразу же после войны. И так и далее будет жить, пока не вынесут вперед ногами куда-нибудь за Лужки... Воинское кладбище — для тех, у кого погоны с двумя просветами и чиновная биография. А мы — люди маленькие, нам как и всем. Хотя лично он освобождал Орел, и его лично могут захоронить и на воинском кладбище.

По радио слышим, на фронтовиков стали внимание об-

ращать, и их вроде после такого внимания — после всяких праздников, банкетов и акций — буквально на руках носят. Жена Рита ему так объясняет: «Эти акции, — говорит она, — для сплочения нации. Тема военная, только она и осталась, что сплачивает, — остальные разъединяют. Ты, — говорит, — как гвоздь теперь на стене, на который начальство фуражки вешает». Фуражки вешают, а жилья подходящего не дают, хотя даже один знакомый журналист писал о нем в газету и мэру города. Есть такая улица у нас в городе — имени Пятого августа. Вот на ней бы ему, ветерану-освободителю, и жить бы...

Мысли Антона, так сказать, поток сознания перебивает шуршание машины. «Иномарка» подкатила к соседнему многоэтажному дому. И выходит из нее — кто бы вы думали, большой разброс мыслей, — вылитый Тихон Гастев. Антон прямо опешил, вроде даже как офонарел: ведь Тихон давно уж описан и помер вроде. А это, реанимированный, должно быть, сын его или внук уже, про этого можно. Помоложе — стало быть, внук... Значит, приехал к предкам...

И мысли Антона приобретают другое течение. Вспоминается, негодяйство какое, этот Тихон Гастев во всех его совместных с ним отражениях. Бывало, как подходить Дню Победы, — так и накатывает на них обоих тоска. Тогда Тихон Гастев чистит асидолом свои медали, берет чекушку и выходит прогонять тоску на люди — чего мучиться? А вот Антону с его характером не повезло: тоска-то тоской, да еще сильнее тянет его в одиночество. И забивается он тогда куда-нибудь, с глаз долой, в уголок, и представляет, и воображает все это: осколки свистящие, приказы товарища Сталина и блиндажи... И еще какие-то рожи собачьи, должно быть, овчарки немецкие... шуршат бумажками, его документацией — ищут что-нибудь этакое... компро... компро... мат...

— А чего ж ты, дядя Антон, медали-то не носишь? — говорит ему соседка Шуручка, двери напротив — тогда еще молодая.

— Да так как-то, — ленится отвечать Антон и сути не разъясняет.

И за пайком вчера не пошел в магазин «Ветеран» — как-то стыдно. Стыдоба какая-то не сходит с него после того случая семилетней давности в набитом сельском автобусе. На переднем сиденье сидел, и на остановке втиснулась женщина ветеранова возраста. И долго-долго стояла она, а потом ветеран ее, видно, толкнул и не извинился. И тогда она ему и говорит:

— Вот сидишь, а я стою — женщина. Да с больными ногами.

— А я — ветеран, — отвечает тот. — Мне положено.

— Тебе положено, — горько вздохнула женщина. — Небось, уж и детей своих, и внуков бесплатными автомобилями, коврами снабдил. А у меня отец погиб в войну, сгнили бедного косточки, так мне, дочке его, всю жизнь ничегошеньки не положено... косточки только вот белые да слезоньки горькие...

Воспоминание об этом так сильно действует на Антона, что в голове его что-то опять перебалтывается, в груди возникает давление, а в мозгах сверканье, звоны, переходящие в овацию где-то на заседании, куда его один раз приглашали и откуда плывет сейчас все та же мелодия с соседней улицы:

Скорю осень. За окнами август...

И это август его уже семидесятый. Бог мой, как давно все это было! Сколько же он живет на этой земле! Созревает антоновка, и он слышит, как налитым неукротимым запахом яблок несет к нему вместе с запахом пролитой крови от этих безмерных бунинских, фетовских, тургеневских бессловесных полей...

— Товарищ Шуфер, — окликает его почтальонка. — Вам пенсия.

— По графику — вздрагивает Антон, — завтра же.

— Вам сегодня положено, — улыбается почтальонка. — Начальство о ветеранах побеспокоилось.

Антон расписывается в документации, а сам думает (но опять не про это): «Ну что толку им от него? Ни вида у него, ни на форумах он не выступает. Зачем его выделять-то, пользы ведь никакой». И тут мысль опять перегибается

и опять не в ту сторону: «А ведь Шурочка многодетная, с полгода детские не получает. И пенсию матери ее в тот месяц не принесли». Антон долго-долго смотрит в окно, аккуратно делит пенсию на две половинки и, пригорбавшись как-то, не оглядываясь на жену свою Риту, направляется к двери напротив.

«Скоро осень. За окнами август, — наплывает мелодия. — От дождя потемнели кусты. И я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты»...

Ах, какой пепел, какой пепел Клааса еще стучит в его еще по-молодому чистое сердце!

*г. Орёл*

### ЛИПА ВЕКОВАЯ

По проселку, облитому сентябрьским серебреющим солнцем, часто останавливаясь и отдыхая, движется тощий и длинный старик. Ему помогает идти крючковатая палка — давняя спутница его путешествий. Вдаль старик видит явственно, зорко, вблизи дорога ему неожиданна и беспокойна. «Все ямки с тобой пособираем, — беседует он со своей палкой, словно с живым существом. — Каждая нашей будет». Тыкаясь в придорожье, в еще не просохшую канаву, в бурьян и кустарник, палка тянет его все вперед, к горизонту, где на взлобке, подрагивая, разлилось по проселку водянистое марево. Старик несет тело бережно, голову держит ровно и прямо; скашивая вбок глаза, жадно ловит широкими ноздрями густой, терпкий воздух с садов и полей.

Красотища какая! Зелено, живо все еще — все дожди да дожди. На что полынь, а и та молодится. Хотя в это время ее, бывало, уже собирали да пихали под постели. От блох. А теперь чище жить стали, стоит — не нужна...

Вот из этих мест, лет с полсотни тому, подперев калитку плетневую коромыслом, зашагал он, молодой да здоровый, в город. На деньги. Вон тех белых шиферных крыш тогда не было. И поселка того вон, и сада. И поля теперь гонами в два километра. Жили люди тут, пока ты раскатывал. Не сказать, чтоб боялся работы, — работал. Только чуть что,

бывало, мастерок иль топор на плечо и айда в другие места, прощевайте. Помотался от Турксиба до Воркуты. Ни с семьею, ни с домом так и не получилось, потому-то и звал сам себя, где бы ни появлялся, Перекати-Колей. Звал невесело, с горькой усмешкой.

Не имелось у него страстей-привязанностей, кроме как одного: был любитель он книжек и читал их запойно, что попадая; в торбе его, которую звал Перекати-Коля «книжной лавкой», перебивалась всякая всячина: по истории древнего мира, по учению Канта или про африканских термитов... Пробовал даже сам пописывать — с коих пор в торбе три толстенных тетради. А в последнее время его волновали стихи. Знакомый паренек Ленька Синяев, журналист, подарил ему «Песню о Гайавате». Интересная штука. Перевел ее с английского русский писатель Иван Алексеевич Бунин, когда в Орле жил и работал в газете. Бережет старик Ленькин подарок, завернул даже в целлофан. Увидел как-то на областной карте деревню с названием Бунино, удивился, собрался даже наведать ее, а пришлось тащиться сюда вот, к родимому корню, к своей изначальной земле. Остарел, заплосал Перекати-Коля в какой-нибудь год, по утрам уже не в подым, и воды — захворай — подать некому. Да куда, не в артельный же дом как безродственному, к старикам. Вот и шел теперь ближе к погосту, где лежат отец-матерь...

— Какая деревня? — спросил он рисовальщика-паренька возле пруда, чтобы как-то заговорить с ним, отпустить свою душу.

— А Полозово.

Постоял, посмотрел ему через плечо. Ловко орудует краской, возникают на бумаге дома под железом и шифером, и спросил, удивясь робости в голосе:

— На заказ, что ли?

— Нет, — сказал паренек и обернулся. Оглядел старика: — Учусь в Москве на художника... А деревня, дед, сия историческая. С нее писал Шварц — слышал, был такой в прошлом веке? Между прочим, — сыпал парнишка, — жил он тут рядом, в Белом Колодезе, в тридцать один год ходил в академиках, родоначальник русской исторической живописи. Известна его еще дорепинская картина «Иван Гроз-

ный у тела убитого им сына»... Так вот с нее, с этой Полозовой, и написал академик пейзаж к своей картине «Вешний поезд». Сирые хаты, к весне голые слегги... А писалось им с этой же точки.

- Скажите, — вздохнул старик, потоптался на месте, оглядел еще раз деревню и опять зашагал, застучал по проселку своей крючковатую палкой.

- А мы-то с тобой, дураки, и не знали, — бранил он ее так, для порядка, беззлобно. — Исторический живописец!.. Ты-то, конечно, магнитогорская, а я, гляди, тутошний, мужлановский я...

В это самое время навстречу старику по дорожке из Белого Колодезя двигались двое — садовод Семен Семеныч Чубаров и его внук Алешка. Их автобус полуденным рейсом в село почему-то не прибыл, и они шли на большак, чтобы сесть на какой-нибудь проходящий. Солнце висело по-над ракетами, оттого на проезжей тенистой плотине было зеленовато и зыбко. Недлинная улица с давними каменными постройками-мезонинами в узорную кладку, с орнаментом, наполнилась нынешней жизнью: всезнающими ребятишками, тюлем на окнах, ящиками из-под вермута у магазина, обязательствами у отделенческой конторы...

Был самый сезон сбора яблок: бело-колодезский воздух бродил, словно сок отборной антоновки. И Чубаров вдыхал его, тяжелея, хмелея. Иногда блики ложились ему на растянутую у шеи ковбойку, на торчащий из-под нее треугольник тельняшки, как юпитером, выхватывали на переносице родинку, выделяли смуглость и пористость кожи. И странным было сочетание серебристых висков с темными, буйными по-молодому бровями, и тело его было плотно, но сухо, подобрано — такие, говорят, легки на ногу. Он шел, слегка подаваясь к земле, словно тянули его большие, чугунные руки, и думы его были невеселы. Он представлял, как пройдет и этот сезон — его последний сезон. Полетят белые мухи, и некуда будет спешить утрами, некуда будет деть эти ставшие враз ненужными руки. Не прибавится дел ни весной, ни осенью. И он станет приходить сюда просто так, на прогулку.

Не ведал Алешка, что творилось в душе его деда.

Был паренек блондинист и круглолик, с чуть грустнеющим взглядом; губы сочны и крупны — верная примета доброты и покладистости человека, смеялись люди — ими хоть валенки подшивай. Шли Чубаровы каждый за своим делом: Семен Семеныч — в райсобес, насчет пенсии, Алешка ехал в город впервые — устраиваться.

Но вот и Мужлановский сверток. Стоит огромная липа, стоит распушается. Лет сто ей, а может, и двести. Кора ее обтрескана, обмыта, обтрепана ливнями и ветрами. Любит вверх-вниз по ней пробежаться всякое муравье, особо когда под напором сока лопнет где-либо сладкая кожа; тогда бегут на оказию взводы и батальоны — напрямик через ямы, шершавины...

Когда Чубаров с Алешкой подошли к липе, старик уже сидел под ней, задумчиво трогал своей крючковатой палкой муравьиную кучку. На развернутом вершке лежал кусок сахара. Старик наблюдал, как суетится вокруг него мелкая живность.

— Когда это они все зачинят? — присаживаясь на обочину, интересуется Семен Семеныч.

— А соберут совещание, составят смету, согласуют с начальством, — посмеивается глазами старик и вздыхает: — Гляди, бьются. И у них это так: кто кого смог, тот того с ног.

— Ишь ты, — косится на него Семен Семеныч, — сам-то, должно, натерпелся, вот и... Как зовут-то тебя?

— Перекати-Коля.

— Так и зовут?.. Мудреный ты дед, — сладко вытягивает Чубаров ноги. — А ну, Алешка, чего там у нас?

Алешка долго роется в сумке, наконец извлекает лепешки — свойские, пресные, в рубчик, потом появляются малосольные огурцы. Добрый хлебный дух перемешивается со сладковато-укропным, возбуждает слюну, рождает желание повернуть ее языком.

— Эх-хе-хе, — отворачивается Перекати-Коля. — А мне вот не естся-не пьется, никак не умрется. А что, яблоч нет-ти у вас?

— Да ты, дед, еще справный, — улыбаясь, запускает Алешка свои крепкие зубы в лепешку. — Еще поживешь, потянешь. А что это в торбе?

- Деньки потянутся — ноги протянутся. С год назад внутренность тверже была, а теперь все дрожит... А в торбе-то книжка. Во! «Песня о Гайавате». Слыхал? «Дай коры мне, о береза! Дай мне, ель, смолы тягучей, дай смолы своей и соку...» А что, яблочка нетти?

— Эх, жисть, — жуя, вздыхает Чубаров и косит в сторону, откуда должен показаться автобус. — Молодой боится, что постареет, а старый — околеет.

Перекасти-Коля прячет книгу обратно. Сидит молча, глядя прямо перед собой.

— Везу вот Алешку и свои документы, возвращусь обыденкой... На, жевни, — подает старику Семен Семеныч лепешку. — Отрываю внука от титьки. Нехай там учится справлять телевизоры.

— Эка куда, — оживает Перекасти-Коля.

— Десятилетку закончил Алешка. Хочу, чтоб стал человеком. Вернется внук мой в деревню, наденет сверкальные очки, сядет в пузово личной машины, ха-ха...

— А как же, — в ответ посмеивается Алешка. — Сейчас материальная заинтересованность... Только я тебе уже сказал! — твердеет голос Алешкин. — Пойду на художника. Кистью пойду свое брать.

— Ишь ты, Александр Македонский, — удивляется Перекасти-Коля. — Кистью города завоевывать! А скажи мне, чем знаменито здешнее Полозово? Молчишь? То-то... И я когда-то тоже был во! Усы аж за ухо закидывал. А теперь, гляди, на губе три хворостинки и спину колом поставило.

— Все гнулся, небось, — буркнул Алешка под нос себе, но Перекасти-Коля услышал.

— Молодой человек! — старик, когда начинал закипать, всегда гово-рил неспешно, отделяя каждое слово. — Ты, скажу тебе, еще что картошка июльская: молода рубашката, р-раз и нетти. Губа толста, душа проста... Надо гнуться, не то любого поломает. Жизнь всякого производит восклицательным знаком! А получит человек в зубы — глядишь, загибается, ходит уже вопросительным. Так-то легче. А восклицательных, как гвоздей, возьмь по самую шляпку...

— Каждого не загонишь, — тряхнул головою Алешка. — Новые народятся... Стране нужны не загибшие, а здоровые,

сильные!

Муравьи уже заделали вершок и по стариковой палке, прислоненной другим концом к липе, потекли жидкой струйкой к стволу, поползли в шелестящую высь. Призатихли путники, наблюдая за муравьиною братией, упорно лезущей к солнцу и листьям, туда, где крупнела широкая купа. Иногда полевой ветровкой, налетая, задирает ее — сверху донизу начинали ходить полосатые волны, солнце вникало в матерые теми, где и лучилось в бисеринках еще непросохших утренних рос. Перебивая суету воробьиной компании, ссорящейся на самой макушке, шелестит, шумит липа, ходит волнами над головой — липа, липушка вековая. Лето — осень, осень — лето пройдут, но все будет здесь, на скрещенье дорог, как и сейчас: муравьи струиться, шептаться над путником купа, но то будут иные люди и времена...

— Интересно узнать, чем все это кончится, — нарушил молчание Перекати-Коля. — Жилось и не думалось, а пришел час, жалко, что и ног на койку скоро не заведу... До погоста доберусь вот и лягу с отцом-матерью рядом. И с бугра все видать будет, и буду с полями я говорить-разговаривать, коли в жизни не наговорился, и ветра принесут дух мне полынный, ромашковый... Хорошо, Алешка, по белу свету побродить-поглазеть. Завоевывай город, а от земли своей ни-ни-ни. Да не шибко бери, а то мигом схрястают, скусят головушку.

— Сирота он у меня, — сказал Чубаров раздумчиво, — боюсь, даже горяч. Весь какой-то зачитанный. Ищет смысл по книжкам, стало быть, правду жизни.

- Что ты знаешь! — вспыхнул Алешка. — Сам зарылся в сады, а меня в телемастера!.. Техника будет выращивать сады, убирать урожаи, а людям — заниматься искусством, совершенствовать жизнь.

— На язык ты востер, — говорил с грустью Чубаров. — А вот когда дело — в кусты. Цельную зиму проучился на механизатора, а как лето — не на трактор, а в город. Художником ему! Не хочешь на этого... телемастера — сам тянись, на копейках. Скотину и ту держат впроголодь, чтобы на зов хозяина шла.

— В бригадиры б тебя, Семен Семенович, — не унимался Алешка. — А то управляющим...

— Порядок нужен, куда без него? Чего взмыкался: то тебе не так, это не так...

Перекасти-Коля сидел затихший и строгий. Затем, словно вспомнив что-то, снял затертую шапку, достал из подкладки иголку с ниткой, принялся зашивать дыру на колене. Смахнул муху со лба:

— Мухи, гляжу, пошли дюже злые. Осень же. Не так кусаются, как щелокотно, полозуют — вроде как ногтями тебя.

— Куснет, брат, и до крови, — отозвался равнодушно Чубаров и, задумавшись, долго глядел на дорогу, сады, темневшие на горизонте.

— Да, кровь, брат ты мой, кого только не тянет... — живо подхватил Перекасти-Коля. — Помнится, жил я на Днепрострое, так повадился заяц к хозяйке в сад, глодать саженцы. А я возьми да намажь их бычиной кровью. Нашлось вороны, добела склевало кору...

Так сидели они, рассуждали. Речь то вспыхивала, то затухала. А липа прислушивалась да шевелилась каждым листом, каждую веткой — липа давняя, вековая.

Не дождавшись автобуса, Чубаров с внуком засобирались домой, по-звали с собой и Перекасти-Колю («а что, не проживешь нас, не объешь»). Но тот отказался, остался под липой, начал устраиваться на ночлег. И пошли они, дед с внуком, заторопились, чтоб дойти домой засветло, побрели по дороге на Белый Колодезь. Проходили поселком Кубанью, деревенькой Шишкино, мимо нового клуба. Поспешали липовым парком. Аллеи подводили к церквушке — крепенькой, из красного кирпича, со снесенным куполом, отчего она казалась незавершенной.

Замечательны вокруг были сады, новый цех-красавец по изготовлению соков. Шел Чубаров, отдыхая душой, радуясь, что идет с Алешкой снова садами. Редки были яблони здесь тогда, в сорок третьем. Полтора года стояла передовая, полтора года убивала сады. Здесь Чубаров высадил первый свой саженец, денно и ночью трудился. Были по-

четные грамоты, ордена. И вот уберет урожай да на пенсию. Это его последняя осень в садах. Сады — вот что оставляет он людям. Разве этого мало — сады?..

Подобралась и ночь. Луна еще не взошла, оттого в парке было глуховато и жутко. Ноги то уходили в пустоту, то спотыкались. При свете звезд увиделась кладка из светившихся слежек-берез. На бугре возник чубаровский дом-пятистенник. А позади, в парке, липы все так же стояли стеной; на одной из них репродуктор сочным, глубоким голосом, с затаенной страстью пел арию Далилы. Голос все закипал, закипал, взлетал ввысь, проходил над деревьями, утекал далеко-далеко, на Мужлановский сверток, к одинокой липе на перекрестке, по стволу от макушки спускался вниз к комелю, где приткнулся Перекати-Коля. Он лежал на бушлате, уперев голову в торбу — свою «книжную лавку», и, еще не остыв, продолжал вспоминать спор Чубарова с внуком Алешкой.

«Город тебя пережует да и выплюнет», — горячился Семен Семеныч. — «А я костистый, кремнистый», — огрызался Алешка.

Старик лежал, заложив обе руки под затылок, и глядел вверх, и чуял сквозь липу немигающий свет Полярной звезды, и губы в такт шелестению листьев шептали:

- ...Пел мне песнь о Гайавате... Чтоб народ его был счастлив, Чтоб он шел к добру и правде...

И представлялось ему, что он, Николай Димитрич, в родимой Мужлановке, на бригадном дворе, пришел сюда с утречка, пока механизаторы еще не отправились в поле. Он читает односельчанам, и люди слушают, внемлют ему, как пророку. А облака все текут и текут, восходя от земли, проникая сквозь нее, как сквозь эту вот липу — липу давнюю, вековую. Были когда-то вон какие писатели — не стало, не станет и его, старика, и тело его исчезнет, сольется с землей, но влага душевная, перейдя вот в такие облака, будет плыть над людьми, над полями, над временем, пока не прольется где-нибудь благодатным потоком.

*с. Белый Колодезь*

## В ПРИМАКАХ

И кто дал ему такое название — Доброе Начало? Хутор, каких, пожалуй, не одна сотня у нас в срединной России, а вот манит он то ли своим добрым именем, то ли здешней благодатью: пойменным укосистым лугом с рыжими будыльями щавеля и кровавыми от земляники буграми, слабоструйною речкой Сосенкой с моткими окуньками, снующими по причесанной течением шелковистой траве. А какие сады здесь, соловьи, тополя! Припетляешь сюда по ржи узкой стежкой от мельницы, сядешь на жернов, вросший в землю у приречной околичной хаты, — уходить и не хочется. Сидишь час, а то и два, пока не привлечет внимание одинокий упорный стук топора. Тогда и пойдешь на звук.

Хата за хатой взбирается хутор на длинный взгорок. И по бокам кое-где зияют заросшие лебедой и крапивою плеши — брошенные усадьбы. «На село съехали, — догадываешься, — а то, может, и в город». А стук топора все ведет и ведет — на самый вершок. Тут-то и остановишься, переведешь дух и оглядишься. Далеко видать отсюда, аж за излучину, где белеют домики, — центральная усадьба.

Свежими венцами высветляется за сиренью сосновый сруб, перед ним еще горка нетесаного кругляка. Наклонившись, плотник гонит с бревна щепу. Что-то в нем самом, в его действиях кажется странным. Когда он разгибается, вытирает пот со лба, не выпуская из руки топора, все становится ясно: у него одна правая, левый рукав пуст и засунут за пояс штанов. А рубаха без единой пуговицы, подпоясана пеньковой веревкой, ноги в самодельных шерстяных носках, обуты в калоши-шахтерки.

Сам плотник среднего возраста, тощ и длинен, но жилист. Волосы на голове спутаны и темно-русые, а брови лохматые и седые, глаза мелкие, но не злые. Широкими ноздрями он жадно хватает воздух и выдыхает его тяжело, с присвистом. Отдышавшись, он подводит под отесанную лесину ременные вожжи, перебрасывает вожжу на плечо и, пригибаясь к земле, подтаскивает лесину к срубам. Под рубахой у него

бугрятся мускулы: лесина покорно ползет за ним по щепе.

Потом он принимается за мудреную операцию по подъему дерева на верхний венец. Поднявшись по лестнице, подтягивает вожжой один конец бревна. Пройдя ввысь, бревно упирается краем в проножку лестницы — и ни с места. Препятствие это для плотника, видно, привычно. Он достает из кармана припасенный на случай гвоздь, молоток и, изловчившись, пытается прибить вожжи к верхнему венцу, чтобы дать свободу себе, слезть маленько пониже и столкнуть лесину с затора. Но гвоздь, взвизгнув под молотком, падает вниз.

Плотник долго стоит в размышлении. Потеря гвоздя, очевидно единственного, ставит его в тупик. Пораскинув мозгами, он опускает вожжу, а сам слезает за гвоздем. И все повторяется.

Тут-то и приходит пора удивиться: неужто один все это, одною рукой? Да кто ж еще! Привык уже. Руку потерял на мельнице, где работал когда-то с мельником. Жерновами и прихватило... Водрузив наконец лесину на место, садится он в теник, под сирень.

— Семе-е-ен! — кричит ему кто-то с дороги. — Семен, а Семен!

— Тимофей, — оживляется плотник, и глаза его от удовольствия прячутся внутрь, за лохматые брови.

— Помогать пришел тебе, — появляется во дворе на своих коротких ногах Тимофей. — У-ух, жарыща! — утирает он обильный пот на лбу, на щеках, на груди.

— Ишь ты, шею себе нажевал, — Семен встречает ворчащем приятеля, но живо отодвигается, дает ему место.

- Я бы еще на той неделе пришел, да совсем закрутился, — Тимофей говорит быстро, словно спешит сказать сразу все. — То в район — то из района, то на склад — то со склада. Все Тимофей да Тимофей в разных видах. Без Тимофея правленье не может... А на рани бегу мимо Петьки Лудицы, гляжу — голову ясеню пилой отсобачил и стоит обдумывает: как это солнце будет теперь к нему на огород? Дурак, говорю ему, соображать надо, ты бы сначала обдумал, а после пилил.

— Рассказал бы лучше, Тимк, что там в миру делается, — останавливает Семен приятеля.

— В районной так сообщают: за границей бомбы взрывают — солнце, думаю так, охлаживают.

— Да нет, я серьезно. Ты мне скажи, что там в правлении?

— А что в правлении... Кладовщик Митрофаныч кричит вчера на правлении, я, мол, кристаллический человек, а сам, ясное дело, первый нахал в деревне. Я, говорит, предлагаю яблоки нынешней осенью везти продавать на Кавказ. Потому как наше яблоко ценное, а у кавказского шкура рябая и толстая, как у хряка. А председатель ему: ты иди-ка, дьявол, пропись, а то шкуру с тебя самого...

Веселый разговор с приятелем, видно, нравится Семену, глазки Семена становятся маслянистыми, лоб потихоньку разглаживается, становится выше.

— Ты, конечно, мужик не дурак, — достает «Казбек» Тимофей и, не замечая протянутых Семеновых пальцев, говорит хитровато, вроде бы вскользь: — Три иждивенца сидят на моем портсигаре: я, бригадир да щедрость моя... Так вот, не дурак ты, говорю, — голос Тимофея становится тверже, глаза теперь смотрят на Семена пронзительно, строго, — а только одно мне неясно: до коих пор ты, Семен, будешь угибаться в сторону? Почему ты все мимо общества? В сторожа бы хотя. Оно бы и тебе помощь, не рубил бы вот так, с одним крылом, хату.

— А мне от коллектива, как от твоего портсигара, — отвечает Семен вразяжку и отводит взгляд, покашливает в кулак: — Мне сейчас лесок нужен. А в хозяйстве и самим в зубах нечем поковыряться.

— А, что ж, по-твоему, туда все с неба валится? За общественное радеешь, а у самого сарай, гляди, скоро завалится.

— Потому, может, валится, что на всех стараюсь.

— Ты мне голову свою не приставляй! — сжимает скулы Семен. — Обществу не интересно, чтобы я строил хату на хуторе. А мне интересно бросать наш чупахинский корень? Тут-то мы с ним поврозь. Понял?

— Ну, жилься, рви пупок, тяни в одиночку. Жди, когда Настюха тебе и второе крыло-то подрежет.

— Ты это на что намекаешь?! — поднимается Семен неожиданно резко. — А ну, давай катись к ядерной феньке отседова! Ты это про какие такие последствия мне? Все про булгакера, про Болховнина? Радетель!

Тимофей поднимается, стоит перед Семеном глаза в глаза.

— Я — что, за что купил... Любой человек, Сеньк, скажу тебе, по своей натуре свободен, — говорит он тихо, примиряюще. — Спину ему обьязано гнуть только в утробе матери. А ты вот всю жизнь свою уложил на свой пятистенник, ничего сквозь него не видишь. А чего злишься на всех? На себя злись, себя и казни.

Весь вечер Семен пьет самогон. Сбивая грудью вишняк, спускается по хутору к речке, к Настюшиной хате.

Ночью, проснувшись, он свешивает ноги с постели, сидит с минутку, бездумно прислушиваясь, как дышит во сне рядом Настюша, как свистит-высвистывает носом сынишка Сергунька, как тоскливо верещит где-то на печке сверчок, сидит и морщится Семен, сглатывает икоту. Поскребывая в затылке, сползает с постели, шлепает босыми ногами к двери и, вода сухим языком по шершавым губам, ищет в темноте деревянный корец и ведерко, а нащупав, пьет крупными глотками, с прибулькиванием тепловатую, нагретую за ночь в хате воду. Стаскивает с гвоздя телогрейку и, пригибаясь, чтоб не рассадить лоб о низкую притолоку, толкает дверь от себя, и как есть в исподниках, выходит через сенцы наружу.

А на дворе тихо, и нет уже той черноты, что бывает в безлуние задолго до рассвета. Млечный путь стряхивает с себя падушие звезды, и они летят плавно и медленно, пропадая уже возле самой земли. «Благодать-то какая», — размягчается, словно впервые видит все это Семен, и глотает, глотает свежий предутренний воздух.

Отворяет плетневую дверку, выходит за огороды и идет чуть пробитой стежкой в луга, с непонятной радостью различает в брезжущей серости, как, натекая от низин и от впадин, от речки, тонкая, неуловимая дымка сслаивается в туман. Семен наклоняется над замшелой колодой, где

обычно поят скотину, видит в спокойно стоящей воде слегка померкшие звезды и долго стоит, не решаясь разбить своими ссохшимися губами их золотой покой.

А потом его тянет к берегу, он взбирается на огромный валун, наклонившийся наполовину над речкой, и, швырнув под себя телогрейку, ложится и смотрит на волны, вяло и туго размышляет «про жисть». Что-то начинает беспокоить его: Семен примечает неподалеку от камня буруны, вчера их не было, стальная вода крутит в водовороте солому, гусиные перья, тальник — все, что плывет по реке.

«Намедни был ливень, — догадывается Семен. — Полой водой, должно, и высадило бурчагу. Лежбище сазану...»

И опять сбивается на мысли «про жисть». Помирал батяка, наказывал: «Из мужиков, Сенька, один остаешься в дому. Блюди наш чупахинский корень». А как помер, все пошло вкривь и вкось. Сестрам что: завербовались, разъехались. Звала, правда, его, Семена, к себе в Москву младшая из сестер Ксюша. «А что мне там? — возражал ей Семен. — Ну, по кинам похожу, покатаюсь по метрополитеню, — это слово он говорил как-то мягко, по-деревенски, похоже на близкое ему слово «пле-тень», — а дальше Семену что? Деньжонки раскассирую — и в Доброе? Не нравится мне там, в городах-то. Людей дюже много, дома здоровенные. А здесь кто Семен? Царь природы. Гляди, кругом как просторно».

И остался Семен, словно перст, вековать в своей хате. В армию даже не брали его, слабогрудого, девки обходили его стороной. И оно б ничего, только грустно, так волнительно делалось веснами. Уж не мог спать Семен с закрытыми окнами, распахивал их в лунный орешник, подступающий к бревенчатой стенке с другой стороны, и лежал, замерев, и слушал, как вызвенивает, едва распустившись, орешник, как изводятся соловьи. Фыркнет лошадь в ночном где-то на ближней поляне, хрустнет ветка под запоздалой телегой — все к нему, все к Семену в окно; и качались, тонули те звуки у самого сердца. «Все продам, — шептал Семен в сладком порыве, — сапоги, годовалую ярку, а гармонь себе справлю. Хромку...»

А оно повернулось все по-иному. Брат отцов позвал его к

себе в по-мощь на мельницу. Научил его и мучному делу, и всякому. Человек, говаривал дядька, сам себе голова. Сам себе в кошелек рубля не положишь — никто в шапку и копейки не кинет. С той поры и сидит в Семене думка о пятистеннике на родном чупахинском корне, о доме светлооконном, вольном, бревнистом, с верандой, о каком батя и не мечтал. Дом бы, может, уже и стоял, если б не это вот, не с рукой. «Куда да кому я такой?» — вбивал себе в голову Семен после случая и мучился, ожесточался, делался на себя не похожим. Вот и с женитьбой... Сколько ни сиживал он перед хатой на обрубке ракиты, сколько ни шурился против солнца на центральную усадьбу, куда вечерами убежали в сельский клуб девчата с Доброго и откуда в погоду иной раз доплескивалась радиолоа, сколько ни думал Семен о Прониной Зинке, а прибился к вдовой Настюше.

Как-то вышел в орешник он на осиные звени косы, увидел в травостое за мужицкой работой бабу — Настюшу Карпухину. Сильную, с заголенными икрами, в высоко подоткнутой за пояс вельветовой юбке. Притаившись поза крушиной, все глазел, задохнувшись, пока не заметила она его, не рассмеялась в сахарные уста. А потом отпирала ночами, встречала самогонкой да ласками, висла под утро у него на плече, оставляла хозяином. Наклонился Семен, куда дунуло, перебрался к Настюше. А родовую хатенку, приехав, продали сестры на своз, и осталась на макушке деревни от чупахинского корня пара старых ракии да груша, да обгнивший колодец, да крапивная заросль на месте завалинки. Да растравливали душу Семену свои же, доброначальские, судачившие про дурного хозяина, сглупу вышедшего к бабе во двор.

А теперь еще Тимофей травит душу.

Затихая, Семен вытягивается на телогрейке.

— «В примаках... В примаках... В примаках», — переплещиваются под валуном серые волны. И пенятся, и ехидно шипят.

— «Вот построю дом... построю дом... построю...» — в тон им отвечает Семен. Недаром уже третий год, как рубит он пятистенник на своем чупахинском корне. На себя

одного и надейся, люди — брызги, прижарило солнце — и нет их; как-никак срубят дом, и снова будет все ладно, не окончится род их чупахинский. А Настюшину хатенку не велик грех и бросить...

Так за думками не заметил Семен, как натащило туману, молоком залило и берег, и камень-валун, и его самого — Семена. Растворилось все в мягкости, сгладилось. Хорошо бы вот так вот, как в вате, всю жизнь — не толкало бы, не било, не швыряло бы, был бы он, как за стеной. Голова у Семена наливается гулким свинцом, усталость вконец смаливает его, и плывет он, плывет по течению — к своему далекому счастью...

— Семен, а Сем-е-е-ен!

Он с трудом отрывает помятую щеку от зернистого камня: туман уже расступился, на бугре кто-то в красном отчаянно машет рукой. «Настюша, должно», — равнодушно решает Семен и наклоняется за телогрейкой.

А утро в разгаре. Солнце словно бы разломилось — половина его упала в пеструю речку, половина закачалась меж кучевых облаков. Семен вышагивает своей гусиной походкой, размахивая рукой, забирая, как заяц, в сторону, блаженно жмурится, чуя худыми торчащими из-под рубахи лопатками солнечное тепло. У замшелой колоды приостанавливается, смотрится в воду, как в зеркало, видит свои давно не бритые щеки, суется в студеную воду, разбивая губами и носом собственное отражение.

— Срамной! — поставив руки в тучные бедра, набрасывается на него Настюша. — В исподниках теперь удумал шататься. Зальет, паразит, глазищи, не знает, что и вытворить! Уйду от тебя на центральную, слышишь? Не молоденькая, по пять километров туда-сюда... Квартиру дают там в стандартном.

— Хватит зарю языком обивать, — Семен говорит вроде бы равнодушно, лениво.

— В сарае нынче почистишь, да сюда гляди, не п્યાль бельмы на речку! Свиньям замесишь, гусям дашь, корову в луга. А мне нынче некогда, у нас на ферме квартальный отчет. :— И, мотнув красным штапельным сарафаном, На-

стюша по деревянным мосткам загромычала на тот берег.

Семен стоит, скособочившись, до боли сдавив голой пятой ком пересохшей грязи, а внутри закипает, хлещется ярость, и сыреет от поту рубаха, сатанеют глаза. Так бывает теперь с Семеном, так бывает. И тогда больше всегдашнего ненавидит Семен себя самого, пришитого накрест к хозяйству, ненавидит всю эту животину, от которой полопались пальцы. И тогда злее, ожесточеннее начинает работать Семен там, на вершке, на своем чупахинском корне. А Настюша примечает это, принимается по-другому.

— Погляди, Сеня, — льнет к нему Настюша ночами, — все хуторские съехали, мы да Пронькины, да Михеев Семен, да Казьма Иваныч остались. Давай и мы на центральную, на новую жисть?

«Знаем мы твою новую жисть, — вспоминая слухи про нее и бухгалтера, темнеет Семен и цыркает через зубы на землю. — Все понимаем». И, изловчившись, поддевает под зад проходящую мимо гусыню, та, кыгыча жестяным голосом, теряя перья и пух, летит вниз до самой реки и, только коснувшись воды, успокаивается, собирает крылья, задирает вверх глупую голову. А в закуте уж охает годовалая свинка, глуховатый басок ее срывается на тонкий, щенячий визг. Не выдержав, Семен заходит в сарай, тянется рукой к мешку с комбикормом, подвешенному к березовой матице. С мешка соскальзывает газета, которую Семен положил сюда не читая, еще с вечера, когда приходила почта.

— Знаем мы твою новую жисть, — повторяет Семен и рывком сыплет пшеничные отруби в дубовую кадку, заводит крутое месиво. Управившись, он с минуту стоит в раздумчивости, потом лезет рукой под застреху, вытаскивает бутылку с мутноватой жидкостью, заткнутую сухой кукурузной кочерыжкой. Взболтнув ее, нюхает, смотрит сквозь зеленое стекло на дверной проем, вздохнув, засовывает за пазуху.

Сегодня Семен не берет привычно топор, не идет туда, на вершок. Сегодня Троица, и ему хочется в травостой, в луга.

— Г-гя, г-гя-я! — выгоняет он корову и уже во дворе набрасывает ей на рога толстый пеньковый повод.

— И я с тобой, — увязывается Сергунька.

— Ладно уж, — соглашается Семен, равнодушно отдавая Сергуньке повод.

Корова покорно идет за Сергунькой, мотая из стороны в сторону то-щим, выдоенным выменем, состебывая хвостом назойливых оводов.

Семен бредет позади. Наклоняясь, хватая с краю бахчи пупрастые огурцы, швыряет с пяток за пазуху, а одним, обтерев о штанину, хрустит шагов тридцать, жадно всхлипывая, захлебываясь от пресновато-сладкого сока.

«Значит, на новую жисть? На центральную, значит? — бередит свою душу Семен. — И усадьбу подыскала, говоришь, по соседству с булгакте-ром?..»

Семен зло сбивает ладонью овода с коровьих мослов.

Не от одного Тимофея наслышан Семен про дела Настюшины с бухгалтером. Но страшнее всех шуточки Кузнечихи, от которых тело у Семена обливает мурашками: белобрысый Сергунька, говорит, не в чернявую мать и отца, а в проезжего молодца, лицом смахивает на бухгалтера.

«Ну, уж это брехня, — словно натолкнувшись на что-то, приостанавливается Семен. И гонит долой глазливую Кузнечиху. — Ну, уж это ты брось, старая ведьма. Мой Сергунька. Конечно, мой...» А старуха никак не уходит, брезжит в смутности памяти, в пухнувшей голове.

Он взглядывает на белесую макушку мальчонки, едва торчащего из-за коровы, и таким теплом-хмелем обливает всего Семена, так приятно идти ему рядом с Сергунькой на виду у глинистых оползней и просторных лугов, залитых солнцем и уходящих к синему лесу, так легко, так вольготно Семену, что, откашлявшись, он силловато пробует голос, затягивает про одинокий развесистый дуб, который стоит великаном среди ровной долины, как рекрут, как часовой, охраняя прохожих в погоду и непогодь. Но в самых высоких местах голос Семена натуживается, срывается, и жаль Семену, что не той получается песня, что не может он, что так и не вышло у него дело с гармонью...

Они вытягиваются с Сергунькой на горячей земле и глядят в васильковое небо. В Семене почти что два метра, в

головах у него мягкая кротовая кочка, а в ногах — во-он где — рыжий конский щавель. Понача-лу Семен порывается рассказать Сергуньке что-то очень хорошее, очень доброе, как те сказки, что слышал когда-то от бабки, но и этого у него не выходит, и, побасив маленько, Семен замолкает.

А солнце печет вовсю. Корова перестала щипать, прилегла, отдуваясь, уткнула рябую морду, всю в бусинках пота, прямо в конский щавель, который тряпками опустил долу подпекшиеся листья.

Повалевшись, пожарившись этак на солнышке, Семен начинает чувствовать себя нехорошо, одиноко. Тимофей — годок его, в семилетку с ним бегали, — и тот стал к нему теперь реже наведываться, нужный правлению человек. А тут еще под рукой эта бутылка — и чего без дела, чего лежит греется? Отослав Сергуньку домой, Семен решается спуститься пониже, в пойменный луг, куда дед Сашка пригоняет на дойку сетеневское стадо. Еще издали различает, что часть коров забрела в воду, часть дремлет возле варка, а меж ними разбрелись по зеленому лугу белые гуси. Но Семен-то уж знает, что гуси эти никогда не закыгычат жестяно, что давным-давно превратились они в соль-лизунец, в солевые камни, подто-ченные, словно ветрами и водами, усердным языком симменталок.

В шалаше, к удивлению Семена, оказывается Тимофей. Ишь, дрыхнет, тонко заводит носом и всхрапывает. Мухи ползают по пухлым губам, Тимофей только отплевывается.

— Эй! — толкает его Семен. Он уж забыл про вчерашнее и сейчас рад приятелю больше, пожалуй, чем деду Сашке. — Эй, ты! Гляди, пчелы брюхо тебе покусали — одулся, ха-ха-ха...

— А? — вскакивает Тимофей и таращит красные, тяжелые от сна и жары глаза.

Через минуту он живо выкладывает на газету каленые яйца и ситник, полощет водою стаканы и объявляет Семenu:

— Дед Сашка сегодня к внучке в больницу, а меня попросили сюда. Нужный правлению я человек.

— Затычка, — мрачно замечает Семен и наливает по первой.

Постепенно затевается разговор, которого Семен давно желал, да все не решался.

— Ты вот вроде бы сам себе голова, — утирает Тимофей тыльной стороной ладони сыреющий лоб. — А вон как пишут в газете: все хутора сселить и устроить агрогорода. И ванна там, и телефон.

— Угу, — басит Семен и косится на него, чуя, что тот сбивает его на прерванный вчера разговор. — Землицу, значит, бросать? Отцы, деды ходили, выхаживали ее, а мы, значит, бросать? Да только уйди с нее человек, враз бурьяном зарастет, враз поля, родники оскудеют.

— На машинах из этих городов наезжать будем.

— Не наездишься. Земля, что дитя: глаз да глаз нужен, а не заочность.

— Ты, значит, против будущей жизни? Жизнь есть жизнь, и никуда, Семен, тут не денешься.

— Да что ты понимаешь? У меня, Тимк, земля вот где, в грудях, без нее не дыхнуть. И сказать так: понабьется людей в города, ровно как комарей, а потом опять побегут к земле-матушке, и все сызнова. На центральную не зови — не пойду.

— Ну, не ты, так Сергуха твой.

— Ну, Сергунька нехай, а я неотступный, — рубит воздух рукой Семен.

— Гложет червь тебя, однокрылый, — встает Тимофей решительно. — Вот и водку ты принимаешь чрезмерно. Кособочит тебя одиночество.

И уходит поднимать стадо, а Семен наливает себе и вторую, и третью. Вскоре и сено, и газетка, и яичная скорлупа, и весь шалаш с соломенными скатами начинает вертеться вокруг своей, не известной ему, не ясной дотоле оси. И верчение это все быстрее, все бешенее: крутится все в одной сплошной пляске. Кровавые, синие, зеленые сполохи мечутся перед глазами; как молния пронзает их, похожая на Бабу-Ягу, клешнявая Кузнечиха: «Не твой, не твой Сергунька, — шепелявит старуха. — Дорога-то торная, наезженная дорога». Падает Семен на сено и затихает...

Пробуждается он, когда соль-лизунец успеваает уже от-

сыреть от вечерней свежести, и плетется домой. Настюша встречает его у порога.

— Ишь, раздулся, как бубен, — не сдерживается она. — Тебе кобеля самогонкой побрызгай — сожрешь.

— Не надо, Настюша, — вздыхает Семен и глядит на нее покорно и ласково. — Есть там что перехватить? В животе стенка к стенке липнет.

— На, возьми, — швыряет Настюша ему телогрейку. — Спи и ноне где хочешь.

Семен кладет телогрейку на большой песчанистый камень у самого берега, ложится на него и, чуя спиной и затылком сквозь телогрейку прохладу и твердость песчаника, упирается взглядом в звезды, слышит их дальние шорохи, перебиваемые шевеленьем травы, говором речки и соловьями, вслушивается в отдаленный гул тракторов, работающих где-то под Даймино. И вспоминается ему все родное, хорошее: хромка, Сергунька, дед Сашка, даже покладистый Тимофей, телефоны и агро-города, где все, как и на центральной, в больших электрических звездах. И тогда шевелит, шелестит он, растроганный, сухими губами:

— Ах, кабы гармонь мне, кабы гармонь...

А утром Семену приносят пенсию. Семен заговаривает с почтальоном про то да про се, про кино на центральной, про магазин, про селедку да ситец, но про главное спросить не решается. До обеда ходит по двору, мается. После обеда, не выдержав, гремит по мосткам на тот бок, виляет по лугу на центральную.

Года четыре, а может и больше, не бывал здесь Семен. С тех пор, как связался со срубом. Серые домики легли вдоль реки. Белым шифером сверкают склады и фермы. Семен стоит перед клубом, взметнувшимся на бугре, и вздыхает. «И откуда взялось все, скажите! Вот она, новая жисть-то... А какая, Семен, какая?» Непонятно Семену и больно, и даже тревожно, что не смыслит он почти ничего в этой «жисти», что, как ни крути, а Тимофей, наверное, ближе к ней, что он, Семен, вот отстал, обскакали Семена, уходят от него стороной.

Он останавливается у двухэтажного здания с выбитыми

поверху серебристыми буквами: «Сельский универмаг».

Ходит Семен от прилавка к прилавку, оглядывает товары, одно его возвращает к себе: большой, малиновый, в перламутрах баян. Всего раз, лет с десятков тому, был Семен в большом городе у сестренки в Донецке, а и там не видал в магазинах такой красоты.

— Сколько он? — робко спрашивает Семен у продавщицы.

Спрашивает он просто так, для близиру; сознание того, что он может купить этот баян хоть сейчас, хоть сию вот минуту, что «деньжата покудова водятся», возвышает, поднимает его в своих же глазах. Но, прикинув, переводя деньги в лес-кругляк, Семен притищается, затухает.

Ему показывают и что подешевле: гармони и радиолы. Он выбирает себе патефон: чего еще, коли нет на хуторе электричества? Да и вряд ли будет когда. Хутор их, говорят, подлежит сносу и переселению. Так что патефон сейчас в самый раз, хорошо. Радуюсь покупке, несет Семен аппарат узкой стежкой через луга. Озирается, не летит ли следом Настюша. В хату проходит задами, чтобы никто не увидел. Чтоб никто не услышал, накрывает голову, патефон стеганым одеялом, живо ставит пла-стинку.

«Среди долины ровныя», — грустно, торжественно запекает во тьме крепкий мужской голос.

— Среди долины... — повторяет Семен, словно эхо, и чувствует, как закипает в груди.

С улицы прибегает Сергунька, ныряет под одеяло к нему. Семен слышит дыхание частое, так и видит глаза его и, нащупав, кладет на льняную головку жесткую большую ладонь.

В сенцах что-то застучало, послышались частые шаги, одеяло слетело — перед ним с Сергунькой, лицом к лицу была она, Настя. Удивленно смотрит то на них, то на патефон. Стоит, опершись в бессилии на дверной косяк, глаза затягиваются влагой, плечи начинают подергиваться, все быстрее, все резче, в такт патефонной музыке. Она видит Семена — жалкого, однорукого, Сергуньку, прижавшегося под одеялом к нему, и так больно становится ей за себя и за них, так жутко от песни.

«Ни роду нет, ни племени...»

Она чувствует рядом острое плечо Семена, теплое тело Сергуньки и, обхватив их руками, уже без стеснения, не скрывая слез и лица своего, плачет им в губы, в щеки, в затылки. По-бабьи, навзрыд, причитая.

— Ну, вот и все хорошо, все хорошо теперь будет, Настюша, — слышится ей голос Семена.

— Ой, Сеня, Сенечка, — шепчет она и падает, зарываясь носом, в по-душку. — Ой, прости меня, Се-неч-ка-а-а...

А окна уже полны новым звуком — дрожат от натужного рева тяжелогруженной машины. На момент мотор затихает, что-то грохается на дороге перед самой хатой, затем машина поднимается выше.

— Что это? — говорит, охладившись, Семен.

— Столбы, должно, привезли, — утирает Настюша распухший нос. — Электричество будут на хутор тянуть.

— Мы же бесперспективные.

— На вершке птицеферму на правлении решили.

Семен стоит и молчит: ишь, как оно — птицеферму.

— Ну, вот, вот, — бестолково суетится он. — Вот видишь? В сторожа пойду теперь, в сторожа.

Постоял, отдышался. Вышел в сени. Поискал топор, попробовал пальцем — острый, вышел через задние двери во двор, побрел наверх, на родной корень.

— Сын! — крикнул он, обернувшись, Сергуньке. — Давай со мной!

Но Сергунька словно и не услышал его. Заколотил по доскам голыми пятками на тот берег вместе с соседским Петрунькой. В кино, должно быть, куда еще так лететь? А может, на стан к механизаторам, к тракторам? Куда же еще?.. Семен стоял и смотрел, пока русые головы мелькали за ивняком, пока тропинка перед ними не завлеклась в широкий большак и большак не свернул за бугор — к кирпичным домам, водокачке. К центральной усадьбе.

И снова стекал вниз по хутору к речке упорный стук топора. И дом подрастал, высветлялся каждым верхним венцом.

*д. Егурново*

**АРИЯ ЛЕНСКОГО**  
(Автобиографический рассказ)

Так и звучит во мне с юности голос Лемешева, эта ария Ленского:

«Куда, куда вы удалились,  
Весны моей златые дни?»

Так и борются всю мою жизнь эти две стихии — музыка звуков и му-зыка слов. Помню, целую зиму, перед экзаменами на аттестат зрелости, я только и делаю, что переписываю в толстенную тетрадь всякие сведения — это по музыкальной части. А по части литературной — стихи пишу, песни на них сочиняю, сам же их и пою. Так и живу я в малом своем степном городке Малоархангельске, в нашей русской глубинке, где Пушкина — по легенде — когда-то приняли за ревизора. А ведь толком не знаю, где хоть после десятого класса учатся на поэтов, а на музыкантов?

Куда хоть ехать-то? В Харьков — если в консерваторию? У меня, говорят, голос, я — сын своей матери, а она когда-то пела в еще первом, деревенском хоре Пятницкого. Или же отправляться сразу в Москву, если на поэта учиться? А ведь даже о существовании Литературного института и не подозреваю, думаю, что на поэтов учат на факультете журналистики Московского госуниверситета...

И вот уже в МГУ сдаю экзамен по истории, это в старом здании на Моховой. Билет попадаетея с такими вопросами: во-первых, о нашествии Наполеона на Москву, а во-вторых, русская культура второй половины девятнадцатого века... Дедок передо мной сидит — экзаменатор, старенький, тоже моховой. Как жук, уставился в меня очками, как это, готовясь, шпарю я, перо по бумаге так и летает. Целый ворох листочков уже, а я все пишу и пишу... спасу нет, зуд какой-то напал...

Подходит этот дедок ко мне, заглядывает через плечо:

— Молодой человек, чего это вы все строчите?

— А это, — говорю, — только тезисы, «шкелеты» одни. А все остальное в «шкафу», — и стучу по лбу себе, показываю на «чердак».

И я с ходу в бой. Ну, что там про Наполеона-то? Вот он тут у меня как гитлеровский, совсем свежий, так и наполеоновский московский поход! Одна карта, цифирь чего стоят. А вылазки Долохова по тылам? А еще Лев Толстой с его художественными картинами, а старостиха Василиса, а Герасим (у меня дед Герасим Мака-рыч) Курин? Все вижу, будто сам с ними там с вилами и ружьем...

— Ладно, — прячет дед улыбочку в бороду. — Переходите ко второму вопросу.

А второй вопрос — это, значит, культура во второй половине. Ну, не будем опять-таки о литературе — это Толстой, Достоевский, не будем и о живописи — это опять же «передвижники» — передвигались, соединялись и распались. Я лучше на музыке остановлюсь — это моя любовь. Это море Хвалынское, Океан Великий... Вот Мусоргский с его «Борисом Годуновым», вот Направник с «Дубровским»... А это Чайковский с его «Евгением Онегиным», «Пиковой дамой»... И чего меня все на Пушкина тянет?... Пушкинский «Золотой петушок», музыка Римского-Корсакова... У меня же целая галерея авторов... Три зимы и два лета пишу, извлекаю факты, руку всю обломал...

— А зачем же, — улыбается дед, — руку на этом обламывать?

— А чтоб глотку поменьше драть, — говорю, — на экзамене. Как у Суворова, трудно в учении — легче в бою.

— А ты что, приехал сюда воевать? — допытывается дед и давай тискать свой стул, крутить вокруг одной ножки.

— А как же, — говорю.

— Ну и как, страшновато?

— А вот так, — говорю, — меня еще солдаты наказывали учиться.

— Это какие?

— Из сорок третьего года. С Орловско-Курской дуги. Мы вместе с ними пели песни Фатьянова и «Василия Теркина» перед боем читали... И еще Пушкин с Чайковским с их оперой «Евгений Онегин»... Вот Леонид Витальевич Собинов, например, — то юрист, то тенор. То поет в салонах, то не поется, не в голосе. Друзья ему: «Да брось ты эту юриспру-

денцию, сосредоточься на сцене, у тебя же талант, от Бога». И вот Собинов в Мариинке в роли Ленского. А левый мизинец зажал в туфле, Собинова аж в пот бросило: третье «до» вдруг да не возьмет? А звук ведь должен лететь, быть свободным... как полет шмеля... вот так... значит, ария Ленского, да?

— Да, да, — улыбается дед, рот у деда, вижу, уже не запахивается.

— Экземпля-я-я-р... экземпля-я-я-рчик... — слышу по рядам у себя за спиной.

Да ладно, думаю, да ничего себе не думаю. А рот и себе раскрыл да деду потихонечку:

Куда, куда вы удалились,  
Весны моей златые дни?

А голос сам звенит — молодой, аж затылок насквозь и в потолок, и в стены, аж стены звенят. Дед, вижу, остолбенел, глаза выкатил... Ну, думаю, надо прибавить, только раз бывает в жизни встреча... И давай ему, — вкатил в одно ухо, а из другого, слышу, сзади выкатились хлопки какие-то, вроде аплодисменты... Дед кинулся было ко мне на радостях, а потом остановился и говорит:

— Ты это, малый, не туда попал.

— А куда ж, — говорю, — надо?

— В консерваторию, — говорит. — Вон за углом по улице Герцена.

— Так в консерватории, — говорю, — на музыку учат. А я на поэта хочу, у вас тут на факультете журналистики.

— На поэта? — засмеялся дед. — Да на поэтов не учат. Это как Пушкин. Поэт — он или есть или его нет... Эх ты, малый, деревня ты моя, провинция ты наша глухомятная. Давай-ка я тебя к себе возьму на исторический, я — профессор истории.

— Какие ж мы глухомятные, темные? Мы орловские, считай, подмосковные. Вон сколько классиков дали литературе.

— Ладно, — махнул дед-профессор. — Скажи вон только, мать хоть есть у тебя?

— Из крестьянок, швея. На фронт шила и сейчас шьет,

уже третью строчку гонит вокруг земного шара по экватору.

— А отец?

— Что отец? — потупил я голову. — С Соловков не вернулся...

— Понятно, — искренне, вижу, огорчился дедок. — Мандатные комиссии на то и существуют... Для строителей высотного здания — льготы, для участников Дальстроя — льготы, для детей работников органов — льготы. А для тебя — ноты... другого пока ничего не придумано...

А было это давно уже, холодным летом 53-го. Как сейчас помню.

— И вот, сынок, что могу сделать я для тебя, — обнимает меня старичок-профессор, — так это вот что.

И за плечи берет меня и выводит из аудитории в коридор. В главное фойе — с колоннами и большой красивой лестницей.

— Люди! — говорит профессор, и эхо катится, и все останавливаются и смотрят сюда. — Вот как надо любить историю Родины и воспринимать искусство... Пойте, коллега, арию Ленского, пойте, — последнюю перед дуэлью...

И я понял все. Вот так стоял и плакал. По Пушкину и по себе.

Паду ли я, стрелой пронзенный,  
Иль мимо пролетит она?

И вот после окончания Курского историко-филологического я в деревне учителем. Вот уже в областной молодежной газете корреспондентом. Днем — редакция, командировки, ночью — стихи, статьи, рефераты. И опять три зимы и два лета готовлюсь уже в аспирантуру туда, куда не взяли, давно ли, даже студентом. А вот передо мною комиссия... отца Дионисия, что-то не люблю я это слово... И вместо ответа на вопросы я почему-то думаю о справедливости, о дедушке том — о профессоре, жив ли?..

Дверь в аудиторию приотворяется — это Сашута, сестрица жены моей, она тут аспирантка. Машет мне в щель — достала билетки, это тут поблизости в Пушкинском музее, на открытие художественной выставки. И тут что-то вспыхивает во мне, не знаю, не понимаю уж что. Я встаю резко и

печатаю шаг, иду мимо стола с этой самой комиссией.

Растерянно лицо председателя — отца Дионисия, доцента Вики Ученовой (подлинная фамилия, руководитель студенческой практики у нас в молодежной газете, теперь уж давно профессор, она брала меня к себе в аспирантуру).

— Ленечка, выходить же нельзя! Посиди, успокойся...

А я уже не вижу ничего, кроме этих билетиков в руках у Сашуты. Кроме пушкинских профилей на выставке, тут поблизости — в музее имени Пушкина, где сразу же после открытия состоится концерт и будут петь, конечно же, арию Ленского. Вот только кто, интересно, — Лемешев или Козловский?

Всегда поют — как в день гибели, так и в день рожденья поэта. Как и я пою ее по сию пору всегда — эту вечно молодую, любимую арию Ленского.

Куда, куда вы удалились,  
Весны моей златые дни?

*г. Орёл*

## «ТЕПЛЫЕ» РАССКАЗИКИ

### Предисловие

И это гоже короткие, т.н. «теплые» рассказы, но уже не от имени ВРИО Кузьмы Пруткова, а от самого себя. Уже не иронией, не юмором веет от них, а, скорее, лирикой, теплом души от многочисленных встреч, щедро разбросанных по моей жизни. Это моменты, моментальности и монументальности, искры и озарения, попавшие в мои записные книжки и до сих пор греющие меня, мою душу. Очень хорошо все это помогает при создании крупных произведений в прозе, поэзии, драматургии, да и для стихотворной лирики тоже. Рассказец-то короткий, но по воздействию на читателя емкий. Если, конечно, сумеешь преодолеть «наборность» текста, проникнуть сквозь нее, попадая в самую точку, создавая интенсификацию писательского труда, поощряемого читательским интересом.

Прокладывая дорогу с помощью интуиции, продираясь

сквозь всякого рода банальности мыслей, автор синтезирует, как бы освежает собственную натуру, усиливает впечатление от себя, своей творческой личности. Деталь, штрих, редкое словцо, чей-то облик человеческий, может, светит тебе всю жизнь, не дает покоя, пока не ляжет в строку, в этот хотя бы короткий портрет человека.

Нет больших и малых людей, все это яркие «караты», каждый по-своему светит автору, создавая во мне сияние в алмазе (Л.М.З.) моего сердца. Знаю, бессмертны люди и без тебя, особо если имя общеизвестно. А если оно ведомо только узкому кругу? Именно ты продляешь жизнь человеку, своим пером сохраняешь память о нем. Вот городок, вот улица – вроде все те же, однако по ней идут уже другие люди, другие смотрят салют, которые заслужили их деды, матери, отцы. А те, прежние, все идут и идут в тебе по тем же улицам, как и по изгибам твоей памяти, волнам души. «Спасибо деду за победу».

«Теплые» рассказы после когда-нибудь и самому себе, знаю, покажутся интересными. Мелькнул образ – один, другой, третий – от увиденного, услышанного, прочитанного, и осталось в тебе что-то... запечатлелось, живет в тонкой и острой «машине времени»...

### 1. Дедушка Толстой.

Иду по Орлу, уткнулся взглядом я в стену дома напротив горсада, где была когда-то резиденция Орловского генерал-губернатора – что-то неловко стало глазу, как-то нехорошо. Нет, оказывается, привычной доски с констатацией факта, что тут когда-то бывал Лев Николаевич Толстой. А рядом доска с почетным гражданином Орла есть, существует, и другие далее все по порядку, а Толстого нет. Неужто, думаю, уж и Лев Толстой не нужен стал кому-то из наших современников? Помешал, что ли, новым веяниям, этим самым экзаменам – «бабе Яге», в том числе и по литературе – нашей российской словесности? И пошло, покатило, разыгралось во мне ретивое.

\* \* \*

Помню, лет пять мне было тогда. С утречка пораньше проколотил я голыми пятками по полу и на постель, под одеялку к дедушке своему Герасиму Макарычу – бывшему деревенскому жителю, воронежскому крестьянину.

- Дедушка, - говорю, - расскажи мне что-нибудь интересенькое из своей жизни. Вот ты в рубахе простой ходишь, веревочкой подпоясан...

- А-а, вот ты о чем? – засмеялся он. - Вот такой я ростоком был, почти как и ты. Мужики, помню, в лавке собрались. Заходит старичок, борода надвое раскидывается. Мужики враз шапки сдернули, а я стою, рот разинул. Сдернули шапочку и с меня. Поклонились в пояс. После спрашиваю деда: «Кто это был?» - «Лев Толстой! – сказал. – То царь в Петербурге, а этот наш тут, крестьянский»...

И рассказал мой дедушка про Жилина и Костылина – офицеров русских, попавших в плен на Кавказе. Но особо запомнилось про кавказскую девочку Дину. Как она лепешки русским пленникам носила, в яму бросала, как опустила им туда шест, помогая из плена бежать... Какая многозначно убедительная, трогательная история...

## 2. Этот любвеобильный Ермолов

С Толстого мысль у меня перекинулась на Пушкина, Лермонтова. У каждого из них тоже был свой «Кавказский пленник». Такие слова есть у Пушкина: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов». А Ермолов-то, говорят, покоряя Кавказ, заходил не столько от пушек, сколько от поклонения женщине. И красивы же эти горянки! Способны взять в полон сердце русского человека. Любвеобилен был, говорят, и орловец Ермолов.

Как и все приличные полководцы, закончил он карьеру вдали от шума столиц. На своей малой родине, в нашем Орле. И покоится генерал в фамильном склепе на Троицком кладбище, в подкопе под стеной храма. И выступ над ним изнутри. Заходит сюда, говорят, один церковнослужитель. Снимает свой гражданский харпаль, чтобы облачиться в

церковное. И, говорят, кладут ему в карман каждый день по тридцать сребреников, чтобы он преломил один хлебец сразу для тридцати тысяч.

То облачается он, то разоблачается. То, самой собой, разоблачается, то опять-таки облачается. А генерал Ермолов внизу, пребывая в вечности под Троицким храмом, ни о чем другом не думает, кроме как только о Бородинском сражении, о войне 1812 года и родном Отечестве, а не о какой-либо всеобщей коррупции.

### 3. «Зато я видел Рокоссовского»

Раз уж пошла такая пьянка, режь последний огурец. О военных так о военных, офицерах да генералах, а скажу и о маршалах. Маршалов видел я в своей жизни троих: Рокоссовского, Конева, Чуйкова.

Командующего Центральным фронтом Рокоссовского видел летом 43-го, когда было самое пекло битвы на Орловско-Курской дуге. В Малоархангельске, во дворе старой школы. Много ли нашлось даже среди фронтовиков тех, кто бы живьем видел тогда Рокоссовского? Место пребывания его в пылу сражения - военная тайна.

Помню, мать с сестрой моей подшивали офицерам стоячие воротники - майору Лисунову и капитану Евдокимову.

- Что это вы красоту наводите? - спросили их.

- Хозяина ждем, - ответили они.

Вот стихи об этом, написались они потом уже, по мальчишеским впечатлениям. Так согрела душу мою встреча с этим человеком. Он показался мне тогда великаном - рослый, в высоких своих сапогах. И мне стало вдруг спокойно. Все, пришел богатырь на Русскую землю, значит, будет все у нас хорошо.

#### «Житель Рокоссовского» (в сокращении)

После Сабурово – фронта хозяин

В Малоархангельск нагрянул.

Был я мальчишкой, рот свой раззявил,

Не оторвался, как глянул!

Был он высок и красив, в сапогах.  
 В кителе, сшитом Филиппом.  
 Был тут такой у нас – Лаушкин, маг,  
 Спец в своем деле, типом.  
 В кино хоть полководца снимай –  
 Вылитого артиста,  
 Дань Рокоссовской фигуре отдай!  
 Видел, стоял очень близко.  
 Встал Рокоссовский у старой школы.  
 Бил Рокоссовский тростью по липам,  
 Как по моим кошмарам...  
 Я бы напротив музею  
 Отдал кошмары следом,  
 А тут бы у школы поставил Расею  
 В кителе, сшитом соседом.  
 Я бы поставил памятник тут,  
 Сделанный фронтовиком.  
 Тоже сосед мой!  
 Годы идут,  
 Не успокоюсь на том!  
 Все говорят, мир из идей.  
 Кружится шарик, неистов.  
 «Филипп» с латыни – любящий лошадей.  
 А Рокоссовский когда-то был кавалеристом.

\* \* \*

Приехали мы с дедушкой к тете Дусе во Львов, это после войны. Ее мужа, контуженного офицера, демобилизовали там, перед границей. Гляжу, а моя сестра Лида уже в институте учится. Взяла она меня, пацана, к себе в студенческую колонну - на демонстрацию в честь Первого мая. Вот идем мы от оперного театра и должны проходить мимо трибуны. А на трибуне – начальство всякое, среди них один в военной форме. Круглолицкий такой и кругловатый весь, лысый, как после был Хрущев Никита Сергеевич.

- Маршал Конев, - перешептываются подружки Лидины.

А я, пацан, был наслышан в войну про него по радио: и

под Берлином он был, и Прагу освобождал. А сейчас командующий Прикарпатским военным округом.

Колонна приостановилась, и я оказался прямо перед Коневым. Встал перед ним на цыпочки и снизу ввысь тянусь, к нему, так и впился в него, восхищенный.

А Конев глядит на меня: «Что это за пацан такой, интересный?» Потом улыбнулся и сделал мне ручкой, пальчиками этак пошевелил. Целый месяц потом снились мне эти самые пальчики маршала Конева, его улыбающееся лицо.

### 5. Тост Чуйкова.

После поездки на БАМ, на Северный Байкал, пригласили меня на 50-летие журнала «Молодая гвардия». В лесном ресторане дело было, в подмосковном Архангельском. От авторов всего двоих позвали: Зульфию – поэтессу с Кавказа и меня из Орла. Тосты всякие произносили, здравицы.

- Поди сюда, - подзывает меня главный редактор писатель Анатолий Степанович Иванов.

Подхожу. Наливают и мне.

- Знаешь, кто это? – показывает мне Иванов на военного рядом - орденов на груди полный иконостас.

- Знаю, - говорю. - Чуйков – командующий 62-й армией в Сталинграде. Как Чапаев, тоже Василь Иванович...

- Ого! – раскрыл глаза маршал Чуйков и кивает на меня писателю Иванову: - А кто это?

А Анатолий Степанович улыбнулся и говорит:

- Наш человек, молодогвардеец. Только что с БАМа вернулся, будем печатать его рассказы.

Маршал Чуйков, живо вставая:

- Дорогие товарищи! Предлагаю тост за этого молодого человека (за меня то есть)... Говорят, наша надежда в литературе...

Так и прозвали после меня «надеждой». Греет душу и к людям любовь создает, этот самый Василий Иванович – как бы в одном лице сразу из двух войн: гражданской и Великой Отечественной... На одну букву: Чапаев в Чуйков.

## **6. «Художественное видение».**

После Всероссийского творческого семинара в Туле, где я, орловец, признан был первым прозаиком, а от Воронежа – Вася Белокрылов, от Курска – Игорь Лободин. Рекомендацию в Союз писателей давал мне руководитель семинара Проскурин Петр Лукич. Помню, кто-то мне и скажи: «Ты – де человек из народа, а Проскурин все сидит по президиумам, все в начальстве». – «Ну, и что, – говорю. – За талант давал. Написал так: «За художественное видение мира, как явление в литературе». Сколько времени уж прошло, а фраза та все душу мне греет и иллюзии создает.

## **7. Мой прадед – из чумаков.**

Да, забыл еще сказать про Толстого. Дедушка мой Герасим Макарыч вспоминал. Говорит, шла когда-то Крымская война. А дедушка его был тогда чумаком, на возах возил туда хлеб, а оттуда – соль. Вот повезли чумаки хлеб в Крым; везли, везли – Севастополь.

- Стоп! – говорят им. – Туда нельзя, там бой.

Стоят чумаки на бугре, а там ружейная пальба, артиллерийская канонада. И вдруг все как рукой сняло. Выскочил оттуда, из самого пекла, русский офицер, поставил коня свечой:

- Вперед, мужики! Ребятюшки, деды! Без хлеба не бывает победы!

И ускакал обратно в сражение.

- Кто же это? – спросили чумаки после про того офицера.

- Граф! - ответили им. – Лев Толстой...

С той поры имя это и прицепилось к нашей семье. Мы такие: корни крестьянские – из чумаков. Как из фракции Госдумы – «Либо Толстовцы – Крестьяне, либо ЛТКР».

## **8. И еще про Льва Толстого.**

Был праздник во Мценском районе, на Фетовской поляне, – «за околицей», называется. Это за самим Мценском, по-крестьянски - в Козюлькино, а по-нынешнему – в Ново-

селках, где Фет родился. Стихи читали, начальство из себя выходило, воздушный шар на веревке запускали, но главное – я с потомком Льва Толстого познакомился. Тоже граф, тоже Толстой, но Владимир. Жил в Италии, а тут вернулся на Родину и директором теперь он музея в Ясной поляне. До сих пор слышу голос его, как звал он меня к себе – к зеленому холмику, в родовое имение Льва Толстого. Все собираюсь к нему в гости, так на душе хорошо.

### 9. И еще про писателей.

После Всероссийского семинара в Туле взяли нас с Васей Белокрыловым – двух молодых прозаиков - к себе в автобус писатели Виктор Петрович Астафьев и Носов Евгений Иванович, они на Куликово поле ехали. Завернули мы под Новомосковск, к истокам Дона.

- А теперь изопьем Дону великого, - сказал Евгений Иванович у Иван – озера, откуда вытекал тогда этот самый Дон Иваныч.

Вышли все мы испить Дону Иванычу, кроме одного, с тюркской фамилией.

- Это я так на «вшивость» проверяю, - засмеялся Евгений Иванович. – Кураторов наших, начальство литературное.

Подвыпили маленько. И запел я песню «Русское поле». Вот дышалось легко по дороге на Куликово поле! Все вместе пели про Русское поле и даже тот, с тюркской фамилией, от которого мы теперь тоже освободились в душе, как от татаро-монгольского ига.

### 10. Ольгины перспективы для меня.

Московская писательница Кожухова Ольга Константиновна была тоже руководителем нашего Творческого семинара. Фронтовичка, медсестрой в войну была, раненых с поля боя вытаскивала. Уважаю! Ольгу Кожухову – среди прозаиков, Юлию Друнину – среди поэтесс...

Вот только сейчас стал понимать, до чего тонка была натура у Ольги Константиновны, до чего была она доброжелательна. Собралась ее группа ехать в Ясную поляну, а я уж

там раза три был. А тут оказия – на Куликово поле едут, зовут и меня. Ольга Константиновна все поняла. После дома меня принимала. Все учила, как есть, пить дома «на серебре». Сама с мужем только что в английском посольстве на Дне рождения королевы была принята. И меня учила, как держаться за такими столами...

Только сейчас дошел до меня смысл ее намека. Принимали и меня после за подобного рода столами. Фронтовичка Ольга Константиновна была с восемнадцати лет на войне, такая повесть у нее есть замечательная «Двум смертям не бывать», а советовала мне читать Кнута Гамсуна, а он был ведь «коллаборационистом». Зато писатель каков! Какова тонкость, стилистика у скандинава! Войны проходят, а стило остается, хорошие книги живут.

### **11. Вера в Шолохова**

Был я в Ростове-на-Дону по линии ВААП – по авторским правам. Учили меня там как уполномоченного. И тут случай. Со мной в гостинице оказался шофер из Вешек. По линии потребсоюза. С вечера хорошенько познакомились с ним, песни казачьи пели. Утром ему возвращаться домой. Сосед он был Шолохова, семьями дружили, были в добрососедских отношениях.

- Поехали, - говорит. – Мать моя к Шолоховым, как к себе домой ходит. Представит Михайлу Александровичу, повидаешь классика, пока он еще жив.

Не решился я, совесть одолела. Раз послали – учись на курсах. Ох, ты, Господи! До сих пор лысиной стучу о паркет, так жалею, что не поехал. Дело было про Крючкова – не верил, а сейчас говорят, что восстанавливают мол, эпизоды про восстание в Вешках – этому верю.

### **12. Что значит герой!..**

Открывали последний съезд Союза писателей СССР в Большом Кремлевском Дворце. Глава Большого Союза писателей Георгий Мокеев Марков начал читать доклад и

потерял сознание. Замер зал. А Мокеича от трибуны не отдерешь – прикипел руками. Вскочил за столом президиума ведущий и туда, назад, обращаясь к генсеку Горбачеву: что делать? А Горбачев встал и сюда обратно, к президиуму, рукой: сами, мол, выкручивайтесь.

И тогда поднялся в президиуме писатель Карпов и решительным образом направился к трибуне. Сказал залу:

- Товарищи! Как член Правления я ознакомлен с текстом.

И стал читать доклад. А я подумал: «Вот что значит Герой! Разведчиком был в войну. Звание Героя Советского Союза за здорово живешь - не давали».

### 13. «Последний дюйм».

Этот Карпов дружил с основателем Орловской писательской организации Мильчаковым Владимиром Андреевичем. Мильчаков и зазвал Карпова в Орел, а тот с «клубничкой» явился: привез английского писателя Джеймса Олдриджа. Как раз шел кинофильм по его произведению «Последний дюйм». Такая встреча была эмоциональная в Орловском драматическом театре (ныне тут ТЮЗ – театр юного зрителя). И я, тогда молодой писатель, оказался тоже на сцене, стоял рядом с Олдриджем. Последний дюйм, так сказать, оставался, чтобы сделать шаг и обнять человека по-братски. За замечательную повесть. Это о подвиге мальчишки, посадившем самолет, когда отец летчик потерял сознание. Люди подвига - Олдридж и Карпов. Такие писатели!

### 14. Чингиз Айтматов и Юрий Рытхей.

Завершая съезд, вышли мы из Кремля через Спасскую башню, стоим на Красной площади. Мы – это писатели тогда со всего Союза, русские: Анатолий Иванов, Проскурин, Астафьев, Носов и национальные: Василь Быков, Юрий Рытхей, Чингиз Айтматов... Стоим кучкой, обсуждаем момент, кого там, в новом составе, выберут председателем вместо Мокеича?.. Ждем человека из Кремля, придет и скажет...

Пристроился я, стою за спиной Чингиза Айтматова. Ростом он пониже меня, но коренаст и крепок, сбить его. «На мясе вырос, - думаю я, - а мы тут, в своей серединной, все сидим на картошке»...

\* \* \*

Потом с Юрием Рытхейу я сошелся поближе. Это уже под Питером, когда я был в Доме творчества Комарово. Приехал я туда. Припоздал маленько. И попал я с электрички прямо на кухню. Ведут меня в столовую, сажают на хорошее место – к окну. В макинтоше белом я был тогда, молодой. Думаю за артиста приняли. Рядом Дом творчества был и у артистов.

Оказался я за одним столом с классиком из Чукотки Юрием Рытхейу, а он с русской женой Галей. У них тут, в Комарово, дача, а они сюда ходят обедать. Пригласили они меня после обеда к себе. Сидим на веранде, чай гоняем, а люди идут и идут, потоком. К даче напротив.

- И что там? – спрашиваю. – Медом им, что ли, мазано?

- Анна Ахматова жила, - отвечают Рытхейу односложно.

- Если бы на Чукотке, в бухте Провидения, - говорит жена Рытхейу, эта русская Гала, - и к тебе бы шли. На оленях бы ехали.

- Слушай, - говорит мне Юрий. – Давай на лето поедем в гости ко мне, туда, на Чукотку. – И запел: «Увезу тебя я в тундру – у – у...»

И звук все тянется, тянется во мне – отсюда до Комарово под Питером...

## **15. Через Чукотку в Америку.**

Хотелось бы, конечно, побывать на крайнем Норд-Осте нашей великой страны, да добрался я только до БАМа, до Северного Байкала. Зато проектик такой составил: вот бы магистраль веков куда протянуть: от Байкала на Якутск до Чукотки! А там мост через Берингов пролив (сейчас это можно, например, как у японцев на остров Хокайдо, или

как бы через Гибралтар) и на Аляску. Не океанами традиционно плыть и везти товары из Европы в Америку, а сушей. Удобно, выгодно и надежно. Сколько денег это дало бы стране, скольких бы мы трудоустроили! А тут суют и суют нефтедоллары то на Олимпиаду, то на футбол... Путин сказал, что, если все это свести воедино, то триллиончика полтора наберется. А если в дорогу вложить через Чукотку в Америку, каков был бы эффект? Очевидное, но, кажется, невероятное.

### 16. В фаворе академика Лихачева.

Приехал я с писательского съезда к себе в Орел, и тут на встречу мне Коробков – редактор областной газеты «Орловская правда», Сергей Владимирович.

- Видел тебя, Леонард, на съезде, по телевизору показывали.

- Да ну? - говорю. - Случайно попал. Академик Лихачев Дмитрий Сергеевич сидел, сидел в Президиуме да и пошел в народ. Впереди обычно сидят националы, под телевизоры прутся... А возле меня, у окна, местечко свободное оказалось, вот Лихачев пришел сюда и присел. И тут же сюда поехала телевизионная аппаратура...

- Н-да? – усмехнулся Коробков. – Ну, и об чем ты подумал?

- Если б до сих пор в «Орловской правде» работал, - нашелся я, - ни с Лихачевым бы не посидел, ни в телевизор бы не попал.

- Ну, и что? – говорит Коробков, аж глаза побелели.

- А то, - отвечаю бывшему шефу неукротимо. - Что это академик Древнюю Русь выводит от Киевской Руси? А до того нас, что ли, не было? Например, на Дунае сербы – наши кровные братья...

- Ну, завелся, - усмехнулся Коробков С.В. – «спальный вагон» прямого сообщения. И пошел себе далее по своей железной дороге в почетные граждане города, а я домой к себе на снижение, как самолет на посадку.

### **17. Мой внутренний голос.**

«Короче, короче, - шепчет мне внутренний голос. – Это же короткие рассказы-ки-то».

Ладно. Пойдем далее, короче не скажешь. На порошках музея Бунина в Орле встретил я Гавриила Николаевича Симонова. Он из родственников Константина Симонова, но живет во Франции, в Бордо, ученый-ядерщик, председатель французского общества «Друзья Бунина». Это отец его эмигрировал когда-то во Францию, а Гавриил Николаевич уже там родился.

И встретил я за Поньями, на подступах к Малоархангельску, памятный знак: «Здесь в 1943 году был фронтовой корреспондент Константин Симонов». А сам я подумал тогда: «Кабы он да еще поэт Лев Ошанин оказались у Пухова, на том участке Центрального фронта, что перед самим Малоархангельском, городок, возможно, получил бы известность, весь мир бы его знал». А уж Франция это точно.

### **18. Оригинал и копия.**

Ну, хватит! Все про писателей да про писателей. Разве что еще разок про Пушкина. Вернее, про правнука его – Григория Григорьевича. Был он в Малоархангельске, даже в доме у нас побывал, когда памятник его великому предку в городке открывали. Приглашал я Григория Григорьевича сюда, чтобы все жители тут по-настоящему почувствовали «русский дух». Григорий Григорьевич – копия своего прапрадеда. Говорят, сам Пушкин, проезжая из Орла от Ермолова на Кавказ, был принят тут за ревизора. Гоголю Пушкин передал этот сюжет, и получился «Ревизор» - «все-российская пьеса». До сих пор все тут как и было тогда! Копия! И тут, и даже в Испании. Ставили там «все-российскую пьесу», и все хохотали, особенно где-то в провинции, поближе к памятнику Санчо Пансе и Дон Кихоту.

### 19. Есенинские мотивы.

Это Есенин позвал меня в поэзию. Еще когда я учился в четвертом классе. Попался мне в руки сборник с березками на обложке, так я аж задохнулся от этих стихов. Радость и любовь! Сам попробовал писать. Да так и пишу стихи с этого самого четвертого класса школы. А с седьмого они еще и запелись, на музыку в душе моей стали ложиться.

Сергей Есенин родился в Константиново, на Оке серединой, широкой. Однако частенько переносился мыслью к истокам Оки. И женился на Зинаиде Райх, а была она из Орла, а Орел на Оке – реке. С Фетом Есенин вплотную тут у нас в Орле встретился...

Как-то с орловским Союзом журналистов поехали мы на «уикенд» к истокам Оки. Выше некуда, самый исток, это за станцией Малоархангельск. Водичка из трубочки бежит и бежит, позванивает, разговаривает. И запелись в душе моей стихи Сергея Есенина. Музыка легла на слова, вернее, слова на музыку: «Дай, Джим, на счастье лапу мне». А потом и на «Песнь о собаке». Так свободно, оказывается, кладется музыка на слова Сергея Есенина. Показал профессору Галине Борисовне Курляндской «Песню о собаке» - вздрогнула, говорит:

- Никому не показывай.

Показал Осмоловскому Олегу Николаевичу, тоже профессору, говорит:

- Наоборот, показывай, пусть у людей трепещут сердца. Такие-то сухари, сухарики!

Мнения диаметрально противоположные. А все равно в душе тепло оттого. Всё равно Есенин поётся!

### 20. Запах полыни.

Первого настоящего композитора я увидел в Курске, в пединституте, в актовом зале. Приехал к нам туда композитор Ян Френкель, а его двоюродный брат со своим сыном у нас преподавали психологию. Сел композитор Ян Френкель на сцене за пианино, и я услышал песню «Русское поле». Свой

Малоархангельск увидел, родные поля. Чудо какое-то произошло со мной, сотворилось, так и пою песню ту до сих пор:

«Пусть я давно человек городской.  
Запах полыни, вешние ливни  
Вдруг обожгут меня прежней тоской.  
Поле, Русское поле».

### **21. Пиджак на колосьях.**

Приехал Ельцин к нам в Орел. Повезли его в поле – показать урожай. Снял он пиджак и набросил на колосья. Пиджак так и остался лежать на колосьях. А у меня – песня про жеребенка родилась с такими словами:

«Как выйду за город, в степное раздолье,  
В зеленое поле – просторно-то как!  
Так сердце окатит Россией, любовью,  
На хлебные волны наброшу пиджак.  
ПРИПЕВ:  
Качайся, пиджак, на колосьях зеленых!  
И ты, колыбель моя, вы – берега!  
Заржет жеребенок – талантлив, чертенок!  
И я ему в голос, ага»...

- Центнеров под пятьдесят будет, - сказал Ельцин и снял с колосьев пиджак, одел на себя, застегнулся на все пуговицы.

И как в воду глядел. Теперь на том поле и более собирают. Верится: хлеб насущный нам пропасть не даст!

### **22. Мал золотник, да дорог.**

И вот, спустя годы, а именно, 29 октября 2009 года, к нам сюда, на Орловщину, приехал уже другой президент России Анатолий Дмитриевич Медведев. Но уже не в Орел, а в Малоархангельск – как бы в столицу русского хлеба.

Тут Академия себе базу научно-практическую подготовила – Совещания всероссийские проводит. Рабочую встречу с губернаторами всех хлебосеющих областей провел и Медведев. Представители всех 56 хлебосеющих регионов страны были тут, представляете? Городок-то всего 4,3 тысячи населения. А замах каков – сельскохозяйственная политика страны, говорили, определялась на последующие пятнадцать лет.

В самом деле, городок мал, да удал. Трех первых лиц государства повидал за свою историю. Екатерина Великая, проезжая на Юг, подарила Архангельскому селу статус уездного города. А в незапамятные времена в этих местах скифско-сколотских бывал царь Итаки Одиссей. В этих местах еще когда хлеб выращивали, и через Тамань тот хлеб шел в Грецию, на Итаку. Вскормил этот самый хлеб Платона, Аристотеля, Александра Македонского и др. А через них Греция создала всю европейскую цивилизацию. Вот какова цена нашему хлебу! А мы говорим, мал городок. Мал, да удал. Мал золотник, да дорог.

### 23. Деды и махорка.

«Ну, - думаю, - и кого я еще видел в жизни из первых лиц государства?» А Хрущева Никиту Сергеевича. Проезжал он на открытой машине через Орел на свою малую родину – в Хомутовку, в Курскую область. Ехать в Орле надо было только через Торговые ряды, другой дороги тут не было. Народ собрался в рядах, и мы с женой стоим, глядим на трамвайные рельсы.

И вот кортеж. Верх машины откинут. Никита Сергеевич близко-близко. Лицо у Хрущева какое-то желтовато-землистое. Вроде под южным солнцем было, а какое-то усталое. Ну, как потом я видел у артиста Петросяна, когда тот был в Орле у нас, помню, и переходил из гостиницы «Русь» в облдрамтеатр, шел на концерт... Да, Никита Сергеевич стоит в машине и руку вверх держит, приветствуя. Думали, что он за старым драмтеатром направо повернет, к Дому Советов, где власть, а он прямо поехал. Люди хлынули с обеих

сторон, дорогу перекрыли. Охрана тут же всех раскидала, и кортеж дальше по Комсомольской проследовал.

Говорили, уже перед Дмитровском Орловским Хрущев увидел: дом деревянный мужики строят возле самой дороги, сидят наверху сруба, свесив ноги. Остановился Никита, полез туда к ним по лестнице. Сел и тоже сидит, ногами болтает. Говорит:

- Ну и как вы, деды, тут живете? Не ожидали?

- Да ить царь, – закурили деды махорочки. – Конечно, не ожидали. Так вот с самим царем держаться за руку. От вас, Никита Сергеевич, усяво ожидать можно!

#### **24. Мой гениальный читатель.**

Ну, и артисты они – эти первые лица! Чего только не отчебучат. В самом деле, всего можно от них ожидать.

- Но только чего не могут, - сказал мне один тут читатель мой - прораб Петрушин из малоархангельского «Прогресса», - так это крепостное право отменить.

- Как это, - говорю, - не могут? Еще Александр Второй в 1861 году отменил, слава богу. А через сто лет, в 1961 году, Хрущев паспорта крестьянам дал, и крестьяне те в город поуводрали.

- Ну и что? – сказал мне Петрушин – голова, дом его самый красивый в округе. Целый показательный поселок возвел он в малоархангельском Костино вместе со школой образцово-показательной – «потемкинскую деревню». Это Строев, когда был губернатором, дал команду построить, чтобы было что показывать сельхозакадемикам из «Агро-Щелково».

- Ну, и что! – повторил Петрушин уже с нажимом в голосе. – А что же в столицы-то нас никого не пускают, особо в Москву. То прописку не давали, а то квадратные метры миллиончики теперь стоят. Жизнь другая в столицах, по-лучше. Денежек побольше. Вот туда провинция из своей глухомани и прется, а ее не пускают. «Крепость» такая наложена... И где же, как говорится, Свобода, Равенство и

Братство? Свободы ехать в столицу нет, значит, и Равенства нет, и какое тогда в таком случае Братство? Извините, подвиньтесь... Как сказал в Сколково Медведев, могут в будущем снова оказаться гражданские убоицы...

- Делать же что-то надо, - сказал напоследок Петрушин-прораб. – Вон в Бразилии столицу из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа перенесли. И ничего себе, летают чиновники туда-сюда самолетами.

### 25. Анна Каренина.

Так я хотел сказать про артистов, а свернул опять же на строителей жизни. И все же давайте про артистов, про таких артистов – кого я в жизни воочию видел. Ну, например, в Курске, еще в молодые годы. Первой из таких видел воочию Аллу Константиновну Тарасову – артистку МХАТа, она играла роль Анны Карениной.

Говорили, когда она ехала в Курск, везли за ней несколько вагонов реквизита всякого, костюмы и прочее. Да еще и сами артисты, сколько всего, весь театр – целый поезд. А сейчас? Тыр-пыр, туда-сюда. Все по дешевке. Надежда Бабкина едет со своим молодым мужем – ни ансамбля тебе, ни тем более оркестра каких-нибудь народных инструментов. Под фонограмму, и все. Называется, «кара-оке». А то и вовсе петь не надо. Кто поймет-то, что это фонограмма звучит, а ты только губами перебираешь? Главное: грохоту побольше, чтобы аж в ушах щекотало.

А проверить некому. Как бывало когда-то, когда существовало агентство по авторским правам – ЮЗО ВААП (Юго-Западное отделение Всесоюзного Агентства по авторским правам), что было в Ростове-на-Дону.

### 26. «Умирующий лебедь» Сен-Санса.

И еще про великую артистку, увиденную тогда в Курске, в старом драмтеатре. Это про балерину Майю Плисецкую. Как же я пробрался туда, на концерт к ней, когда билет до-

стать было совершенно невозможно? А через друга моего Игоря Шевченко. У него знакомый был кочегаром в театре, так через его кочегарку. И на галерку.

И с галерки, сверху вниз, врезался взору моему навсегда этот свернувшийся на сцене цветок. Майя Плисецкая под музыку Сен-Санса. И потом, когда переводил я с французского «Умирающего лебедя» Стефана Малларме, возник и стоял перед глазами тот образ Майи Плисецкой на сцене. И переводилось легко, музыкально, в смятенной груди.

### **«Умирающий лебедь» Стефана Малларме.**

Не знает высоты, на юг не улетает,  
Он тут всегда. А пруд сковало льдом.  
Он хочет пить, он бьет по льду крылом,  
Но льда его крыло не пробивает.

Он – Лебедь, он встречает смерть на льдине.  
Зима пришла, сурова и седа.  
А он все тут – на милой на равнине,  
Откуда все летят, когда зима сюда.

Тряхнет он шеей – тонкою, лебяжьей  
И не стремится ввысь, слабее силы вражьей.  
Крылом не одолев земного притяженья,

Он сел на пруд, чтоб тут заиндеветь.  
В плену у льда, исполненный презренья,  
Свободный – на свободе умереть.

### **27. Цветы Надежде Павловой.**

И еще про балерину. Но это уже в Орле, в горсаду, в киноконцертном зале «Юбилейный». Самое яркое, что осталось от этого, так это то, что сынуля наш семиклассник Игорь осмелился выйти на сцену и вручил ей цветы. И прекрасная балерина Надежда Павловна чмокнула его в щечку. Мне кажется, это слышали все.

### 28. «На ниточке одной».

А на другое лето там же мы слушали моего любимого баса Бориса Штоколова. Он пел русские романсы.

«Только раз бывает в жизни встреча,

Только раз судьбою рвется нить».

Для выразительности, чтобы лучше от груди шли обертоны, он распахнул свой фрак, а мне казалось, еще шире распахнул свою русскую душу. И «нить» эта потом проявилась в стихах моих самым неожиданным образом, в таких строках авторской песни:

«А предо мной все пращуры, все лики,

Все сотни лет на ниточке одной».

*(«Моя деревенька»).*

### 29. Рыжие пальчики на фортепиано.

И далее эта «ниточка» вон куда протянулась: в фортепианную музыку. И был у нас в Орле пианист Эмиль Гилельс. И слушали мы его во Дворце железнодорожников. Ближе к сцене с женой мы сидели. И вышел он к краю сцены цветы брать, и мы с женой увидели, что пальчики у него коротенькие, с рыжими волосинками.

- Как же он такими коротышками звуки волшебные извлекает из фортепяно? – удивились мы.

И после в Одессе, куда «дикарями» приехали мы потом отдыхать, на 14-ю станцию Большого Фонтана, стоя на пирсе, пели мы эту местную, одесскую песенку с превеликим энтузиазмом:

- Емеля Гилельс – кто ж его не знал?

Его все звали просто Милька рыжий.

Порой он за Одессу забывал,

Ему все больше Лондоны, Парыжи.

### 30. Святослав Рихтер.

Из всех концертов, на какие мы с женой бывали в молодости, самое яркое – это то, как и где мы видели и слушали

другого, может, самого великого пианиста всех времен и народов, - так это самого Святослава Рихтера. Да еще при каких обстоятельствах! Тоже в Орле и в том же Дворце железнодорожников.

Друг мой Юра Поздняков – профессиональный музыкант – позвонил мне и сказал:

- Рихтер будет в Орле! Едет за границу, хочет свой концерт на нас попробовать!

И Юра достал нам три контрамарки. Мне, жене моей и сынуле нашему Игорю, он тогда учился в детской музыкальной школе, по классу фортепиано.

Контрамарки были с правом сидеть на сцене. Да еще прямо за спиной у маэстро. Надо же! Так он разрешил организаторам этого концерта. Выходя на сцену, маэстро сначала кланялся нам, а потом уже залу. И после каждой вещи тоже сначала нам кланялся, а потом уже залу.

Вот он присел за инструмент. Пауза. Замер, проходя воображением все произведение – весь в вихре будущих звуков, в соответствиях пальцев и клавишей. И вот эти пальцы на этих клавишах – длинные, благородные, нервные пальцы и в то же время величественные... Вот же они перед нами, вот...

Слышали после по радио: за границей у Рихтера был фурор. Выступал маэстро и на родине Ван Клиберна, но все это было потом, а мы у него были первыми и дышали на сцене ему прямо в затылок. Были с ним заодно, как родные.

### **31. Святослав Рерих.**

А это был уже другой Святослав – Рерих. Святослав Рерих-художник. И встретились мы с ним в Москве, в Третьяковке. Шли с другом моим скульптором Валентином Чухаркиным (у него мастерская была тогда рядом, на улице Пятницкой) и, как на скалу, наткнулись. Прямо перед нами вдруг они – Рерих, сын. И жена его – в красном. Как на картинах его, на портретах. Остановились мы на миг да и простояли часа полтора. За разговором о Гималаях и Шам-

бале, о Будде и ранних христианах. Не будь этой встречи, я, скорее всего, «Прометеи» бы не написал. Про Прометея, сидящего на скале Свободы.

### **32. Бутерброд с красной икрой.**

И еще один момент, связанный с писателями. Был я в Доме творчества «Перedelкино», как раз тогда, осенью 1986 года, когда мой сын учился на ВЛК – Высших Литературных Курсах. Дело бы под Октябрьскую. Почему резче запомнилось? Да потому что к праздничному обеду подали плюс бутерброд с черной икрой – каждому. А одному человеку дали бутерброд еще и с красной икрой. Это был поэт Саша Красный, известный по нашему революционному прошлому. В тот день в «Известиях» была опубликована его статья – воспоминание о штурме Зимнего.

Сам Саша Красный был уже настолько древен и ветх, что передвигался по главному корпусу, опираясь ладонью о стеночку. Родственников у него не было, и Дом творчества был ему, видимо, богадельней. В такие годы дворцы штурмуют лишь в воображении.

### **33. «Родину не продаю».**

Был я у матери Василия Шукшина в Бийске на другой год после его кончины. Мать, узнав, что я, побывав до того в Сростках, собираюсь писать о Василии, встречала меня как сына. Приготовила угощение – любимые блюда Васиных: рыбный пирог с сурожкой, draniki – оладьи из тертой картошки. Я с удовольствием угощался у Марии Сергеевны, а сам почему-то думал о Чингизе Айтматове - человеке крепком, осадистом, авторе «Буранного полустанка», о его герое «манкурте» - человеке без родины. И о нашей с Василием Макарычем малой родине, наших райцентрах, о словах Шукшина, его доме в Сростках, сказанных прежде: «Родину не продаю».

**34. «Я помню чудное мгновенье».**

И вот еще о встреченных мною людях, жизнь которых была так или иначе связана с писателями. Например, Гейченко – первый смотритель Пушкинского музея в Михайловском – родовом вене Пушкиных. Праправнук великого Пушкина Григорий Григорьевич четко обозначил свой пушкинский профиль в Москве на беломраморной колонне Дома Союзов, когда Гейченко выступал с трибуны перед писательским съездом. Он просто глазами ел этого Гейченко, как будто знал, что видит его в последний раз.

А мне почему-то виделась аллея из елей в Михайловском, названная «Аллеей Анны Керн». Там поэт встречался с Анной Керн (урожденной Полторацкой), а тут в горле застряли слова «золотого романса» и не могли продыхнуться: «Я помню чудное мгновенье....»

**35. Радость и любовь.**

А это у меня на столе есенинские очки. Их оставил у меня на квартире в Орле директор музея в Константиново Астахов Владимир Исаич, когда был у нас в городе, в Тургеневском музее, в командировке. И очки его подошли мне по диоптриям. И хорошо же мне в них пишется!

А познакомился я с Астаховым там, в Константиново, куда мечтал попасть всю свою жизнь. А попал тогда, когда ураган тут случился. Настоящий, свирепый. Торнадо. Ломал деревья, сносил крыши домов. Снес крышу и с дома-музея Кашиной. А потом мы сидели с Владимиром Исаичем какие-то опустошенные. И вдруг я запел, пою себе потихонечку, стал петь свои песни на слова Сергея Есенина. И так щемяще было нам, так хорошо, невыразимо близки мы вдруг стали друг другу, что я насмелился прочитать и свои стихи. Немного чего из своего я помнил тогда наизусть, а эти вот помнил.

### «Сарматы».

Сарматы кочевали по степям –  
Сыны ветров, нечесаны, лохматы.  
Гоняли дроф, копытили бурьян,  
Пасли коней, - на то они сарматы.

Сидели вечерами у костра,  
Огонь им красил бронзовые лица.  
И мысль была упруга и густа,  
Как молоко в жеребой кобылице.

Там – за степями – холод, злоба, тьма.  
Все плохо, что сармату непонятно.  
А где-то уже строили дома,  
Трубу вели на солнечные пятна.

А где-то возвеличивали трон,  
Кого-то фараонами венчали.  
И подданные, тужась испокон,  
Златые троны спинами качали.

А тут шумел, тревожил синий лес.  
В нем, топком, племя русских и бесстрашных.  
Не боги, не сошедшие с небес,  
Но верят в солнце, пашут свои пашни.

Кремень, как кратер. Кратки, как скакун.  
Такого близко видеть лучше мертвым.  
Сидит сармат – нетесанный валун,  
Седой курган, задумчивый и гордый,

Весь свой ковыльный озирает путь...  
Горел костер. Варились жеребята.  
Сармат ладони жирные о грудь  
Отер, вздохнул – на то они сарматы.

Дрожала степь от криков и телег.  
 Жила, жестоким полымем объята.  
 Ему свое казалось лучше всех,  
 И только пыль осталась от сармата.

И лишь курган. В кургане грозный трон,  
 Охранное оружие из стали.  
 И, мертвый, правит мумиями он,  
 Пока живые прах не раскопали.

Потом в себя уставясь, как в чурбан,  
 Вновь над курганом возведут курган.  
 И, хоть отковылились ковыли,  
 Сарматами все тянет из земли.

Все тени кровь кипучую тревожат.  
 То бросят вскачь, то тут же и стреножат.

Владимир Исаич горячо обнял меня и принялся дарить большие фото есенинские мест в Константиново. И это теперь для меня как реликвия. На одном из фото домик Есениных, что напротив музейного дома Кашиной. Девушка в окне, смотрит прямо в тебя. И Астахов, улыбаясь лукаво, подписал: «Сарматка». И далее: «Лене Золотареву – замечательному продолжателю есенинских традиций в поэзии». Какая любовь и радость! Лира невыразимая!

### 36. Автограф Садовниченко.

И еще одного академика судьба послала мне на пути. Были мы с сыном в Москве. «Дай, - думаю, - мы к нашей Лене зайдем – в МГУ, что на Моховой» (она там на психологическом факультете работала). Заходим во дворик, стоим прямо под Ломоносовым, а тут во дворике оживление какое-то. На стене у порошков, что ведут к психологам (это на правом здании), белое полотно. Говорят, сейчас ректор Садовнический будет, открывают мемориальную доску Ивану Ильину - философу.

И тут появился Садовничий с фавором из академиков. Доску открыли, говорили речи о русских философах, об эмиграции, о патриотизме. А потом все куда-то исчезли, а Садовничий остался. Видим, запросто общается со студентами. Подошли и мы к нему. Я сказал, что знавал когда-то «вечного» декана журфака Ясена Николаевича Засурского, разделяю взгляды его. А сын мой Игорь попросил автограф – написать на его монографии. Садовничий на момент задумался и написал: «На память о встрече». Подпись и число.

А когда уходил, остановился в двери на улице с видом на Кремль, обернулся, поискал нас глазами и особо нам двоим поклонился. Вот какое событие было в жизни у нас с сыном! Гreet душу автограф тот Садовничего, полученный у памятной доски философу Ивану Ильину. Когда чуть позже мы показали автограф Лене – нашей родственнице, жене моего двоюродного брата, она улыбнулась и сказала, гордясь:

- А я в девичестве тоже была Ильина.

- Мы такие – орловские! – сказал я, тоже гордясь. Иван Ильин родом был наш, орловский.

### 37. А пятнышко светится.

А то сразу два академика встретились. И где? На Воробьевых горах. У высотного здания МГУ. А дело было так. Задумал я собрать фото памятников писателям по всей Москве. Преуспел в этом деле. Одного Есенина три памятника существует в столице и все в разных концах. А тут прослышал я, что совсем новый литературный памятник открылся где-то – Уолту Уитмену. И в открытии его участвовала госпожа Клинтон – госсекретарь США.

Приехали мы с Игорем на Воробьевы горы, спрашиваем – никто не знает. Может, вон там – в правом крыле высотного здания, где физико-математический факультет? Пришли, смотрим, а это садово-парковая скульптура.

Видим, стоят трое: двое – солидные такие, пожилые – Академики. И помоложе – скорее всего, доцент. Спрашиваю:

- А где-то тут у вас Уолт Уитмен, памятник поэту?

Пожали они плечами:

- А зачем он вам?

Говорю им:

- Вот стоите вдвоем, как два крыла этого здания, а посредине шпиль. Все спокойно, уравновешено, согласно геометрии Пифагора. От древнего Египта. А если вместо того крыла поставить доцента, то получится уже геометрия по Эвклиду...

- Ого! – говорят академики. – И кто же вы такой, интересно?

- Да писатель, - говорю, - поэт из Орла... Что ж вы думаете, все поэты, что ль, должны быть глуповаты? Поэзия – это та же математика. У Пушкина в «Цыганах» 241 строка до того и 242 строки после, а в середине доминанта.

- Ого!! – говорят они. – Ну пойдем к нам, в эту дверь. Пообщаемся.

- Некогда, - отвечаю. - Ехать надо в Орел, билеты куплены.

- Ну тогда вот что, - говорит один, какой посOLIDнее, наверно, полный академик, а другой, скорее всего, член-кор. – Вот туда пойдете, мимо стадиона, до дороги дойдете и направо к метро, тут и смотрите своего Уолта Уитмена... у другого факультета, там спросите... Конкурс был в мэрии: кому у нас тут поставить? О'Генри, Марку Твену или Уолту Уитмену? Вы бы кого выбрали?

- Я лично? Я лично выбрал «Листья травы», Уолта Уитмена. Я даже песню на его слова написал... А вот Бунин перевел «Песню о Гайавате» Лонгфелло...

Ушли мы оттуда, нашли того Уолта Уитмена с его Пегасом над головой. И академики тоже ушли, вошли в свою дверь и исчезли. В Орел мы приехали, а пятнышко светится – от встречи с умными людьми, академиками – тайными знатоками даже поэзии.

### 38. Они были первыми.

Оказывается, издатель мой – Воробьев Александр Владимирович – по рождению ярославский, а по образованию – режиссер. То есть, как говорится, ни в какие стандарты не укладывается. И что из того? А вот что.

- Пригляделся, - говорит он, - я за годы. В Орле, оказывается, движут культуру, литературу в основном не орловцы родом, а где-то родившиеся и тут себе проявляющие.

И еще что говорит:

- Закончил я институт культуры в Орле. Первый набор и, естественно, первый выпуск. Режиссерское отделение. Первые тридцать человек! Набирали со всей страны, даже из-за границы. И вел нас тоже первый – режиссер открывшегося в Орле ТЮЗа. До того он был режиссером в Красноярске - Разинкин Александр Саввич. Ученик главного режиссера Театра имени Советской Армии Алексея Дмитриевича Попова, а тот был любимым учеником самого Станиславского Константина Сергеевича. Вот такая линия выстраивается.

Бывало так. Разинкин как человек одаренный, творческий тянет нас к Станиславскому, а директор института (тогда были директора) – в политпросвещение. Первое время я побывал даже в руководстве Орловского драмтеатра. Из стен института культуры нас вышло 25 человек. До сих пор дружу с Алешей Христовым, езжу к нему в Болгарию...

- Ничего себе, - говорю. - И у нас в «Орловском комсомольце» также: Муссалитин, Подсвилов, ваш покорный слуга, были кто отсюда, из разных весей. Только Вася Катанов, Рыжов – эти отсюда: один – из-под Орла, а другой – из Коровьего Болота... Дронников между городом и деревней мотался...

### 39. «Снежный «барс» и «леопард».

И еще из писателей с кем свело меня на дорогах судьбы, когда я мотался по всей великой стране, это – Брантой Бедюров из Горноалтайска. Познакомился я с ним на одном из российских съездов писателей. Потом он приезжал

сюда к нам в Орел, когда после развала Союза уже тут у нас проводили съезд писателей. Брантой Бедюров нашел время побывать в Болхове, где в одном из монастырей захоронен священник Макарий Глухарев – родоначальник горноалтайской письменности.

В одно время Брантой Бедюров был даже министром культуры в правительстве Горноалтайской республики, когда она была самостоятельной. В Москве, помню, Брантой редкую книжку моей жене подарил. Про себя прозвал я его «снежным барсом» - хозяином горноалтайской тайги. А меня, шутя, зовут иногда «леопардом» - тот же барс, но на равнине и немного другой расцветки. Символ ищут для зимней Олимпиады, может, Брантой Бедюрова подсказать?

#### **40. Миша Воронин – «хозяин тайги».**

Кстати, и еще один «хозяин тайги» вспоминается: Миша Воронин. А как его позабудешь? Так и торчит гвоздем в околосемном пространстве моей души. Думаю, как соберусь еще когда-либо на Северный Байкал, в Нижнеангарск, воспользуюсь его приглашением, наведаюсь домой к нему в гости.

А был тогда я по командировке журнала «Молодая гвардия» на БАМе, в Тоннельном отряде №10. И плыли мы на самоходной барже, тянули за собой две баржи с жилыми вагончиками для строителей БАМа. Половину Байкала прошли – от порта Баргузина до Нижнеангарска. А тут с этими баржами входили из Байкала в реку Нижняя Ангара. Пусто, глухо кругом. Горы вдаль со снеговыми вершинами, впереди неизвестность. Трое было нас на барже, кроме меня, и все трое - бамовцы. А геологи где-то далеко – на второй барже с лошадьми.

Вот уже и закат. Красиво так. Расстаемся с Байкалом, по Нижней Ангаре идти нам до самого Уояна, а далее к тоннельщикам на Северо-Муйский хребет, сквозь который они должны пробивать свой тоннель. Вот подходит один ко мне и за грудки меня хватать:

- Писатель, говоришь? Все вы писатели – шкуры. Вот

сейчас воткну тебе нож в ребра и за борт. Ни одна живая душа не найдет.

Достаёт нож. Идет на меня. А двое других в стороне стоят и молчат. Ситуация. Что делать? И тут меня взорвало.

- На, режь! – рванул я рубаху. - Сына моего потом будешь поднимать, ставить на ноги!

И тишина. Пауза. И кто-то из двоих:

- Едем сюда не столько из патриотизма... на квартиру бы заработать...

В общем, отстранили они того с ножиком, встали на мою сторону. Плыдем далее по Ангаре. Утром пристали к берегу, впереди нас какое-то судно. Появляется капитан того судна.

- Ребята, - говорит, - мотор полетел. Стою вот, а плыть надо. Выручайте.

Познакомились мы с ним и с матросом, тот кино крутит по пути заодно, Миша Володин – хозяин тайги. Взяли мы их «корабль», тяжело тащить стало. К полудню причалили к берегу – село какое-то перед Куморой.

- Тут сестра моя живет, - сказал капитан. - Идем в гости.

Погостили хорошо. Полсела сошлось, до песен добрались. Тут я себя и показал. Пел, как будто вчера только, как и мать моя, вышел из деревенского хора Пятницкого. К вечеру возвращаемся на баржу. Миша Воронин и говорит:

- Отплывете километров с пяток и к этому берегу станьте. А я вас найду...

Так и было. Причалили, к ночи готовимся. Глухая тайга, диковато. И пьяноваты мы. Тут голос с берега:

- Ребята! Киньте чалку...

А мы в вагончике на барже. И двери не открываются, в окно лазим, когда входить – выходить. И этот, что с ножом ко мне лез, говорит мне:

- Не смей вылезать. Сиди...

А я вылез. Гляжу: в самом деле Мишка Воронин. Разделся догола, белеет телом на берегу. Скрутил одежду ремнем в тючок и за чалку ухватился. А вода в протоке меж баржей и берегом прет аж жутко, вся перевивается. Вырвала Мишкин тючок и унесла. Мишка кричит мне:

- Тяни чалку!

Я тяну. Подтянул Мишку к самой барже, а у нее нос ввысь задран, больно высок. Мишке никак не взобраться, ногу никак не заведет, не перекинуться грудью сюда через борт. А у меня сил не хватает, подтянуть его к себе – борова. Кричу тому, что в окне вагончика:

- Давай сюда! Вылези, помоги!..

А тот глядит сюда на нас и без никакого движения.

- Ну, сволочь! – кричит Мишка. – Сейчас выберусь, я тебе покажу, кто тут хозяин тайги!

А у меня от натуги перед глазами красные, желтые, зеленые кольца. Наконец, я ногу завел Мишке сюда к себе, и он перевалился через борт. И пошло его рвать, сколько воды наглотался...

Потом залез через окно в вагончик, достал бутылку из шкафчика и с ножом к горлу тому:

- Этого, что ли, будем резать?

Тот затрясся. Сидит, смотрит на меня, как сурок.

- Да, ладно, Миша, - говорю. – Хватит тебе, успокойся! Наливай, будем стресс снимать... Чай заваривай – стоячий, сибирский...

Лучшими друзьями стали мы потом, пока плыли две недели по Нижней Ангаре. Сколько историй всяких пересказали друг другу, сколько песен спели. Расставались – собиравались свидеться. Мишка Воронин повел меня уже в Куморе к другу своему – охотнику. Тот открыл кладовку, а там висят шкурки соболя баргузинского – штук, наверное, триста.

- Бери любую, - сказал мне Мишки Воронина друг. – Жене подаришь.

- Бери, бери, - хлопал по плечу меня сам хозяин тайги – Миша Воронин. – Адрес мой в Ангарске такой: живу на Верхней улице, в гору если идти...

А у меня звенело в душе: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» И голос Леонида Утесова: «Ты – одессит, Мишка»...

- Не за тем сюда ехал, - сказал я ребятам и закрыл вопрос.

И когда я вернулся в Москву и рассказал молодоговардейцам кое-что, во фрагментах, главному редактору Анатолию

Степановичу Иванову, тоже сибиряку, и подал ему уже написанную мной документальную повесть в рассказах про Тоннельный отряд №10, он сказал:

- Ну, вот и писал бы про тот случай на барже, про Мишку Воронина и баргузинского соболя.

- А какой отдел посылал меня в командировку? Публицистики. Вот я перед ними и отчитался.

И вот после долго перерыва, в порыве нахлынувших чувств, я снова начал писать стихи:

«Медведь пугнул оленя у ключа,  
Метался, тонконогий, от медведя.  
Рога ветвями стлались по плечам,  
Копыта колотили гололеде»...

«Мишка, Мишка! Где твоя улыбка?» – поется в моей душе. И я посылаю туда, в Тоннельный отряд книжки. Посылал несколько раз, целые библиотечки шли на Байкал в моих посылках, а Мишке Воронину передавал всякий раз пламенные приветы.

### 41. Дух «Санта Лючия».

И еще немного о музыке. Проводили мы в Малоархангельске, в детской музыкальной школе, литературно-музыкальный вечер, посвященный Пушкину. И, прежде чем перейти от его стихов к романсам на слова поэта, я сказал:

- Позавчера, вы знаете, не стало Муслима Магомаева. Он прекрасно пел неаполитанские песни. А я их люблю. В память о нем я спою вам «Санту Лючию».

- В душу врываются звезды земные,  
Санта Лючия! О Санта Лючия!

И тут случилось неожиданное. Бывает же, нарочно не придумашь. Подходит ко мне Ольга Эминбейли из районной газеты «Звезда» и благодарит за песню как-то особо трогательно.

- Мы с мужем, - говорит она, - приехали сюда жить из Баку. Там заканчивала университет, а муж мой учился с Муслимом Магомаевым не то, что в одной школе, а даже в одном классе, одноклассниками они были.

И теперь, как я прохожу в Малоархангельске своей улицей, мимо этого дома, мимо редакции, дух Муслима Магомаева витает как будто тут и уносится с «Санта Лючией» в городке этом под самые облака.

#### **42. Если Бог дал талант...**

Слушал я Колю Баскова тогда еще с самого начала, когда его явили миру с президентским оркестром под руководством Овсянникова, и сказал я себе тогда:

- Рановато начал, с двадцати четырех лет, а надо хотя бы под тридцать. Не устоялся голос, мутация еще не произошла. А он сразу в оперу, в Большой театр... Так и вышло. И теперь вот «шарманка» ему высший класс... Оказался Коля на эстраде. Жаль. Да еще и комиков разыгрывает. Больно за талант, который Бог дает человеку...

Такая параллель: Бог дал голос Лючано Паваротти. Прежде был он учителем, профессионально петь начал в тридцать лет и три года. И пел лет до семидесяти. Пока не замерло соловьиное сердце...

Есть в Большом театре замечательный тенор Николай Васильев. Родом из Березняков – небольшого уральского городка. Кто того Колю видел по телевизору? А оперный мир его любит и воспринимает. Николай как солист Большого театра объехал полмира. Свято место пусто не бывает.

#### **43. Под цокот копыт.**

Пел в Орле в киноконцертном зале «Юбилейный» Муслим Магомаев. Кажется, что еще надо? А после него жена его – Тамара Синявская – запела «Черноглазую казачку». И душа моя оторвалась от земли и устремилась в небо...

- Черноглазая казачка

Напоила мне коня,

- запел и я, придя домой, и давай стучать по коленке, выплясывать под мелодию «Черноглазой казачки», изображая этот самый цокот копыт.

### 44. На Шаляпина похож.

А певец Владимир Трошин в телепередаче от 15 мая 2011 года сказал:

- В 43-м году открывали школу – студию при МХАТе, меня зачислили. Война гремит, а нас учат на артистов. Берегли генофонд нации.

И я вспомнил: «В первую мировую поэта Есенина не в мясорубку бросили, а в санитарный поезд послали. Между прочим, медсестрами по госпиталям работали тогда великие княжны, сама императрица»...

Владимир Трошин продолжал:

- Окончили мы школу – студию, а второе поколение мхатовцев еще в силе. С мягкостью характера, без острых локтей актеру делать на сцене нечего... Ну, я и запел, будучи драматическим актером. Все знают, как прогремели «Подмосковные вечера»...

И вот в Москву едет знаменитая Марлен Дитрих И выбрала она петь меня, Трошина. Первое отделение я пою, второе – она. Ну почему?.. Напал на меня однажды мужик где-то на улице вечером. Пригляделся ко мне: «Утесов! Ой, простите, извините! Зарекусь, детям скажу»,.. Оглядел я Трошина тут по телевизору и подумал: «Да не на Утесова ты, Владимир Трошин, похож, а, скорее, похож всем обликом на Шаляпина. Тоже наше национальное достояние».

### 45. «Прометеево племя поэтов».

Шукшин не спит ночами напролет.  
Перо. Бумага. Воск на свечке тает.  
А кто-то скажет, пустит на народ:  
«Сидит, как сыч. Все денежки клепают».

И так всегда. Про нас таких. Как вмажут.  
Но про меня и этого не скажут.  
Я в тишине ночной, и у меня  
Свеча горит, видна и среди дня.

От духа звезд, от цокота коня,  
Пегас летит, все небо пламеня,  
Дар свыше, с Прометеева огня.

#### 46. К Свиридову, для укрепления духа.

Еще раз про Игоря Шевченко, с которым мы «Русское поле» Френкеля слушали. Так вот, учился Игорь на физма-те, а дома у него мы прошли обучение как бы в «народной консерватории». Заканчивать институт, на госэкзамены идти, а он не идет на них. Получишь диплом, в деревню ехать на целых три года придется, диплом отрабатывать. Девчат из группы деканша за ним присылала, сама пришла:

- Игорек! Ну что ты – пять лет проучился и коту под хвост?

К Свиридову, говорят, он съездил в Фатеж, на его малую родину, откуда тот родом. Словно «хадж» совершил. Только тогда и пошел на госэкзамены. Что будет, то будет, была не была.

#### 47. Лановой в Синяевском.

Дача у меня во мценском поселке Синяевский с давних времен, с тех пор, как пошел я в народ. И вот появился там Василий Лановой, известный артист. Сказали мне про это, так сначала я не поверил: зачем ему, думаю, глухомань наша, этот «стольпинский отруб»? Потом жена его явилась – Ирина Купченко. Ничего себе! Быстро сварганили Лановому этот сруб деревянный. Да и сам он посидел на бревне поначалу: стружку витуую гнал самолично. Пока ГКЧП это в Москве не свершилось. И я за первый роман в стихах об Арсении Чигринева принялся. С таких строк начал:

Так вот, сидел Арсений на бревне  
И стружку гнал на диво всей родне.  
То стружку там, то стружку тут –  
Пусть знают, помнят, сознают.

А когда дальше пошлю – поехало, так вместо Купченко

лирическому герою я Татьяну Шмыгу в романе подсунул. Шмыгу я давно любил – диву оперетточную, королеву бала. А к Купченко так и не привык. Все как-то стеснялся за содеянное в романе.

#### 48. «В трех веках живу...»

И еще скажу про одного художника, встреченного на пути. Пригласили нас Союз журналистов России и московская Мэрия к Дню Победы туда, в Москву, нас – это пятерых из Орла, в том числе и меня. Знак журналистский дали в честь трехсотлетия российской печати еще от Петра Первого, подарки преподнесли, на концерте в Кремле мы побывали. И вот торжественный обед в ЦДЖ – Центральном Доме Журналистов. Сели мы в зале по-русски: вместе, за два большущих стола. За одним – вся московская знать, а за другим мы – провинция, ну еще кое-кто из наших в Москве и еще москвичи, но поскромнее. За первым столом оживление, апломб – лауреаты всяческих премий, в том числе и Ленинской, например, Василий Песков. А у нас тишина. Глянул я: передо мной на том торце стола сидит дедок такой со Звездой Героя Соцтруда. Как и я, тоже знак получил.

- Кто это? - спрашиваю я тех, что сидят возле меня.

- Художник, навроде Кукрынисов, - Борис Ефимов. Нюрнберский процесс освещал.

- А-а, - говорю, - это навроде Бидструпа, «пляшущие человечки»?

И говорю ему все это через весь стол. А он смеется и в ответ:

- В трех веках живу: родился - в XIX веке, двадцатый пролетел и теперь вот в XXI-м. Сто три года мне.

И тут же у меня созрел план. Поднялся я и тост провозглашаю:

- За вечную молодость, за Победу, за художника-героя мира и войны Бориса Ефимова!

Все вскочили, а он первый, да еще и кричит сюда к нам через весь стол:

- За любовь! За женщин красивых, которые сидят по обе

стороны от вас (это от меня по обе стороны – наши, орловские журналистки). Вот за них!

Гам у нас за столом, гвалт прямо-таки, веселье.

- Ничего себе дед! Вот дает!

А за первым столом – тишина. Слушают, что это у нас тут творится?

Я кричу:

- У нас тоже в Орле есть такой долгожитель – Курдяндская Галина Борисовна, ей уже девяносто!

А Ефимов мне через стол:

- Так она еще молодая.

- Конечно, все познается в сравнении, - подошел к нам Василий Песков из первого стола.

И тоже поднял тост и за Бориса Ефимова, и за наших прекрасных женщин из прекрасного города Орла.

Вот такая история произошла у нас не так давно перед Днем Победы в Москве.

#### 49. Сын генерала.

- А нельзя ли что-нибудь еще про войну? - сказал мне в другой раз читатель. – Раз уж Дня Победы коснулись и Нюрнбергского процесса.

- А что, можно, - сказал я и стал мозгами шевелить, серое вещество а мозгах активизировать. И вспомнил еще один такой удивительный случай.

Это было несколько лет назад, когда в Туле существовало Приокское книжное издательство. Вот они, туляки-иезуиты, там себя издают, а у нас тут, по зонам (Орел – Брянск – Калуга) совещания проводят: дескать, «одобрямс», а как же? Вот на такое совещание в Калуге и нас, орловцев, пригласили. Провели официальную часть, а потом вышли в коридор передохнуть. Гляжу я на мужика – зав. Калужским отделением Приокиздата – и такое что-то невообразимое мне в нем показалось, из далекого детства.

- Вы, - говорю, - по фамилии не Пухов ли?

- Пухов.

- А отец ваш не генералом ли был?

- Генералом.

- Ну да! – завопил я. – Генерал Пухов – командующий Армией Центрального Фронта Рокоссовского, что сражался за Малоархангельск... Видел я его, видел! Летом 43-го. Июль, жара. Самое пекло. Мы, малоархангельские жители, эвакуированы в село Луковец. Там Сосна-река, и мы, пацаны, рыбу и раков в ней руками ловим. Подъезжает зеленый «виллис». Выходит генерал – пухленький, небольшой такой. Разделся и в речку бултых, один наш солдат – автоматчик на берегу возле одежды остался: мало ли – фронт близко, немецкая разведка шныряет. А другой – возле генерала плывет (а то еще и из речки генерала в кусты утянут)... Вот так! Освежился генерал Пухов и уехал в сражение, в самое пекло битвы за Малоархангельск... А я его сына вот через десятки лет узнаю!

Обнял калужский Пухов меня от души и засмеялся. И домой к себе позвал. Сын у него тоже военный. Из Германии его переводят на Дальний Восток, так он все свое барахло у отца тут, в Калуге, оставил. А сам уж уехал на новое место службы.

И запел я песню-романс, который слышал тогда, в 43-м, от наших военных:

- Осень. Прозрачное утро.  
Небо как будто в тумане.  
Ясная даль перламутра,  
Солнце холодное, дальнее.  
Где наша первая встреча?..

И тут же заскользили все в танце. Танго, танго! Танцуем евразийское танго!

- Не уходи, тебя я умоляю,  
Слова любви сто крат я повторю.

### 50. «Маруся! Город мы не сдадим».

К Дню Победы я обычно приезжаю в свой Малоархангельск. Прихожу в сквер – ныне Парк Героев, с вечным огнем. И читаю стихи, и рассказываю молодым о войне. И знаю, капитан Евдокимов (начертано тут на крайней пра-

вой плите, третья фамилия снизу), конечно, слышит меня. Уходил он тогда под Сабурово, а майор Лисунов – под станцию Малоархангельск. А матери моей, что подшивала им воротнички перед тем, как приехать Рокоссовскому, на память оставили фото. Майор Лисунов написал: «Маруся! Город мы не сдадим». И легли оба. И лежит: майор Лисунов где-то у станции, на подступах к Малоархангельску, а капитан Евдокимов тут, под этой плитой. Я, знаю, он меня слышит. Как и я слышу его через годы, века... Слезы давят, не могу говорить...

### **50а. «С лейкой и блокнотом».**

Решил я подвиг Фронта Рокоссовского увековечить, по возможности, все окрестности Малоархангельска сфотографировать. Начал с Упалого, где имеется церковь. Поехал туда на автобусе, вышел за Костино на остановке и пошел на Гнилую Плоту. И тут заморосило. Переждал я дождик в магазине и – в Упалое, к церкви. А оттуда назад к автобусу, да левее взял – все полями, полями. И заблудился. Попал в Курскую область, в Поньровский район. Едва выбрался к вечеру. На закате уж добирался до Костино.

В 12 часов полдня на Упалое пошел, в час ночи до Малоархангельска домой едва дотащился. Пиджак, обессилев, уж волок, как мешок, за собой по дороге. Посчитай, сколько намотал по раскисшим полям да еще с большими ногами, получается километров под семьдесят. Зато точно знаю, направо от Поньрей немецким танкам не пройти было – холмы, овраги, горы - прямо-таки, танконепроходимое место. Значит, главное направление у немцев при наступлении от Поньрей было на Малоархангельск, а там по степи до Колпны, а с Колпны на Щигры, и замкнуть колечко с юга за Прохоровкой, за которую они зашли уже на 35 километров. Вот тебе был бы и Курский «котел».

Весь Центральный Фронт я почти пешком обошел, кое-где только подъехал. От Ольховатки (где была армия Галанина) до станции Малоархангельск, а дальше Сабурово –

Панская – Алексеевка (армия Пухова). И везде приветливо встречали меня люди, особенно молодежь, все показывали, все рассказывали, едва в ноги не кланялись за то, что своим фотоаппаратом и блокнотом не даю забыть павших. По-другому на многое с течением времени я смотрю теперь: открыв глаза; не так, как бывало, на многое надо ныне смотреть...

### Сын солдата.

Приволье – это в народе так называется, а по карте – Дубовая Роща. А лес дубовый тут называется Мурашиха. Так вот, с детства это знакомые места. Мы оттуда, из блиндажей, на себе бревна возили, чтобы дом построить, немцы сожгли нас, отступая. И торф мы отсюда возили, чтобы печку топить, тоже на себе, аж глаза, бывало, вылезали на лоб от натуги... Восемь лет мне было тогда, а тащить тележку вместе с матерью и сестрой приходилось. И вот я снова в Приволье. Крайний слева дом. Добротный, ухоженный. Мужик еще не совсем старый, но в возрасте.

- Из чьих будете? – спрашиваю. – Вроде не было такой тут фамилии.

- Из Ивани я родом, - говорит он. - Отслужил в армии и сюда переехал. Чтоб за отцовой могилкой ухаживать. Тут за лесом она – за Мурашихой, в Елизаветино. Отсюда километра полтора – два... хожу через лес...

- Кокоревка называлась, - говорю, - а теперь Елизаветино.

А сам думаю: «Те, что людей тогда тут не жалели, штрафников всяких снопами клали... воображали, что только им отцов своих жалко... а тут вот простой деревенский мужик... сын солдата... а такая душа»...

Посмотрите, сколько лежат тут, на подступах к Малоархангельску. Обозначены сотни, роты, полки. А фактически по две дивизии в день погибали. На подступах лежат более населения нынешнего Орла...

**506. Иван да Марья, Богдан да Дарья.**

Раз уж начал про крестьян, про простой народ, так продолжим. У меня и тут друзья есть - из мценского поселка Синяевский, где у меня дача. Это Тихоновы Нюра и Иван, Иван и Нюра. Не знаю, кого первым поставить. Скорее всего, Нюру. Она по сути главный человек в семье, все идеи семейные, жизненные, экономические, даже, я бы сказал, политические идут от нее. Учитель Михаил Егорович Костарев из соседнего села Подбелевец называл Нюру «начальником штаба». У нее прямо-таки нюх какой-то на все новое, необычное, плодотворное, которое теперь зовут «инновациями». Всякие инновации вечно у нее в голове...

Я бы лично назвал ее «премьер-министром» своего подворья, своего крестьянского двора. Посмотрите, как все у нее отлажено, все идет чередом, по порядку. Вот животный мир. Первым делом с утра Нюра кормит свинью, поросят. Потом идет доить корову, задает мешанку, приготовленную с вечера. А кошки уже на порошках сидят по ранжиру – ждут молока. Потом Нюра идет давать уткам, а куры терпеливо ждут своего часу. Петух ходит перед ними как сдерживающий фактор. А пес возле будки только повизгивает, но тоже ждет своего часу. После кур приходит время кормить и его.

И только потом доходит дело до Ивана, до всех людей, до родственников и даже гостей, если они в это время окажутся. Нюра всегда в курсе, что сажать, чего сеять больше, что сколько стоит во Мценске на рынке.

Когда ее мать жива была – Дарья Ивановна, баба Даша, она, бывало, говорила: «Сами съедим, что получше, а городу – что останется». Спросил кто-то Нюру: отчего она, Нюра, такая разумная? Ну, дружила с директором школы в Подбелевце Клавдией Петровной, детей надо было на ноги ставить, у той можно было многому поучиться. Но ведь инстинкт какой-то природный у этой Нюры Тихоновой, как говорится, «нюх собачий» на многие вещи.

Нюра говорит: «Может так? После войны, чтобы детей в школу собрать, матери приходилось самогончку гнать,

продавать ее – на учебники, одежку. А мать взяли за это и посадили». И осталась дети одни, а Нюра старшая, вот и стала она за мать у младшей сестры и брата. Вот где и научилась всему, как выкручиваться.

Нюра абсолютно не жадный человек. Просто инстинкта жадности нет у нее, к людям она повернута лицом. Вот мы с Тихоновыми и дружим уже многие годы, лет, наверное, тридцать. И с дочерью, и, бывало, с внучкой. Со всеми у нее все в порядке.

### 50в. Демьяныч.

Демьяныч – первый мой друг, с которым я познакомился тут, на Абрикосовой пасеке, в этой «орловской Швейцарии», на реке Алешне возле поселка Синяевского. Пасечник. Исключительно разумный, добропорядочный человек, весь клан родовой Демьяныч держал в руке. Все к нему ехали отовсюду – братья и сестры, дети и племянники. И никому ни в чем он не отказывал. Полное имя его – Владимир Демьянович Козырев, а вокруг все звали его просто «Демьяныч».

К Нюре сватался, а женился на Жене – Евгении из поселка Подполовецкого.

Еще подростком в войну немцы угнали его в Германию вместе с Алексеем – двоюродным братом. Много чему он у них там научился: немецкому порядку, целесообразности. Галю – дочь свою – выдал за Игната – русского немца из Казахстана. Появилась двойня: сразу два внука, Демьяныч ими очень даже гордился. И вот Демьяныч стал учить немецкий язык и съездил-таки в Германию, походил по прежним местам, освежил впечатления.

А тут недавно нелепый случай. Индейки у него на раки-ту во дворе залезали обычно. Полез Демьяныч на дерево и упал...

На Пасху ездил я в Подбелевец на могилку к старому другу. Вот у кого учился я многому – доброте человеческой и в то же время, если надо, расчету. Демьяныч! Ты был большим человеком: весь род свой держал, не жалел ни денег

на это, ни сил. Демьяныч! Ты оставил добрый след на земле, вечная тебе память. Сейчас это особенно видно, что значит большая семья.

### **50г. На поле Рокоссовского.**

Крестьянская жилка живет в нашем народе. Проявлялась, бывало, она и в войне. Но сначала о поле под Малоархангельском, в сторону Глазуновки. На подъеме дорога идет - на Орел, тут летом 43-го и был наблюдательный пункт Рокоссовского. Отсюда в бинокль он наблюдал за вражескими позициями, в том числе и за Сабуровским полем, где в одной атаке на каких-то десяти гектарах в одной атаке погибли тогда сразу десять тысяч.

Возвращаюсь я как-то попутной машиной из-под Панской, а тут, на поле Рокоссовского, вижу, много людей. В поле выстроились одиннадцать голландских комбайнов, восемь новеньких КАМАЗов. Вышел я: что такое? Ждут из Орла нового губернатора Козлова Александра Петровича.

Подъехал он, пожал всем руку, в том числе и мне, я тоже стоял там вместе со всеми. И тут же Козлов сел на комбайн и помчался, открывая уборочную. Сказал, вернувшись, что на малой родине у него, в Татарстане, немало лет, бывало, он комбайнером работал. Так что для него это дело привычное. А я чуть позже стихи написал.

### **«Жатва».**

Жатва грянула на Казанской.  
Среди летнего жаркого дня  
На комбайне «летучем голландце»  
Прокатил губернатор меня.

Сел в кабину, я быстренько следом.  
Хлеб пошел! Полетел, поднажал!  
По стерне, по селекциям, «кредам»  
Я, как лось, с километр пробежал.

На подножку вскочил. Дай он выйдет –  
Щелкну! Будет вам фотошедевр!..  
Жаром солнца все смыло. Как видим,  
Кто-то что-то там проглядел...

Вот и чудится все это, братцы!  
Как тогда при стеченьи людском,  
На комбайне – «летучем голландце» -  
Прокатали меня с ветерком.

С того дня по Руси с синим небом,  
К Рокоссовскому полю спеша,  
Благодатного, житного хлеба,  
Ярких праздников жаждет душа.

### **50д. В полях войны, крестьянская смекалка.**

Так вот, чуть левее Рокоссовского поля, ближе к станции Малоархангельск, отсюда видать, и проявилась летом 43-го, однажды в пылу сражения, у наших солдат крестьянская смекалка. И еще как!

Немцы бросили в бой тут новую технику: тяжелые танки «тигры» и самоходные пушки «пантеры». «Тигры» не брал в лоб никакой наш снаряд. Что делать? Саперами у нас, в основном, были крестьяне-механизаторы. А у них смекалка будь здоров! На «фордзонах» ездили, на «ХТЗ-НАТИ» ездили. Черте на чем ездили, а норму давали. А тут как быть? Танки немецкие прут, а позади Малый город – Малоархангельск. Приказ: ни за что не сдавать! И придумали они что делать: смекалку проявили, фантазию. Во-он в том поле немецкие танки идут по полю веером - прямо по бурьяну, бурьян выше пояса. По бокам поля бегают две полуторки - шустрые такие - и таскают понизу трос, а на тросе подвешены противотанковые мины. И подводят саперы-подрывники эти мины прямо под «тигры», под гусеницы. Вон их сколько «тигров» уже запылало. А немцы не поймут, отчего это русские стали вдруг метко стрелять, эффективность такая, стопроцентное попадание?

До самого Берлина дошла эта саперная бригада в составе Первого Белорусского фронта. А когда ее расформировали, знамя бригады долго хранилось в Малоархангельске, свидетельствуя о боевой закалке, крестьянской смекалке наших саперов.

### 50е. Голос в ночи.

И еще что вспоминается? По этой дороге под Сабурово уходил когда-то, летом 43-го, в атаку малоархангельский житель Геня Ефремов в батальоне, которым командовал Валентин Снегирев, тоже из малоархангельских. Половина с винтовками шли, половина без всякого оружия в ожидании, когда убьет соседа, чтобы воспользоваться его винтовкой. Одеты были кто во что горазд. А батальонный был в картонных погонах с четырьмя звездочками, нарисованными химическим карандашом. С песней шли в атаку на немецкие пулеметы и минометы, а выбирались из-под трупов и моря крови, из малоархангельских вдвоем вот в живых и остались...

Об этой атаке я написал во вставной повести «Дан приказ» (в мой будущий роман-эпопею об этой битве), повесть эта уже опубликована, а роман ждет своего часу.

По этой глазуновской дороге уходил и я, бывало, в ночь уже десятиклассником и пел, бывало, романс на такие лермонтовские слова: «Выхожу один я на дорогу». А утром приходил я к друзьям моим - братьям Ефремовым – Володе и Гене, а Вера Ивановна, их мать, говорила мне, улыбаясь:

- А кто-то пел вчера ночью, слышно было от самой Мурашихи.

А я-то думал, что пою только звездам.

\* \* \*

С Володей, помнится, летом 42-го мы лежали в саду у Христоповых, а с базара гитлеровский рупор на весь оккупированный городок вещал об их победах, а Володя (он был постарше меня на два года, мне тогда не было и семи) говорил убежденно:

- Все равно скоро наши придут.

- Конечно, - отвечал я ему, не менее убежденно. – Ну, конечно! Наши скоро придут!

### 50ж. Чудо о патриархе.

И пишу я это сегодня, а на дворе май, 24 мая – Праздник славянской письменности, просветителей наших Кирилла и Мефодия. И в Москве Президент поздравляет с тезоименитством, то есть с именинами, патриарха Кирилла. И я думаю: «Какое совпадение! Журналистский псевдоним у меня тоже был Кирилл (взял себе от имени писателя Кирилла Степняка), а крестил нашу семью – нас всех троих (меня, жену и сына) – уже не так давно, когда это стало возможно, священник Крестительской церкви в Орле отец Мефодий. Кирилл и Мефодий, вот так».

И вспоминаю я, как два года назад все втроем мы из Орла добирались до Коренной пустыни, куда должен был прибыть патриарх Кирилл. Ночью ехали мы электричкой до станции Свободы, уже на рассвете шли от станции на Коренную, а впереди перед нами уже занимались розовым светом купола Коренского монастыря. И какое было тут на площади людское столпотворение! И нас туда не пропустили! Но я все же пробрался внутрь, на эту присоборную площадь. И сумел-таки снять на фото патриарха Кирилла. Какое-то чудо! Это был последний кадр в пленке. Кадры кончались именно на патриархе, я - таки снял! Я это сделал! Фотокнига о Коренной будет! Как же может быть она без патриарха?

### 50з. День русской березы.

И что интересно, именины мои отмечают даже в Италии, а именно, во Флоренции, где жил и работал Леонардо да Винчи. И делают это 24 июня. Это день Флоренции, день Леонардо, а значит, и мой. А в Литве это Янов день. Лиго.

Это день наивысшего Летнего солнцестояния, дальше дни начнут укорачиваться, дело пойдет на зиму. А пока это день в полную силу Солнца, лета и света.

А еще 24 июня - это праздник чисто русский, День русской березы, единственный такой день в году. Меня угрозило родиться именно в этот день. По гороскопу дерево мое – береза.

По всей Алешне от берез светло,  
По всей долине тянется туман.  
Неси, Алешня, рук моих тепло  
В огромный Ледовитый океан.

### 50и. И снова тихо

Был май 2011 года. И я жил один в нашем домике в Малоархангельске. И цвело сразу все тут и все сразу благоухало: и ландыши, разросшиеся изобильно, и сирень, а цветов сколько: тюльпаны красные и желтые, еще и одуванчики-то не отошли – эти веселые ребята там, в конце огорода. И там же для еще большей яркости тона я поставил у бочки с водой, в отдалении, красное и зеленое ведра пластиковые. А вот звуков было немного, начали монотонно вслед за жуками гудеть только пчелы на распускающемся и сразу повесившем зеленые свои шнурки, как сережки, дубе. А я все ждал соловья тут в отдаленном соседнем саду, как было это в прошлом году, или хотя бы кукушку ждал там, внизу, над городским прудом, или горлинку, дикого голубя, вяхиря, о которых я написал уже песню и в пьесу вставил ту песню. Но не было никаких птичьих голосов, кроме воробьев, вечно ссорящихся где-то там, тоже у огорода с посаженными утречком огурцами, у переполненной водой бочки под доцветающей яблонью.

И тут, как гром среди, действительно, ясного неба, грянули резкие птичьих голоса. Вроде синичьи, но чересчур уж резки и требовательны. И я пожалел, что ждал нетерпеливо птичьих голосов в притихшем этом садовом раю, вот они и случились. Чьи же все-таки они – неуловимые? Может быть, это козодой, замерший где-то на яблоне и превративший в сухую ветвь? Ловко прячутся пичуги эти, которые «доят коз». Птицы звучали то там, то тут, голоса двигались по райскому саду, по яблоням, но делали это совершенно

незаметно. Может, по движению листьев определить их местонахождение, может, по дрогнувшей ветке? Но все осталось в покое, а листья, если чуть и подрагивали, то только от дуновения ветерка.

И тут я увидел птичку. И тут же другую. Они так увлеклись друг другом, так один пел другой, так умел это делать, резко и требовательно. Я увидел красноватую грудку и черноватую головку и тут же полетел в дом, чтобы схватить определитель и проверить, что эта за птица такая поет, аж сверлит уши. «Юрок!» - вот что я определил.

Как старается он перед подружкой, как из себя выходит! «А если это любовь?» - подумал я, и они улетели.

И снова было тихо. Лишь монотонно гудели пчелы, и где-то в норе скреб иголками о землю ежик Леня – тезка мой, большой любитель молока, пьет из консервной банки, которую я оставляю ему специально на ночь за дверью.

### 50к. Соловей на дверном косяке.

Жил я один частенько на даче у себя в «Орловской Швейцарии» – во мценском поселке Синяевском. И частенько то пел, то писал. А то решил сам себя послушать, свой голос, записанный на аудиокассету. «Япошу» своего – магнитофончик – захотелось послушать: песню эту на слова Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат». А тут как раз соловей сел на дверной косяк подвала напротив распахнутого окна и уже начал прилаживаться, пощелкивать, чтобы запеть, но еще в азарт не вошел.

И тут я вставил в своего «япошу» кассету из «Соловьев» Фатьянова. И соловей натуральный на дверном косяке смолк, прислушался. А у меня сердце заколотилось: надо же соловей меня слушает. Послушал, послушал он «япошу» улетел. И у меня понеслись следом всякие мысли.

«Вот, - думаю я о себе, - какой эгоист, себялюб ты. Соловиную песню не дал спеть ему. А ведь для того он и летел сюда из Египта тысячи километров».

А потом мысли мои приняли иной оборот: «Это страх в нем заговорил. К соловью обычно ведь не подберешься».

Чуткий такой – прячется в листьях, если что – мигом от тебя порх и улетит». А тут в поселке, в моем Гефсиманском саду, частенько Никто не живет. Вот он и нашел дупло в старой груше и сидит себе иной раз во дворе на натянутом проводе вместо бельевой веревки, а тут сел на дверной косяк как хозяин положения, а я ему помешал. Страх, для артиста – дело последнее»...

И принялся мерить я все это уже по человеческим меркам: как бы это Соловей, этот артист со страхом, к понятиям философским, общечеловеческим относился, ну, например, к великой триаде французской революции: Свобода, Равенство и Братство?

Если страх в душе, то какая же может быть Свобода? Он тут на лоне природы свободный. А если свобода есть у него, то он со своим голосом - настоящий Талант. Соловей же! Конечно, настоящий Талант. Так никто из птиц не поет, природой так ему определено. А если он – Талант, то какое же может быть Равенство у него, например, с каким-нибудь воробьем? А нет Равенства, то, тем более, какое же Братство?.. Значит, нет никакого Страх у соловья...

Нет, что-то не то, не туда я гну... Если воробей живет в мире, прошел тысячи лет эволюции – значит, это кому-то надо и прежде всего ему самому? Значит, в нем есть свои таланты, которые соловей должен тоже видеть, тоже в себе ощущать? Вон в Китае не так давно попытались изгнать из бытия своего воробьев, и что из этого получилось? Нет, воробьи на земле тоже нужны, и тогда действует в полном составе великая триада: Свобода, Равенство и Братство. А у людей, встреченных мной на жизненном пути? У каждого ведь тоже свое: и у маршала, и у солдата...

Та-ак, а если к соловью-артисту применить такие человеческие категории, как Вера, Надежда, Любовь и его соловьиная песня? Что тогда? Все в порядке будет, все тут, как у людей. Вон Юрок любовь к подружке проявлял своей песней в моем Гефсиманском саду. А за Любовью и Радость, лира – это как? А все так же, очеловечено, гармонично... Да, но в Синяевском саду у меня, в ближайшей округе, они всегда пели. Всегда было три соловья, а сейчас лишь один. По-

чему, куда делись остальные? А тут, в моем Гефсиманском саду, в городке этом, вместо соловья объявился крикливый юрок. И куда улетел соловей? Может, в Германию? Только что сказали по телевизору, что Германия открывает двери для талантов из Восточной Европы. А как же Сколково наше, как мой материнский, дедовский сад Гефсиманский? Для чего соловей, тут родившись, летит из Египта сюда за тысячи километров?

Люди! Когда соловей сидит на дверном косяке, слушайте больше не себя уже, а его, артиста. У него же свобода полета, а где Свобода – там Равенство, Братство и еще, может быть, Счастье. Соловей летит сюда из Египта за Счастьем и улетает в Германию».

**50 л. Леонардо. Лира, это Любовь и Радость.**

### **В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА.**

Говорят, французские астрономы открыли во Вселенной планету, где, как и на Земле у нас, возможна жизнь, потому что там есть Вода. А американцы открыли истину о том, что темная, или черная энергия расширяет Вселенную, образовавшуюся после Большого Взрыва. И теперь на Земле, дескать, законы гравитации, открытые Исааком Ньютоном, не действуют, а действуют совершенно иные законы – не притяжения, а отторжения. И выглядит, дескать, на Земле людей теперь все по-иному: и Луна, мол, не притягивается Землей, как к большему по весу и массе небесному телу, и в обществе действует принцип, скажем, не «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «возлюби другого, как самого себя», а «люди всех стран, выживайте каждый за счет себя и за счет другого!»

А мне хочется жить и мыслить по-прежнему, по-ньютоновски: и «любить ближнего как самого себя», и писать по-прежнему «теплые» рассказы, получающиеся от встреч с людьми, и осознать непреложную истину, что если Атлантический океан расширяется по сантиметру в год, отдаляя Америку от Европы, то Тихий океан, наоборот, сужается тоже за год по сантиметру, сближая ту же Аме-

рику с Азией. И в масштабах Земли это - движение плит, это равновесие, это в конце концов гармония, а не переливание океанических вод из пустого в порожнее. Главное – чтобы лично, ты, человек, слышал бы человека, как и соловья, который не зря может сидеть на дверном косяке и петь вдохновенно свои прекрасные гармоничные песни. Давайте, люди, все-таки жить и мыслить по-прежнему, по-ньютонovski, то есть классически.

**«Плащаница». (сонет)**

Примерю плащаницу и – молчу.  
Лечу, свободный в мыслях, улетаю.  
Ключи свои я к небу подбираю,  
В полотна заключения хочу.

Белое на черном, черное на белом –  
Плащаница где-то в промежутке.  
Как могла фотогеничность тела  
В очертаньях отразиться жутких?

Материя и Дух. Вот веришь и не верится.  
Страдая, уходил на небо Бог.  
И в том, что был, мог всякий удостовериться,

На холст в изнеможении прилег.  
Пока тот холст на полдороге тлел,  
Лик Леонардо и запечатлел.

**«Мона Лиза».**

Отправлялся на БАМ,  
По байкальским местам,  
А в Москве, а в Москве с полуярда  
Провожала глазами,  
Оживляла устами  
Мона Лиза меня, Леонарда.

Моя Мона, моя Лиза,  
Не графиня и не маркиза,  
А творение рук человеческих,  
Красоты и понятия греческих.

**50. Л. Леонардо - это лира. Любовь и радость.**

### ВСЕ СОШЛОСЬ

Родился я 24 июня – не только в День летнего равноденствия, когда бывает самый длинный день в году, но, главное – в День Русской Березы, тоже единственный такой день в году. А еще интереснее, как все это магически отразилось на жизни моей и судьбе, о чем я когда-то, конечно, и не подозревал.

Вышла, помню, у меня первая книжка прозы в Москве – «Берестяные песни». Произвела впечатление. Уже за одну ее, помню, был я принят в Союз писателей тогда единогласно: и тут у себя, в Орле, и в Москве, что случается крайне редко. А после вышел у меня второй том романа – эпопеи в прозе «Берегиня». Весьма приличным тиражом. Несколько лет в самые трудные времена кормила, одевала и обувала она меня – моя берегинюшка. Оказывается, «Берегиня» – это не столько русалка на берегу, сколько береза, береза – березонька еще на том, языческом берегу. Она семью мою, оказывается, еще и сберегла, оберег это своеобразный нашего дома. Нашей семьи. А в мифах древних славян береза на горе Березань – это праздник поэзии.

А еще. Во мценском поселке Синяевский, где у меня домик деревенский - дача, в конце усадьбы растут две сестрицы – березы. Присяду, бывало, на локоток, коснусь спиной одной из них – далеко-далеко видать, до самого села Высокого. Тут однажды песня такая мне и запелась:

Две березы

За хатой моей деревенской...

Но дело в том, что и в нашем Малоархангельске, под окном моего материнского дома растет тоже Береза. Трезубец такой. Три ствола с полудрева в небо. Тоже моя Берегиня.

Да еще какая! Святая Троица. И уж не так давно догадался я о значении Русской березы в семье моей и судьбе, особенно творческой. Оглянулся: нет ли еще чего-нибудь такого – березового в моих концепциях, книжках. Как же, как же! А книжка для детей – «Сережкины березки»? Растут три березки из воронки от бомбы. И возникает во мне аура, игра слов:

Сережкины березки,  
Березкины сережки.

И вот сегодня вечером, 8 июля 2011 года, состоится концерт по Первому каналу, посвященный Семье, Любви и Верности. А днем я пишу эти строки и думаю: «Опять где-то там «грамофоны» мозги всем пудрят, не дают голову приподнять. Все рейтинг какой-то сами себе поднимают – властители дум, а мне опускают. Ну и пусть, думаю, тешатся, далеко на одном полозу (без Бога-то) не уедут. А у меня зато есть Береза – Березонька. Русская. Берегиня моя – Берегиношка. Три слова: На земле, возле дома и в творчестве.

Приходили к нам тут однажды из «коммунхоза», все хотели Березу мою спилить, дескать, велика больно стала, белый свет кое-кому застит. Да и жена поговаривала, мести семена от нее по двору накладно стало, надоело. А как узнала про ее значение, теперь вот метет хоть и без особого удовольствия, но и все-таки без раздражения. И я думаю:

«Как все сходится,  
Сами Боги мне помогают»

Дикий голубь – вяхирь - витютень сидит порой на березе моей - Берегиношке и поет мне вместе с ней свои живые, зеленые песни, а я их, подобно Глинке, песни те только аранжирую – «Берестяные песни».

Дуб-то я принес из Мурашихи еще саженцем и посадил посеред усадьбы, а Береза под окнами сама выросла. Как праздник русской поэзии, как символ поэтов любимых мной – всегда она передо мной.

8 июля 2011 г.,  
Малоархангельск.

Встану на рассвете, едва только забрезжит, и что вижу? Грачи летят над моим материнским домом наискосок над всем Малоархангельском. Из-за Первой Подгородней и все летят, летят в сторону Беленького Первого - верхнего полукруглого зеркала пруда. Это они с поля летят, где хлеба уже поклевали. «Значит, скоро пошаничку на ниве косить». – думаю. - А в сторону пруда обратно если летят – водички попить».

А нынче вышел так же чуть свет, в полпятого (в детстве, я помню, за грибами в Мурашиху так выходил), а грачи-то всей стаей присели, сидят рядом тут, на перекрестке нашей улицы и бетонки-магистрали, по которой возят в Орел белую глину. Чего это они, расселись, а? А соседка и говорит:

- Это они лапы греют. За день дорога от работы нагрелась и даже к утру не остывает».

Вот так посидят-посидят, побеседуют – грачи, как мирные жители (бабушки рядом тоже сидят на лавочке), да и начинают разлетаться по своим садам и огородам. Дневные заботы. Печки-лавочки, бабушки в окошке, но печек уж нет, газ подвели, газом топят теперь, не везде по домам на крыше теперь трубы.

И потом уже, как пойдут по бетонке автомашины, увидит водитель легкое марево над бетонной дорогой и подумает: «Что бы это, граждане, значило?» А возьмет в библиотеке мою книжку, прочитает и поймет, почему я назвал свои рассказы «теплыми». Да еще и написаны они от имени постоянно тоже теплого автора, а автором являюсь я – ваш покорный слуга - Леонард Золотарев.

Автор, постоянно исполняющий  
обязанности Леонарда Золотарева.

Соловей кончает петь, когда куковать начинает кукушка.

*24 мая 2011 г.,*

*Малоархангельск – Орел.*

## В ТИХИЙ ДОЖДЬ

### БЕЛЫЙ ВОЛК

Волновахе почтальон принес телеграмму: приезжал с флота средний сын, Семен, капитан-лейтенант. И Волноваха решил, в честь такого события, усадить за стол всю деревню. Небось, уместятся: теперь от Нечаевки остались рожки да ножки.

— Как это чин ему такой приспособили? — вызывал у него возле колодезя сосед Никифорыч — бригадир овцефермы, всю войну протолкавшийся по причине кривой с детства ноги на ближайшем элеваторе. — В тот раз был старший лейтенант, в этот — лейтенант сверх капитана. Майор, выходит, аль подполковник?

— Сказано, капитан-лейтенант, — свернул разговор Волноваха и пригласил бригадира к себе на завтра. — Старуха говорит, пойди, гырьт, пригласи Романа Никифорыча в первую голову, нужный в хозяйстве он человек.

— Старуха у тебя не дура, — усмехнулся Никифорыч и пошел с пол-ными ведрами, припадая на правую ногу. Оглянулся, погрозил пальцем: — Гляди у меня, не балуй!

Последние слова сбили Волноваху с теплого настроения мысли. К чему это он, — не балуй? Сами, что ли, на должностях не бывали? Ведь ты к нему со всей душой, по-человечески, а юлить тебе, Волновахе, особо и не к чему. Сиди себе, получи за вторую группу боевой инвалидности пенсию. И опять же хозяйство у тебя: коровенка, овечки, поросенок, садик-огородик. Сосредотачивайся, пока есть силенка, на своем личном секторе. Только скука со света сживет, мысли черные сгложут, если сразу вот так взять да и оборвать всякие внешние связи. Вон Митрофан Ильич пошел летом на пенсию, а к весне уже не жилец.

Сын приезжает, Сенька, Семен, Волновахов Семен Семёныч. Офицер подводного корабля. Всякие случались на Нечаевке воины — артиллеристы, десантники, один даже на Зимний в семнадцатом бегал с винтовкой, с «Варяга» был один. Но чтоб под водою, как карпия, да еще офицером, —

нет, таких здесь в истории не бывало. Шутка сказать, у нас нырнет, а у Южной Америки вынырнет. Ну и времечко, техника — уму непостижимо. На что старший, Петр, в Харькове главный конструктор, а и тот одобряет Семеново дело.

Гордые мысли за сыновей сгоняют с Волновахи неприятный осадок от встречи с бригадиром. Так и идет к вечеру он, седой, белый, как лунь, размягченный, довольный, сторожить совхозную овцеферму. Все скотники разошлись, только Нечаев Иван загоняет последнюю ярку. Вместе с ним прошли по помещениям, проверяя «наличие отсутствия»: все животные твари на месте. Ну отарные, ну безмозглые. Подай голос одной — все тарашатся, одно слово, — овца. Ромни-марши. Завезены из-за границы, может, мильон за них отпалили. В первое время жить на здешнем кормочке отказывались, пока не догадались овец скрестить. Теперь ничего. Ишь, крихтит, бочка. Нарастила шерсти, крихтит. Скоро тебя, милая, на бок и — верещи, не верещи — патлы ножнями. На то ты и овца, тварь бессловесная. Надерут с тебя шерсти, напрудут ниток — де-ревенские бабы варежек, носков теплых навяжут, в городе тканей наткут, костюмов хороших наделают хирургам и дипломатам. И Семену Семенычу — в самый раз туда, под воду.

Волноваха усаживается на привычное место, откуда, по мере возможности, видать все подходы к овчарне. Затравляет костерок, сидит, питает его всяким хоботьем. Приседает Иван Нечаев, подставляет огню свои красные, вздутые в средних суставах пальцы. Хоть и май-месяц, а зябковато: отцветает по Гибблм оврагам черемуха. Как потянет оттуда, даже овцы не стоят, крутятся.

— Сын, слышал, к тебе приезжает, Семен? — свистит сожженным мо-розами голосом Ванька.

— Семен,— подтверждая, натягивает Волноваха картуз на уши, поднимает глаза.— Уже капитан-лейтенант... Вместе бегали, чай, на Петровку?

— Не, я в восьмой, он в десятый.

Смотрят вместе, как огонь враз схватывает куски старой оглобли, лижет сырую неошкуренную палку, все обхватывает, улещает, утепляет ее, пока на срезе не начинается пузы-

риться вода и сизый парок с шипением не исчезает в пламени.

Время от времени Волноваха отрывается от дела и, привыкая глазами, оглядывается окрест. «Гляди у меня, не бабуй!» Отдает костром западный склон неба, резка кромка сухой прошлогодней полыни, остры пики елок. Оттуда, из Гиблых оврагов, приходит белый волк. Если бы Волноваха сам не видел, никому бы, может, и не поверил. Не верится вообще, что до сей поры водятся волки в районе. Это сразу же после войны их тут было пропасть, ни пройти, ни проехать — ленивые, тучные, отожрались в окопах. Навели им шороху. По соседству, в Петровке, один Лисицын, знаменитый охотник, уничтожил их, может, с полтыщи. И матерыми, и мальками. Пришел как-то Волноваха к нему за капканом (лиса чередила, всех, стерва, кур порешила), а у того по двору, по-за огорожей, кутенята катаются. Одного помета, пять штук. Такие увалистые, мягкие, на толстючих лапах. «Дай,— говорю,— хоть одного для интересу». — «Нельзя,— говорит,— а ну как волчица нагрянет за ними, чем будешь отчитываться?» — «А ты?» — «Ну я,— говорит,— другое дело. У меня вон оно», — и похлопывает по ружьишку зо-лингеновской выделки.

Хорошо поработал Лисицын, видать, и другие неплохо. Сколько лет не слыхать было, шутить уже стали, что в районе, мол, всего один волк остался, и тот инвалид, на култышке — капканом отсобачило переднюю правую. И вдруг нате: на ферме пропала овца. Ну пропала и пропала, пропадали и прежде. На то и животное, чтобы иметь свободное передвижение, куда хочу, туда и верчу. Для того овчары и приставлены, чтобы наводить ее, глупую, на разумные действия. Но вот что подвело Волноваху к мысли о волках: стали стричь овец, а под горлом у одной, другой драные шрамы. Тогда и поставил Волноваха перед бригадиром вопрос о ружье. Два дня Никифорыч ходил в размышлении, на третий прямо-таки озадачил: «Нельзя тебе, Волноваха, выдавать в руки ружье, ни под каким средством. А то ты волка ненароком ухлопаешь». — «И, возможно, ухлопаю», — ответил ему Волноваха. — «А ухлопывать его, санитаря, нель-

зя. Может, его самолетом сюда... из Канады». — «А ежели он, стервец, меня вздумает слопать?» — «Ты уже старый, глянь — белый весь, ты свое пожил», — сказал бригадир и пошел своей дорогой.

Осенью пропали подряд еще три овцы. Волноваха усилил бдительность, даже собаку завел, сторожил теперь вместе с Куцыком. Как-то к полночи пес прижался к коленке, затрясся. Волноваха увидел волка — белый, ростом с теленка. Белый волк тоже заметил его, сел на хвост и вытянул морду. В тучах вылетела луна. Волноваха пригляделся к нему и ужаснулся: один глаз у волка был пуст, в другом стыла жуткая, человеческая тоска. И тогда Волноваха подумал, что это старый, седой и сам себе не нужный бродяга и что зубы у него искрошились, истерлись, потому и не может уже перехватывать он у жертв своих горло. И Волноваха его уже не боялся. Они сидели друг против друга, и каждый думал о себе, своей собственной жизни. Волновахе было жаль старого, голодного волка, но жаль было и самого себя. Наконец, волк понял его, поднялся и, сверкнув на луну единственным глазом, удалился степенно. До чернотропа он наведывался еще пару раз, и Волновахе показалось, что бег его становится все расшатаннее.

Волноваха рассказал об этом кому-то, вся деревня стала подтрунивать, а Никифорыч, бригадир, высмеял принародно: это, дескать, у тебя от белой горячки. А когда Волноваха объяснил ему, что не употребляет хмельного по причине высокого кровяного давления и беспредельного желания жить, чтобы увидеть, что же дальше будет со строительством коммунизма, Никифорыч так напрымяк ему и заявил, что, значит, пора подыскивать на Волновахино место новую штатную единицу, для которой волки, как волки, — серые, а овцы, как овцы, — белые.

Через неделю Куцык неожиданно сдох, в желудке у него оказались мелко истолченные иголки. В то утро Волновахе показалось, что за ним наблюдали по соседству, из-за плетня.

Вместо последней пропавшей овечки Волноваха привел на овчарню свою, даже старухе ничего не сказал. У Катю-

ши Нечаевой отара опять стала в полном сборе. И до этого все что-то овцы у него пропадали. Не хотелось грешить на старого, бессильного волка, но ведь пропадали. «Не балуй у меня!» — сказал утром Никифорыч. Ну, сказал и сказал, а душе — смута, телу — весь день нехорошая зябкость. Едва отогнал эту зябкость костром да разговором с Иваном про то да про се. Понял только, что рано домой Иван Нечаев сегодня не намеревается. Сидит себе да посиживает, мелет из пустого в порожнее. Не так просто обмануть Волноваху — молод еще Нечаев, крепко сбит — ладно скроен, работой пока не изломан. На овчарне задержалась Катюшка Нечаева, эта самая, с Громотушкина Верха. Не баба — омут бездонный, зубищи к весне так и скалит, лишь Стенька, мужик ее, ни черта не замечает...

— Ты чего, дед? — повернул Иван к нему свое невеселое, вялое, бронзовое от костра и загара лицо.

— А про молодость вспомнил,— тряхнул головой Волноваха.— Катюшка в передовые выходит, Скоро на доску за эти дела повесят.

— Ну, и что?! — напрягся Иван.

— Сын у меня под окиянами плавает,— вздохнул Волноваха.— Тут у нас, нырнет, а у Южной Америки вынырнет.

— Нырнешь так-то вот,— поглядел на него Иван длительным взглядом,— и не вынырнешь.

— А на то голова, чтоб выныривать,— шевельнул костер Волноваха и посмотрел в глаза Ивану через огонь: в них была жуткая, нечеловеческая тоска.— На то жизнь, сынок, чтобы жить, чтобы выныривать.

— Верь, верь,— усмехнулся криво Иван.— Бабке своей всегда верил?

— Не верил, когда сам не верил себе.

— Может, сынок твой, что под моря ныряет, не твой, например, а деда Митрошки... того, что с «Варяга», а? Может, это в крови у него — нырять сквозь моря-окияны?

— Дура ты, всех на свой аршин меришь,— сказал равнодушно, ничуть не сердясь, Волноваха.— У каждого свой аршин. Я-то вот всегда был уверен в Дуняшке, а вот ты... за

чужим подолом мотнешься, у своей своим не зови. Валяй-валяй к Катюшке, небось, уже ждет.

— Гляди у меня! — поднял голову и рыпнул зубами Иван.— Гляди, дед... Люблю я ее, понял? Давно. Я тебе по-человечески... мужской разго-вор...

— Да уж видывал виды. Иди. Да штаны, гляди, не урони.

— Ты, того... никому,— уже издали крикнул Иван Волновахе и прынул стежкой в овраг.

«Вот жизнь. Все грозят, угрожают»,— повернул Волноваха верх оглобли в костре и, когда освеженное движением пламя отделило от него остальное пространство, весь отдался течению мыслей о сыне, о завтрашней встрече с ним, обо всем завтрашнем дне. Так и сидел он, может, час, может, полтора, чутко прислушиваясь к ночи, к тому, что деялось там, за стенкой, в ближней овчарне, развернутой воротами не сюда к нему, а туда — к ельнику, к Гиблым оврагам. За воротами, прямо в притворе, беспокоилась ярочка, которую он свел со своего двора молчком от старухи.

А ночь была тихая, кроткая. Луну скрали тучи, и воздух, до самых звезд, казался настолько наполненным, плотным, крутым, что, если бы даже и захотелось, не провернул бы Волноваха его вместе со звездами ни ложкой, ни даже половником. Гущина эта забирала голову, валялась грузно на Волноваху, нагоняла сладкую дрему. Волноваха вытягивал шею, прислушивался, но ничего, кроме чавканья карпий в пруду под бугром да роста травы, раздвигающей за сторожкой упрелые прошлогодние листья, не слышал. Вдруг где-то задело металлом металл, похоже, жучок-майка повел бронзовым крылом о крыло. Волноваха мигом очистился ото сна и, взведенный, как семилинейка, руками по стенке, по стенке сунулся к воротам овчарни. В разрыве туч полоснула луна: к ельнику, припадая на правую сторону, мчалось что-то проворное, крупное, облитое белой лунной — белый волк.

— Ату его! — затопал, замахал руками, кинулся даже бежать Волноваха, но волк прынул в Гиблые овраги и был таков.

Волноваха вошел в притвор: ярочки не было. Это несколько не огорчило его. «Подавишься этим куском, я тебя причешу,— обернулся Волноваха к Гиблым оврагам.— Как псу мому... тоже будет невпроворот».

Семен приехал первым автобусом, выскочил через переднюю дверь — бравый, в сиреневой рубашке, чемоданчик в руке. Старая как прилипла к нему, так никого и не подпускала.

— Дай хоть глазком глянуть на капитана, — суетился Волноваха и тут же осаживал сына: — А почему, спрашивается, в гражданском?

— Вот патруль,— отсмеивался капитан-лейтенант Волновахов.— Да вот она, форма, тут, в чемодане. Если сильно попросишь, отец, — надену.

В доме уже рубили кур, щипали гусей. Ждали из районного центра младшего Волновахова — Виктора, токаря на ремонтном заводе: должен был прикатить на выходной. Он приехал двенадцатичасовым, как раз все и собрались. Всей нечаевской бригадой и засели за стол, не было лишь Ивана Нечаева да Никифорыча, бригадира. Ну Никифорыч ясно: какое-никакое, а руководство: приди, поклонись. А вот с Иваном не совсем все понятно. Но не стали ждать. — Чего скажу я вам, дорогие гостечки,— с первым тостом поднялся Волноваха-отец. Никогда не говорил столько слов, а тут сказал, и его слушали все. — Хуть он и сын мне, а скажу, мои односельчане, вот что: давайте выпьем за наших защитников, за сына мово, который, как и вся наша доблестная армия, наш броненосный флот, зорко стоит на рубежах. И потому мы сидим с вами смирно под этой вот смирной ракетой, что они стоят там, потому что у нас такая жуткая техника, что просквозит все моря-окияны наскрозь, до всего, если что, доберется. Верно говорю, а Семен? Верно... Так давайте тост подыдем за нашего с бабкой сына — начальника этой очень, скажу вам, серьезной техники, капитана да сверх того лейтенанта Семена Семеныча Волновахова.

И сел. Сидел слушал других. Женщины помогали старухе, подносили к столу картошку, курятину, подливали

квасу, приседали на момент, спохватившись, снова бежали на кухню. На ведерной сковороде тащили почти полбарана: Волноваха зарезал утром последнего. Старый слышит дружную работу челюстей («зубы востры, с хрустом рушат косточки и хрящи»), смотрит на длинношерстную свежую шкуру у себя на плетне («надо было прежде постричь») и переносится мыслью на всю страну, обхватывает в целом всю земную планету: «Мы-то ладно еще, у нас всего много, есть еще чего поскрести, а вот остальному миру как быть с продуктом питания? Люду, пишут, уже за пять миллиардов. И у каждого зубы, желудок, каждый схрупает за жизнь товарняк. Химию, водоросли станут это... кусать. А на что пересаживать в мире животных? Волка, скажем?..»

Разговор за столом разбился на множество русел. Кто-то расстегнул уже верхнюю пуговку и схватился за квас. Волноваха выждал момент, задал сыну громогласный вопрос, который давно держал у самого сердца:

— Мы вот тут все очень интересуемся. Все. Будет, Сеня, еще война ай не будет. Третья мировая. Какая у тебя лично на это тактика и как стратегически смотрят на это наши вооруженные силы?

Базар за столом как рукой сняло. На дальнем конце кто-то поперхнулся куском, на него тут же зашикали. Во дворе, под ракитой, из умывальника капала в бочку вода.

— Слышите? Капает,— поднялся Семен и засмеялся.— Капает капля. Из умывальника, из облаков. С вишни, с яблони. Каплет, каплет над нами! Живем и жить будем — это наша тактика и стратегия. Война? Да зачем нам чужое? У нас много всего и своего. С древности люди себе добывали богатства войной, никакая война теперь не способна дать того, что дает торговля и производство. А разрушения от нее, а страдания народов? Нет, дорогие товарищи, войны не будет. Ни третьей мировой, ни четвертой. Быть не должно. Слишком дорогим стала она удовольствием. Главное — мы не хотим...

— Что ж вы сидите тут? Хата горит! — влетел на порог Нечаев Иван.— Гляньте: двор весь в дыму.

Выметнулись кто в дверь, кто в окна. Горела не хата —

стожок просяной соломы, что у сарая. Пламя готово было переметнуться и на сарай, искры стлались веером налево, вдоль улицы, и только деревенскому плану с другого боку, от Никифорыча, ничего не грозило. Волноваха про себя это мигом отметил; отметил это про себя и Семен.

Стожок разметали вмиг, содрали с сарая полкрыши — все вкупе, такая силища. Стояли, соображали: с чего бы стожку загореться? От молнии? Чистое небо. От ребятишек? Они, пострелята. Входили в хату возбужденные, сдруженные.

— А зря, отец, не пригласил кой-кого,— отозвал Семен Волноваху в сторонку.

— Я приглашал,— понял тот его с полуслова.— Я приглашал... Ну да ничего, уже перезимовали. А новый годок — новый кормок.

Там, в хате, все закрутилось с прежней силой: тосты, ча-тушки, гар-монь. А они все сидели на крыльце, молчали и думали каждый по-своему, но об одном. Волноваха к тому же неотступно следил за тем, что делалось в соседнем дворе.

— Сколько места в Нечаевке,— вздыхал он.— Там и там съехали. Свободно, дыши. А все равно тесно. Трудно, сынок, трудно живем на земле.

— Верно, уехали люди,— рассуждал Семен,— в города, на центральную. Значит, в кучки побольше сбиваются, тесней жить хотят. Теснее жить легче, отец, так? Просто трудно это — быть людьми на земле.

— Да я и сам так думаю, надо ближе друг к дружке... взаплот, а не всегда получается,— встал Волноваха с крыльца и тянул Семена за собой со двора.— Идем, сил моих больше нет, чего покажу.

Проходили мимо хаты Никифорыча: у ольшаника стояла запряженная лошадь. Вышли за околицу, к разбитой грозой грушенке. Здесь не так и давно, во времена Семенова детства, еще вертела дощатыми крыльями мельница. Присели на пенышек. Ожидали. Чего?

— Сейчас увидишь — чего,— сказал Волноваха.

На дворе у Никифорыча заскрипела подвода, выехала

на дорогу. Куций бригадный меринок тюлюпал, тюлюпал сюда, к грушенке, бригадир сидел к ним спиной.

— Погодь на час, — окликнул Волноваха Никифорыча.

— Чего тебе? Н-но! — вздернул бригадир вожжи, но Волноваха уже подлетел к узде, под голову мерина.

— Сдерни, Семен, халат, — приказал Волноваха сыну и сам подошел, стащил с груза грязный бязевый халат: на дне подводы лежала баранья тушка. Еще парная, в свежей крови. Кучкой сбоку лежала сырая баранья шкура.

— Во, гляди, сын! — поднял Волноваха шкуру и тряхнул: — Гляди — вот и вот. Мои подпалы: «С» и «В»... По овцу в этом халате ходил, а, Никифорыч? Кого перед народом опозорить хотел — инвалида войны, старого человека. Мол, сын приехал с флота, мол, ясно-понятно, кто утянул с фермы ярочку, на угощеньце, так?.. Воскресенье завтра, везешь на базар? Все на «Жигули» собираешь, «Жигули» душу тебе переехали, так?..

Подходили люди: от Волноваховых уже разбрелись.

Остановились, прислушались.

— Ладно, отец, довольно, — увлекал Семен домой Волноваху.

— Нет уж, постой-погоди, — высвобождал тот плечо. — Дай скажу... Этот не то, что ты там, на флоте, этот здесь куда хошь нырнет-вынырнет. Но у меня не вынырнешь, — распаялся Волноваха, — вон у меня сколько свидетелей...

— Ну тихо ты, тихо, — вжимался в телегу Никифорыч. — Чего тебе, озверел?

— Мне от тебя дюже много стало надо в последнее время, — глядел то на него, то на людей Волноваха. — Премию с Нечаевой Катюшки списал, а Нефедовой начислил... Это раз. Специально путаешь всю отчетность, чтобы было, пить за какие шиши. Это два. Сенажа целый бурт сгноил, едва концы свели... И четыре. Просяной соломы два воза во двор привезешь мне и свалишь, а я уж, ладно, сам в стог сметаю. И вообще, гляди у меня, не балуй!

Люди притихли, соображали. Опять загалдели. Иные одобряли Волновахины действия, другие пятились от греха. Раздались слова и в защиту Никифорыча:

— Неча напирать на него, бригадир все же, а то требует... Есть еще стог в саду, обойдешься. Больно много надо, ему можно, у него сын капитан... Куда там раскомандовался!

— Ладно вам,— оборвал Волноваха такие слова.— Не докумекиваете, так помолчите. А ну, Роман Никифорыч, поворачивай оглобли и давай-ка в мой двор, там разгрузишься.

Волноваха взял за рукав Семена, и они повернули к деревне. Подвода послушно двинулась следом.

К вечеру, напялив на свою белую голову тесный картуз, как всегда, отправлялся на пост Волноваха. На этот раз пошел с ним Семен. На привычном месте, спорее вдвоем, затравили костер. Сидели, подставляя теплу ладони. Волноваха ни о чем не спрашивал сына: служба такая, сплошь военная тайна. Из оврагов выползли сумерки, луна смягчала их, ныряла в один краешек тучи и, подержав всю окрестность в тревожном ожидании, появлялась из-за другого края опять. И тогда странной, но все такой же родной, невообразимо просторной, глубокой, до ближнего города и дальше, по Среднерусской возвышенности до самой Москвы, виделась сидящим у костерка вся эта спящая, зябко серебряная равнина...

Волноваха вздрогнул: волк. Толкнул сына: белый. Белый волк стоял на бугре, как привидение. Плоскогрудый, с подтянутым брюхом, он глядел на них, на деревню, на ее уже редкие огоньки. Прожит еще один день, шкура стала белее, тесно зверю жить на земле. И вдруг он поднял голову и завыл. На луну, на огни по деревне, на звезды. Леденящий, отчаянный крик уносился в пространство и тонул в шиферных крышах. Белый волк тянул голову выше, выше. Один глаз его, потерянный, очевидно, в сражениях, был пуст, в другом стояла жуткая, почти человеческая тоска.

*Поселок Онегино*

### ОПРОСТОВОЛОСИЛИСЬ

Три дня бушевала пурга, забивала дороги, на четвертый подуспокоилась. Тогда и проскочил в Крепыши, дальнюю бригаду «Серпа и молота», выдавший виды «уазик». Люди прыгнули наземь в демисезонных пальто и туфельках, хлопывая нога о ногу, гуськом потянулись в бригадный дом. Бригадир Карп Щепотин подпирал плечом угол, удивлялся десанту: надо же, прорвались.

— Принимай гостей,— нарочито громко сказал председатель «Серпа и молота» Вадим Еремеевич Клятный, присланный в прошлом месяце из района для укрепления.— Тут, понимаешь, такое дело... народ надо собрать. Товарищи вот приехали к нам, кой-чего, такое дело, скажут.

— И-и-и,— засмеялся бригадир в кулак беззвучно, одним только дыханием, и замотал головой,— у нас мигом никак невозможно.

— Организуй! — твердо сказал председатель.— Товарищи специально и, заметь, такое дело, из области.

— У нас завсегда с двух-трех раз,— входя, еще с порога заговорил Поликарп Измоленов, бывший бригадир, отстраненный Клятным за превышение власти.— Здрасс-сте,— поклонился он низко и сел поспешно на лавку: в ногах правды нет, подведут и сегодня.

Хотя Поликарп был отстраненным, во — но старой привычке — вмешивался в руководство. Да Карп Щепотин и не возражал, для пущей важности даже именовал Поликарпа «советом бригады». В народе, перекрестив маленько, звали бывшего Полукарпом, а обоих вместе Карп-Полукарп.

— Товарищи,— выступил вперед один из областных гостей, седой уже, но еще хлыщеватый.— Мы, собственно говоря, обращаемся к вам за помощью. Здесь по соседству на хуторе... в хозяйстве «Прожектор»... несчастный случай: обварился ребенок, выплеснул на себя кипящее масло. Срочно требуется пересадка кожи, нужны доноры... это у кого кожу взять... а там в хуторе одни старики. Мы приехали к вам. Соберите село, скажите, мол, так и так, обварился...

— Господи! — всплеснула руками топившая дом бригады бабушка Даша. — Случай-то уже не в Лимовском ли?

— В Лимовском, — сказал неуверенно хлыщеватый и утердил кив-ком. — В Лимовском, пожалуй.

Бабушка Даша толкнула от себя дверцу плиты и, не обратив внимания на просыпавшийся жар, метнулась к порогу. Карп-Полукарп встали, оглядели всех вместе и каждого врозь, надели треухи, вздохнули и двинулись к выходу. В комнате стало тихо. Перестал гулять парок у рта: то ли уже надышали, то ли начало действовать отопление. Углы прямо на глазах серели, таяли и потекли. Пурга закрыла половину оконца, в комнате было сумрачно, красноватый отсвет лежал на серебряных стенках.

Через полчаса стал сбиваться народ. Кто входил, запалившись: шутка ли, аж с другого края села. Кто не успел переодеться, прилетел, в чем ходил давать поросенку. Нецветайха — огромная, стопудовая женщина — как влетела, грохнулась на скамью, так скамья под ней и затрещала.

— Это Ванечка, внучек мой, там обварился, — закрыла она руками лицо. — Это Ванечка, Сдобнов Ванечка... Ой, горюшко горькое! Ой, убили, свари-и-и-ли! Негодяй Петька по дому не помогает, а Клаве хоть разорви-и-ись...

— Да не Сдобнов, не Сдобнов, гражданочка, — подошел к ней хлыщеватый. — Успокойтесь. Это и не в Лимовском.

Народ валил пачками, быстро расставили скамейки, выдвинули стол на середку, расстилали кумач. Сидели все в заблуждении, бригадиры Карп-Полукарп ничего толпой не объяснили. Один — нынешний — все помалкивает, опыту никак не нахватается, а у другого — бывшего — дюже этого опыту много, рот не запахивается, тоже ни черта не поймешь. Сидели, молчали — мышь слышна в подполе, уперлись взглядом в своего председателя, а Клятный и сам непонятый какой-то. Лишь Витька Сермягин — бывалый парнишка, прошел крымы-рымы по всем ГЭСам и городам, а сейчас коштывался у бабки до лета — внушал вслух сомнения. «А где у них эти... белые халаты? И кресты на машине?» — «Витька, заткнись! — делал ему большие глаза бригадир. — Ты долго на нервах у людей будешь играть?»

Что же, тут с тебя шкуру драть? Отвезут, куда надо». Витька не знал, чем ответить, и потому вскоре заткнулся.

— Не надо бы,— кивнул на кумач хлыщеватый, и тут его пригласили к столу.— Меня зовут Иона Ионыч Крестительский,— сказал он поспешно,— я возглавляю, эту вот группу... Итак, товарищи, вы все уже в курсе, объяснять не надо. И потому сразу быка, так сказать, за рога: кто хочет дать кожу на пересадку? Подумайте хорошенько и пройдите сюда, в этот угол...

Встали человек пять — всегда на все встают первые, народ подготовленный. Потом Витька Сермягин. После того еще человека три, в том числе Нецветаиха и бригадиры. Сделался шум, гам, все повскакивали и закричали:

— Пиши всех, пиши!

— Товарищи, тихо,— усмиряя ладонью, сделал шаг к передней скамейке Иона Ионыч. Стало тихо. Слышно было, как задувало в щелку между рамой и стеклом,— Так ведь это, товарищи, больно, болезненно... Представляете: взять кусок кожи с живота или с бока? Это же сколько потом в больнице лежать. Это шрамы навек, а если вот вас, дамочка, супруг возьмет да разлюбит?

— Ты вот навроде профессор, а в голове эти... фрагменты,— поднялась во весь свой неограниченный рост Нецветаиха.— Ты давай нас пиши, не сомневайся. А с мужьями как-нибудь сами справимся.

— Эт-та справится,— загудели в углу,— У эт-той не вырвешься.

— А теперь меня вот что интересует: мотивация, — обернулся Иона Ионыч к своим областным, те достали блокноты и что-то записывала.— Иными словами, граждане, по какой причине решаетесь вы на такой серьезный шаг? Во имя, конечно, самого прекрасного — спасения человека? Вот вы, например, гражданка...

— Нецветаева.

— Гражданка Нецветаева.

— А я бегу,— повернулась Нецветаиха полубоком к роду,— а в глазах белые мухи так и сигают, так и сигают. Боже, думаю, неужто что с моим внучком, с Ванечкой?

— повторила она уже гораздо спокойнее, губы сами собой перекинулись, глаза налились слезой.

— Ясно, садитесь,— остановил ее Иона Иопыч. Та села не очень до-вольная тем, что ее сбили со слова.— Ясно, родственные отношения... А вы? — выделил жестом он Селиверстову Зину — худую, нервную женщину с болезненным тонким лицом.— Вот вы почему? Вы ведь боли боитесь. Ведь резать будут, это ужасно больно.

— Боюсь, — едва слышно сказала Зина и задержала дыхание.— Палец порежу когда, сердце заходится... А тому ребенку-то разве не больно? У меня вон их трое по лавке, за любого дашь руку отсечь...

— На почве родственных отношений,— сделал ей знак садиться, кинул через плечо свите Иона Ионыч и повернулся к Карпу-Полукарпу: — А вы?

— Мы-то? — переглянулись они,— Мы — начальство, нам без того-этого, брат, нельзя. Нам реагировать следоват.

— А вы? — указал Иона Ионыч на крупного, с окладистой бородой деда в углу, давно его приметил.— Как вас зовут?

— Дед Петро первый,— зашумел народ.

— Да ну? — изумился Иона Ионыч, ему стало крайне интересно, даже смешно.

Оказывается, деда называли здесь первым, поскольку в Крепышах был еще дед Петро, немного подробнее. И хоть тот, второй, уже помер, этого, живущего, все называли по-прежнему первым.

— Ну вот вы, именно вы... первый... почему? — повторил вопрос Иона Ионыч.

— Я-то? — привстал дед Петро первый и посмотрел зачем-то себе под ноги, потом на колени, на грудь.— Пришел, одно слово, и все,— махнул он рукой и сел. Потом встал опять и прищурился.— Это верно, кожа у меня уже старая, не подходит. Так ведь как оно рассудить. Н-но! — тут он вздернул, словно конь, головой,— когда-то были и мы я те дам. Мой дед — эвон люди сидят, соврать не дадут — служил у царя в лейб-гвардии. Пятак царский — с орлом

и короной — пальцами слушит и ни мур-мур. Под жеребца подсядет и встанет, а жеребец, как воротник у него, брык-брык...

— Ясно,— остановил деда Иона Ионыч.— Ты — старый солдат, боли ты не боишься.

— Хм, боишься,— усмехнулся дед Петро первый и повел головою вокруг.— Да у меня все и без того исполосовано, в дырках. Мы, братцы мои, от шрамов не бегали, грудью стояли. Между прочим, участник трех войн, семь раз ранетый, из них два тяжело, в последний раз фугасом под Понырями. А ничего, отремонтировали,— хлопнул дед себя по коленке.— Латан-перелатан, на мне, как па собаке... Я к тому,— подался он чуть вперед, к Ионе Ионычу,— что у меня хучь кожа и ношенная, да сносу ей нет. Если тому мальцу ее,— засмеялся дед Петро первый и сбил свой заячий малахай на затылок,— никакая тебе война, никакое ранение... Так что пиши меня в списочек, не ошибешься. Так и так, мол, от деда Петра, бывшего защитника, дитю тому — будущему, значит, защитнику...

— Короче, патриотизм,— оглянулся к своей свите Иона Ионыч, те, не поднимая глаз, строчили в блокнотах.— Патриотизм, товарищи! — голос Ионы Ионыча зазвенел благородным металлом,— Это великая вещь, движитель наших дней. Спасибо, товарищи, большое спасибо. Я лично другого от вас и не ожидал. Общие интересы, беззаветная любовь к стране, стремление прийти на помощь друг другу — вот черты нашего современника, настоящего человека. И вы, дорогие товарищи, только что это прекрасно нам здесь продемонстрировали. Мы все тут,— Ион Ионыч опять повернулся к своим ассистентам, то оторвались от блокнотов, закивали, задвигались, заулыбались,— мы все вами очень гордимся...

Дело подходило к концу. При последних словах областного представителя мысли у Витьки Сермягина взвились: «А как же я? Даже деда записали, а... меня? Да с него, Витьки, шкуру хоть на барабан. Сколько он носится по всем этим стройкам. Само собой — деньги платят, само собой — белый свет видит, но хоть бы разок кто черкнул в газету... А

тут такой случай... И слп даже в районную, то и из нее Зося из Каменки все узнает, она газетки читает»...

— А как же я? — поднялся растерянно Витька Сермягин. — Я ведь раньше, чем дед, в числе первых.

— Осади, доброволец, — усмехнулся дед. — Знай, дуби еще кожу-то, время твое придет.

— Так вот мы все вами очень гордимся, — наконец, связал Иона Ионыч обрывки мыслей. — А теперь остается сказать самое главное: кто это мы? — Здесь он сделал передышку и дернул галстук левой рукой. — Мы — это социологическая лаборатория при нашем областном педагогическом институте, а я ее руководитель, доцент. Тут некоторые ошибались, называя меня профессором. Мы исследуем...

Навалилась тишина, даже дырка в окне перестала свистеть. Лишь дрова трещали — известно, осина дерет, что резина.

— Я ж говорил, — первым очухался Витька Сермягин и во всеуслышание провозгласил: — Говорил, никакие они не врачи. Где у них эти... белые халаты и крест на машине?

Ближние тут же прижались к окну: в самом деле, нет креста на машине, нет и белых халатов. Социологическая лаборатория. Что хоть это такое? Семенная, молокоприемная, коноплеводческая...

— Мы, товарищи, — как на лекции, заиграл твердо поставленным голосом Иона Ионыч, — проводим исследование такого порядка: как наши люди реагируют на несчастье друг друга, насколько смогут быть активны в моменты больших потрясений...

— Так где же тот мальчик-то? — перебил его дед Петро первый.

— А никакого мальчика нет, — вскинул брови Иона Ионыч и щелкнул пальцами. — Это, так сказать, миф, легенда, если хотите, сказка.

— Брехня, значит, — сказал дед сокрушенно и вздохнул едва слышно: — Сволочи, а? Кого — свой народ проверяют.

Сразу же со всех скамеек взметнулись крики. Кричали все вместе и врозь.

— Бегу, а белые мухи мельтешат, прыгают,— выделялся голос Невцветаихи.— Ну, думаю, Ванечка, внучек мой, а это... исследование. Ишь, что на людях удумала эта лаборатория.

Напряжение спало. Сидели теперь, не стесняясь приезжих, вели меж собой разговор, тары-бары.

— Это у меня горло сейчас неправильное, труба заржавела,— оправдывался перед бригадирами дед Петро первый.— Как раз желёзки раздуло, а то бы как гаркнул, ссадил бы в момент.

— Сказал он, а мне как по глазу, сто огней засияло,— наклонялась, встревала в их разговор Селивёрстова Зина, та, которая боялась всяческой боли.

— Мальчишка, говорит, это... маслом себя. Без аннексий и контрибуций,— через Зинкину голову доносил свою мысль бригадиру Карпу Полукарп отстраненный.

— Да, глаз у тебя слабоват, щелчком можно,— обращался к Селиверстовой дед Петро первый.— Ничего, если что, вставят теперь и стеклянный. Теперь медицина...

— Не знаю, что бы и отдала, здоровычко возвернуть,— едва сдерживала себя Зина в слезливости.— Бактерия одолевает. Дают на медпункте таблетки, чтоб сердце не падало, да что там таблетки. А тут, говорят, врачи из города. Полмашины врачей. Я опрометью.

— Бактерия — да, особо когда больная,— кивал ей дед Петро первый.— А то, понимаешь ли, горло, труба заржавела. Есть, говорят, такой колодец — нарзан называется. Вставят трубку в него, и вода бузует себе. И мне бы так-то. А то теперь засипел, сбился с курса на целый месяц... А эти приехали, думают, мы тут ничего не соображаем, а мы тут тоже кой-чего в стратегии шпрехаем. Война эта по свету дала поблукать, кой-чего повидали.

— Витька! — перегнулся через скамейку назад Полукарп, тот, который был от всего отстранен.— Ты скажи ему, этому... в галстук... спроси, мол, что это за такое явление природы: в Казахстане, мол, мальчишка, гигант, три года, а уже пятьдесят кило. Как на это смотрит лаборатория?

— Сам спрашивай,— огрызнулся Витька Сермягин.

— Пятьдесят? — удивился дед Петро первый.— Прямо какой-то ста-туй.

— Выпил и сиди,— усмирлял бригадир Полукарпа. — Скудо за скуло не заводи, дай людям спокойно уехать.

— Ах, боже ж мой, — вздыхал Полукарп от всего отстраненный.— Все-то учат нас, как пахать, когда сеять. У меня грудь болит за работу, пусть дают мне штатную.

— Ты потише, потише,— гладил его по плечу Карп, бригадир.— Не твори безобразия по нетрезвому состоянию. Сейчас это, знаешь сам, р-раз и под указ.

— Ладно,— соглашался Полукарп Измоденов.— Ты спроси у них лучше, куда они дели мальчонку,

— Какого, статуя?

— Ну того, обварили какого.

— Так его, говорят, вовсе и не было.

— Как не было? А обварили... Натворили делов, а с нас кожу драть? Не па-а-зволю...

Иона Ионыч стоял, потерявшись. Долетали обрывки фраз, целые фразы. Своя жизнь у них, свои интересы. Следовало более менее достойно выйти из этого положения, соблюсти вид хотя бы перед своими сотрудниками.

— Между прочим, в соседнем селе мы уже проводили все это,— откашлялся Иона Ионыч.— И ничего.

— Так это оглобли там не оказалось,— едва слышно подал кто-то голос из массы, но Иона Ионыч услышал. Кажется, тот вон парнишка, что тоже просил записать.

— Какой оглобли? — шевельнул машинально губами Иона Ионыч и понял, скажи, что глупо, не надо.

— А ну, Витьк, скажи ему,— порывался встать со скамьи Полукарп отстраненный, но Карп усаживал его, все урезонивал.— Покажи, Витьк, где раки зимуют.

Иона отвернулся от них, захлопнул блокнотик.

— Ну, хорошо. Вся программа исчерпана. Спасибо вам, дорогие товарищи, за ответы. Конечно, с ребенком не совсем все оказалось продумано. Вы тут нам кое-что подсказали, возможно, от этого хода следует отказаться. Однако вы дали нам яркий, разнообразный и весьма содержатель-

ный материал. Наш современник, как и предполагалось, оказался на высоте... Иными словами, товарищи, не побоюсь высокого «штиля», как это в песне: когда страна быть прикажет героем... Спасибо и до свиданья.

Было уж сумеречно. Народ расходился. По Крепышам, там и сям, в морозном воздухе слышались голоса. Последними выбирались из дома бригадиры Карп-Полукарп. Карп Щепотин поддерживал одной рукой отстраненного, другой вешал замок: «Все, ларчик этот для тебя больше открываться не будет». — «Карп, — хватал Полукарп воздух руками, — а где туалет? Был здесь. Вот что значит кругом изменения».

«Уазик» ждал Карпа Щепотина, не уезжал.

— Ты что с ним валандаешься? — хмурился председатель.

— Да он же пятнадцать лет был бригадиром, а я сколько? Подучивает, — ответил уклончиво Карп и предложил: — Может, ко мне заедем? Я жене уже стукнул, чтобы картошечку там, яишенку... Да я тут через два двора, можно и без машины.

— Ну нет уж, — подал звук с сиденья возле шофера Иона Ионыч. — Это все-таки техника, куда от нее? — И вспомнил при этом парнишку, ска-завшего про оглоблю, передернул плечами.

Торопко заскрипели шаги. Оказалось, жена Щепотина, Валентина. Подошла, закрасневшись, выделила из всех председателя:

— Вадим Еремеич, прошу к нам. Уже все на столе. И вас прошу, дорогие гостечки, — обернулась она к областным и подмигнула Клятному: — И графинчик поставила.

Председатель смотрел в одну точку, покачал головою, вздохнул: нельзя, Валентина, завтра с утра на бюро. Иона Ионыч сказал тут же: а нам в соседний хутор.

— Тоже с ребеночком? — не выдержала Валентина.

— С каким это?

— Ну какого вы возите... Правда иль нет, — двинулась она к Клятному-му. — Нюрка, соседка, тут прибежала, говорит, ребеночка где-то нашли, кто-то сжег. Грудного прямо, есть же такие изверги. Кожу ездют на него собирают.

Иона Ионыч, угнувшись, молчал.

— Будет тебе, сорока,— остановил жену Карп.— Рас-трещались. Кожу им собирают. Собирают,— ухмыльнулся он,— и не на ребеночка, а на сапоги.

— На сапоги! — всплеснула Валентина руками и покосилась на него: — Не плети.

— Ну ты думаешь, что повторяешь? — стыдно стало Карпу за Валентину.— Это ж так только Гитлер мог: шкуру для сумочек драть с людей, как с крокодилов. И вообще, прекрати!

— Всегда так с женой,— поднялась Валентина обиженно.— То молчит месяцами, а то вот так — прекрати!

— Ладно, Валюша,— засмеялся председатель.— Ты баба еще в соку, я тебе мужика другого сосватаю — Измоденова Поликарпа.

— На черта он! — вспыхнула Валентина.— Этот хучь дело делает, да молчит, а тот... Мой-то лишнего не пропьет, а другого корить не хочу.

— Молодец, Валентина,— подмигнул председатель,— Летом в ясли нянчить детей пойдешь?

— А правда, Вадим Еремеич,— наклонилась она к Клятному, задышала в самое ухо,— про того, про ребеночка, а? Про сожженного-то? Я же там не была, ничего не слыхала.

— Выбрось ты это все из головы, как и не было,— посоветовал Клятный.

Ночь совсем загустела. За окном ни луны, ни звездочки. Тьма тьмушая, поля, перелески, стихия. И стоит у последней хаты с оглоблей тот парень, ничего себе, прыткий парнишка. У Ионы Иовы даже засосало под ложечной. Мотаешься вот так по командировкам, зарабатываешь себе язву, крутишь мозгами, выкручиваешься, ведь совсем-совсем новое дело, Москве даже небезынтересно, Москва заинтересована, вакансия у них даже имеется... А тут, вполне возможно, оглоблей, обидно...

— Бабам нашим жалко стало ребеночка-то,— вздохнул Карп,— Они у нас дюже жалостные. На той неделе у Невцветаихи крыльцо отгорело, так они все сбежались, сотни три ей насобирали, моя тоже десятку снесла.

— Ехать надо, — толкнул шофера Иона Ионыч.

«Уазик» катил санным следом. И откуда он взялся, совсем свежий? Проезжали мимо бригадного дома, конюшни; словно вымерло, лишь разок бухнул о пол жеребец и отфыркнулся. Впереди между туч прокололась звезда. Или волк где-нибудь на холме? Или сигарета? Говорят, прошлой осенью завезли из Сибири и пустили по области волков.

*с. Турейка*

### «ЗДЕСЬ СИДЕЛ ХРУЩЕВ»

Глава Глушковской районной администрации Локотко плотненько, как надо, сидит в кабинете бывшего предрика. За спиной его, на месте пятна от портрета, по салатного цвета стене растянута «триколер» — трех-цветный российский флаг. А на столе все тот же набор цветных телефонов, все те же шкафы с брошюрками, в которые давненько что-то никто, кроме мух, не заглядывал. Под ногами все тот же ковер, по какому теперь, кроме того, ходят «новые русские», то есть предпринимали, жрецы обновленного времени.

Одни из таких — Зелепукин — и стоит сейчас перед хозяином кабинета, препровожденный сюда самим начальником райотдела милиции. Начальник дожидается в приемной части Зелепукина, что ему с ним дальше-то делать — сажать или не сажать?

— Ты что же это, Иван Корнеич, — откидывается Локотко на спинку кресла, обращаясь к Зелепукину с увещательным тоном, свалился же, как снег на голову, — чего опять там творишь? Основы основ, говорят, подрываешь? Печать себе какую-то справил, куда попадая лепишь... Ну прямо-таки сепаратизм развел. Республику в Петушках у себя там провозгласил, президентом себя объявляешь. Вот и приходится тебя, такого ретивого, подвергнуть приводу. Ты хоть соображаешь, что за этим твоим суверенитетом стоит?..

— А чего там соображать-то, — переминаясь с ноги на ногу, стоит перед гневным начальством Зелепукин и отсутствующим взглядом смотрит в окно, за которым уж сюда, до третьего этажа, дотянулись своими макушками голубые

ели. — Нас на «ковер» всегда вызывали, мы к этому делу привычны...

— Плохо тебя прежние власти учили, — вздыхает Локотко. — Мало били, шкуру драли с тебя... Неужто как бывший председатель сельсовета не знаешь, что такое печать? Это же инструмент государственной власти! Не лепил бы куда зря — до сих пор бы сидел... главой администрации, мы против тебя ничего не имели... А ты тогда что сотворил, женщину опозорил — семью разбил, пришлось уезжать человеку за пределы района...

— Печать? Какую печать? — переводит взгляд сюда, в кабинет, Зелепукин и вздыхает шумно, как мерин, который стоит теперь некормленный там, перед милицией, вот уже вторые сутки. — Ту или эту?

— Что — «ту» или «эту»?

— Ну печать.

— Ну «ту» — сельсоветскую.

— Ах ту! — переступает с ноги на ногу Зелепукин. И тут глазенки его загораются, он делает шаг вперед и, перегнувшись через стол, переходит на шепот, нервно подхихкивая: — А хочешь, Ксаныч, я тебе все про нее как на духу... хн-хн... Дело прошлое... хи-хи... За что вы тогда меня с председателей вычистили...

— Ну давай, — выражает Локотко полную заинтересованность.

— Это же, как айсберг, Ксаныч. Вы знаете про то дело какую-то третью часть. А те, что меня вычищали, и сами в том споре участвовали...

— Ну кто-кто!

— А-а, — отмахивается Зелепукин. — Ну председатели, корпус председателей, теневой кабинет. По субботам в посадках собираются и обсуждают районные были, районом фактически руководят... Ну об чем говоря мужики, когда соберутся?

— Да, об чем?

— Попервах о делах, а потом, конечно, про баб... Вот я и ляпни по пьянке, — криво усмехается Зелепукин, — как с одной бабенкой, то есть с женщиной, тайно встречаюсь.

Да, на полном интиме! С Зинкой Санниковой, библиотекаршей... «Да у нее, — говорят, — муж в районе начальником». — «Ну и что?» — говорю. «А чем подтвердишь?» — «А увидите...» И заспорили, и по рукам. В другой раз муж ее сам уже был с нами на кустовом совещании. И за груди меня: «Ублюдок! Жену мою оскорблять?!» Ну к слову по слову, членом по столу. При всех, значит, я побожился. «А чем, — говорит, — удовлетворишь?» — «Потом узнаешь, скажу...»

— Ну и что — удостоверил? — не удерживается Локотко.

— Ага, на свою шею, дурак, — вздыхает Зелепукин. — Ну сделал я с Зинкой свое прямое мужское дело и говорю: «Давай мы это самое дело оформим, как в ЗАГСе». Задрал, значит, платье ей и близь этого дела печать — шлеп! — и хотел еще расписаться, чтоб скрепить наш творческий союз, да Зинка не разрешила. Хватит тебе, говорит, так шутить...

— И что потом?

— А потом — это уж все знают, — стоит, как святой, перед Локотко Зелепукин. — Мужик явился домой подвыпивши и к ней: «А ну-ка, — говорит, — подыми платье». — «Ты что, одурел?» — это она ему. А он ей твердо этак: «Нет, ты подыми...» В общем, сам поднял — а там печать. Прочитал: «Петушковский сельский исполнительный комитет»... Эти же мужики меня потом на бюро и сымали...

— Врешь! Быть такого не может! — откидывается Локотко снова назад спиной к креслу. — Для чего, интересно, ты все это мне рассказываешь? Личность свою отмыть? Эту печать свою хочешь юмором, печатью той, сельсоветской, прикрыть?

— Какой юмор? Чем прикрыть? — боком-бокoм к столу становится Зелепукин. — Сами знаете, без печати сейчас никуда, верно? Ты вроде и не человек. А с печатью ты кто?

— Начальник.

— Ну да. Только голову надо иметь...

— Ух, какой ты умный! — гневаясь, приподнимается Локотко и вверх-вниз телефонную трубку, туда-сюда. — Придурка все корчишь, вроде недопонимаешь!.. Страну разваливаешь, государство дробишь. С вас таких все и

начинается. Если уж в каждом селе начнут объявлять республику, сажать своих президентов, что же тогда с какой-нибудь автономии спрашивать, с той же Чечни?.. Где хоть печать-то ты эту добыл?

— Какую? Эту... или сельсоветскую?

— Да ту ж у тебя отобрали.

— Новую отобрали, а старая осталась. Что ж я дурак, что ли... оставил на всякий случай, как офицер при дембеле у себя пистолет... Значит, ту ай новую, эту — мою собственную, личную? Как вы говорите, «сепаратистскую»? Да вы сами мне ее и выписывали.

— Да что же ты это так... лепишь все напрямую, без зазрения совести! — вскакивает тут Локотко и начинает метаться по кабинету. — Меня теперь еще вплетаешь в эту свою авантюру. Еще скажешь, что я твой сепаратизм поощрял. Петушковскую республику создавал, тебя лично президентом назначил.

— А то кто же, — кашляет в кулак себе Зелепукин. — Да все это враги клеветуют, противники нового. Мы в расчет их не берем, и вы не берите, чего их брать-то, они всегда против всего...

— Кто это «мы»? — сдвигает брови начальство.

— Мы — народ. Петушки наши, — показывает Зелепукин свои белые зубы. — За кого сейчас радио и телевизор только и долдонят ...финансисты, предприниматели, труженики села...

— Труженики села! — злится еще откровеннее Локотко. — Ты эту ста-рую дурь-то, прежнюю терминологию, из головы выкинь...

— Вы же меня убрали из сельсовета, — продолжает Зелепукин как ни в чем не бывало. — А тут эти события... «Ну, Зелепукин! — говорю я себе. — Твое время пришло, мозгами надо шурупить». Взял и создал, как вы знаете, ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью, это как раз по мне... Вы же мне и бумагу подписывали. А печать потом сделать — раз плюнуть, в три дня... Только я ее маленько по-своему сконструировал, как покороче... Ну что это? Товарищество... с ответственностью, но ограни-

ченной... А я привык пули грудью ловить, так?

— Пули лови! Но меня не втягивай, — все еще отгораживается от него Локотко. — Ну и что хоть ты сотворил, какую печать? Покажи...

— Начальник отобрал.

— Какой?

— Милиции.

— А зачем?

— А черт его знает. Она, говорит, тебе больше не понадобится. Скоро, говорит, указ президента выйдет, и мы вас, таких президентов — городских и деревенских, — всех за решетку упрячем. Осточертели все вы, сепаратисты! Это от вас, говорит, прет всякая уголовщина. Вы беспорядок наводите...

— Так и сказал?

— А еще, говорит...

— Слушай сюда, — вперяет взгляд в Зелепукнна Локотко, — не опережай события, не опережай... Слушай, а что там у тебя на печати начертано?

— Я кратко, Ксаныч, короче нельзя: «ТОО. «Зелепукин». Президент».

— Ну вот! Объявляешь себя президентом.

— Так главой товарищества, с этой, неограниченной...

— ...безответственностью?

— ...ответственностью, под своей фамилией «Зелепукин». Так все теперь делают. Гляньте вон, даже своими женскими именами магазины по городам называют. Всем можно, а нам, деревенским, значит, нельзя под своей фамилией, да?

— Не дури, Зелепукин. Больно прыткий. Район мне тут на куски раскалываешь, всю страну, — останавливает сельского жителя Локотко. — У меня тут от вас, от таких художников, голова идет кругом... Сигналы на тебя отовсюду. Имя Хрущева зачем-то используешь...

— Какое имя? Кого использую?.. Ах, Никита Сергеича? Что, и это нельзя?.. Все сидят под портретами, как и сидели, — и ничего. А мне, значит, нельзя... Все помнят, небось, как Хрущев проезжал к себе на родину в Калиновку Кур-

ской области через наше село. Посетил наше правление, посидел на стульчике, попросил водички. Старый председатель потом под это дело фонды и ордена выколачивал, это факт... А потом про это дело забыли, все заветрилось, иные пошли времена и художники...

— При чем тут Хрущев? Ух, Зелепукин! Как лиса крутишь...

— А при том. Правление новое построили, а старое здание забросили. А я для товарищества взял и выкупил и Хрущева реанимировал.

— Как это... реанимировал? Хрущев, слава богу, лежит себе на Новодевичьем кладбище.

— А так. Снова вывеску восстановил: «Здесь сидел Хрущев». И сам сел под эту вывеску. И еще портрет его за собой повесил — из пыли изъял, на чердаке валялся... И народ пошел, И идут, и идут ко мне, как к самому Никите Сергеичу. А я им по силе-возможности помогаю... А я что виноват, что они идут? У меня средства, товариществом на зерне взяли мы хорошо. Есть за что то бетонную трубу на колодчик поставить, то старушке материально помочь... А нынешний сельский глава Голобоков сидит в жо... в жолобе своего кабинета и фамилию свою отражает... Ну и злится на меня. Иван Ксаныч, слухи всяческие распускает...

— Ну ты прямо ангел божий, — усаживается поглубже в кресло свое Локотко и нажимает на кнопку. — Н-да... Клавочка! А ну скажи начальнику милиции, пусть войдет.

Входит начальник райотдела милиции Коноплев.

— У тебя печать этого... субъекта федерации? — кивает глава на Зелепукина.

— Вот, — извлекает Коноплев из штанов печать и подает Локотко.

— Так, — разглядывает Локотко печать, подходит к окну, читает: «ТОО, «Зелепукин». Президент»... Ты это что, — обращается он уже не к начальнику, а к препровожденному. — Ты это, брат, «Зелепукнна» отсюда убери. Сделай как-нибудь по названию местности, что ли. Как во Франции, например, по департаменту, по названию рек. Или как у нас совнархозы были — Приокский...

— «Петушков» поставить, да? — охотно соглашается Зелепукин. — А то, может, «Хрушев»?

— «Петушков»? — строго смотрит начальник райотдела милиции на Локотко. — Да у них там полсела Петушконы. С одним морока, хлопот не оберешься, а то каждый будет считать себя президентом, представляете?

— Слушай сюда, — поворачивается к Зелепукину Локотко. — «Хрущев», понимаешь, тоже нельзя. При чем тут Хрущев?.. Ладно, пушай остается, как было. Но печать применяй только по делу, в целях экономики. Не лепи в корыстных своих политических целях... И язык придержи, не греми им как есть, напрямую. А то, думаешь, если Хрущев там у вас водички попил, так вам все можно... Ну иди, а мы о тебе тут подумаем...

— А чего думать-то? — медлит уходить Зелепукин. — Семьдесят лет думали — ничего не придумали. Хоть бы новые обои, что ли, поклеили, а то пятна, гляди, от портретов...

— Он же нас всех тут... под монастырь подведет, — стонет начальник милиции, крутя своей головой. — Всех нас пересажает...

— Ладно, худоба, иди. — смеется нервно уже Локотко. — Идите оба отсюда, идите!..

— Близок Локотко, да не укусишь, — уходит из кабинета Зелепукин. стараясь выйти в затылок вслед за начальником райотдела.

Голубые ели, такие же, как и в Москве, на Красной площади, у Кремлевской стены, смотрят в окно сюда на Локотко. Глава районной администрации глядит задумчиво на эти кремлевские ели. Затем берет лист ватманской бумаги и с удовольствием, смачно лепит на ней печать. И крутя головой, подхихкивая, размашисто чертит крупными печатными буквами: «Глушково. Локотко-президент».

*г. Малоархангельск*

## ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ

Под 8 марта на Кондрата Сироткина свалился указ: его жене, Пелагее Артемовне, присвоили звание матери-героини. В районной газете «Звезда» прямо так и напечатали: мол, за рождение и за воспитание двенадцати детей для нужд Родины. Кондрат по этому поводу трахнул маленько и направился через дорогу к Спиридону Тимофеичу, дружку своему или неприятелю, это уж как понимать. Шел Кондрат, улыбался в предначертаниях того, как сразит сейчас Спиридона. Всю жизнь у них друг перед дружкой гонка. Спиридон из села на железную дорогу, и Кондрат за ним. Спиридон Тимофеич уже кладовщиком, а Кондрат все в обходчиках. Затеял Кондрат избу с шиферным верхом, а Спиридон в пятистенник свой позже начал, а уже переехал. Но сегодня перед всей Белорецкой исторический факт: Пелагея — мать-героиня. Не фунт изюму: двенадцать душ, как двенадцать апостолов. Спиридону и крыть нечем...

Кондрат вошел, когда Спиридон Тимофеич как раз держал в руках райгазетку.

— Ну и как? — сверкнул одним очком ехидно Кондрат, другое уже как с полгода было зашито фанеркой. — По ки нам теперь будешь бесплатно шататься?

Спиридон старается быть равнодушным:

— Хватай выше.

— А что ж тебя на племенную ферму, что ли, такого корявого? — смерил хозяин Кондрата презрительным взглядом.

Кондрат даже рот забыл запахнуть: да разве же дело в росте? Взял бы тогда жирафу. Дело, так сказать, в организме, во внутренних органах. Он, Кондрат, двенадцать душ поднял для нужд государства, а Спиридон чего? Только троих. Кто, выходит, лучше разбирается во всех этих нюансах? Спиридон, конечно, низвергнут, иначе бы так сразу не дешевил. Подумать только, — «корявый». Сам хорош: как взялся еще с войны офицерскую фуражку носить, так с той поры и носит. Захватал, засалил, даже моль не берет. Голова от фуражки, как же тебе, поумнеет.

— Чаем меня теперь потчуй, — закидывает Кондрат ногу

за ногу и вытягивает из кармана чекушку.

— Это за что ж тебя потчевать, а, Кондрат? — подает голос из сенец Спиридонова свояченица Агнесса. («Тыфу ты, черти б тебя, пустая бочка, язык об нее обломаешь»).

— А Пелагея Артемовна у меня теперь — ай не слыжала? — мать-героиня. Вся страна знает, тебе одной неизвестно.

— Ну, Артемовна ладно, а тебе-то что?

— Она — героиня, а я тебе что - был... в свидетелях?

— Их-их-их, — заклохоталась, затряслась от смеха Агнесса, замотала рукой.

Пока Кондрат баял байки с Агнессой, Спиридон Тимофеич подготовил стаканчики, кое-какую закуску и выработал стратегический план.

— Кондрат! — сказал он торжественно и хлопнул по плечу гостя. Кондрат насторожился: всегда так торжествует, когда что-то промыслит. Но тут дело твердое, наградной указ. — Нам эту неделю работать бок о бок, бригадир захотел, просил подготовить к севу эту... семенную элиту. Так вот кто я тебе — друг или нет?

— Н-ну... д-друг, — замаялся Кондрат.

Спиридон Тимофеич огляделся вокруг, для пушей осторожности не поленился, выскочил в сени, нет ли кого, и только потом наклонился, зашептал Кондрату на ухо:

— А ты уверен, что у тебя их одиннадцать?

— Двенадцать, — поправил его Кондрат.

— А ты посчитай, подбей бабки.

— Кондрат, Семен, Полина, Степан, Сергей, Николай первый, Николай второй, — загибал пальцы Кондрат.

— Э-э-х, тут у тебя было затемнение, имен тебе не хватило, — вставил свое Спиридон.

— Первый-то, думали, не жилец, а он выжил. Да ты не перебивай! — рассердился Кондрат. — Варвара, Эполет...

— Ну и имя господь послал, как у жеребца.

— Не перебивай же! — взмолился Кондрат. — Ипполит... Антон...

Верно, выходило одиннадцать.

— Ну вот, — повернулся Спиридон Тимофеич к нему тор-

жествуююще. — Что я тебе говорил? Концы с концами, не сводятся, дебит с кредитом. Она подает сведения на двенадцать, а по твоему счислению их одиннадцать. Это как, я скажу тебе, понимать?

Кондрат кинулся снова считать, снова вышло одиннадцать. Кондрата даже в жар бросило: нет, серьезно, но чему же одиннадцать, даже в газете, надо верить, сообщается про двенадцать. А Спиридон смотрит в окно и ухмыляется.

— Может, это я... напутал чего? — говорит Кондрат в неуверенности. — Когда еще света не было, то есть электричества? Не так считал.

— Может, это Пелагея чего напутала, когда света не было, а? — смотрит с сочувствием Спиридон Тимофеич. — Может, ты отцом себя какому-нибудь одному не считаешь? Почему тогда считать у всех остальных? Эх, брат Кондрат... Да ты не горюй, ты крепись. Что ты лорд какой-нибудь английский? Что тебе, замки, миллиарды завещать детям? Небось, кроме этого вот задрипанного зипуна, ничего и не накопил.

— Чего ты? — снимает ногу с ноги Кондрат и запахивается покруче. — Ты троих поднимал, а я... я...

— Одиннадцать. Ведь одиннадцать? Одиннадцать. Ну еще посчитай. Хоть ты тресни, одиннадцать, — смеется теперь уже откровенно Спиридон Тимофеич. — Если, конечно, тебя считать за двенадцатого. Так она теперь и не упомнит, сколько раз тебя подымала. И в старинные, и в советские праздники. Тут ты первый, тут без тебя не обойдется. Пелагеюшка руки пообрывала...

— Ты, Спиридон, помолчи, помолчи, — останавливает Кондрат супротивника. — Как это пообрывала? А я куда подевался? Такую ораву поставить. А вот ты только троих: Веньку, Катьку и Стеньку.

— Зато у меня качество, понял? — выставляет большой палец Спиридон Тимофеич. — Сколько из твоей братвы шлындает по свету, не знает, где притулиться? Там им не ндравится, тут не по вкусу. А мои все трое дошли до ума и, между прочим, в почете. Стенька даже этот... адьюнкт.

— Что же это такое ад... адьюнкт? — не сдерживается

Кондрат.

— А черт ее знает, — говорит уже мягче Спиридон Тимофеич и надевает очки в золоченой оправе. — Ну, на генерала, что ль, учится. — И отставляет от себя райгазетку, целится в нее издали. — А ты, Кондрат, когда окно в очках вставишь?

— Да ладно тебе, окно!

— Да не ладно, а вставь. На тебя теперь люди будут глядеть, у тебя жена — героиня, — рассуждает Спиридон Тимофеич, — Вам таким, отчаюгам, только дай звание, мигом его приспособите. То по кинам начнете шлындать бесплатно, то в магазин с заднего отверстия. Нам таких, скажу тебе, Кондратий, не нужно. На таких мы и сами герои. Ты герой, когда впереди, на лихом коне...

— Начни еще про гражданскую, — пытается вырвать Кондрат упущенную инициативу. — Как ты ездил в обозе, портянки Чапаю крутил...

— Ну крутил, и что дальше? Что ты есмь, человеचे?

— А я тоже не зря жил, колхоз создавал. Вдвоем с Пелагеей создали... из двенадцати душ.

— Из одиннадцати. Сам же считал, из одиннадцати, — стоял на своем Спиридон Тимофеич.

— Ну, из одиннадцати, — сказал мрачно Кондрат и подумал о Пелагее: «Ну, стерва, приду домой, допытаюсь. Срамить меня перед всем Советским Союзом!»

— Ну, давай еще по одной за успехи? — тянется к шкапчику Спиридон Тимофеич.

— За какие... успехи? — еще больше мрачнеет Кондрат.

— А за всеобщие, — ловко подцепливает свинушек пилкой Спиридон Тимофеич. — В общем так, за твой с Пелагеей ... вообще за коллектив.

— Нет, я пью за себя, Спиридон, — откачнулся Кондрат. — У меня праздник, и я за себя. А за тебя не хочу...

Домой Кондрат пришел поздно. Повалил в сенцах ведро с водой, зацепился за половику. Сын с дочкой, последненькие, зашевелились в спальне.

— Ты што ошалел, леший? — вывела его Пелагея на кух-

ню.

— Кто у меня двенадцатый? Кто? Перечисляй, — надвигался на нее с кулаками Кондрат. — Перечисляй! Кто у меня двенадцать апостолов? Кто?

— Да ты што, ты што? — наклонялась она к нему, теплая, мягкая, только что из постели.

Ночевал он на сеновале. Жена растолкала его уже днем, стояла перед ним босая, простоволосая, с синяком ниже глаза. «Одурел на старости лет, с ума спятил?» Кондрат слушал ее, опустив голову: ломило виски. Перед глазами вдруг всплыло ехидное лицо Спиридона Тимофеича: «Что ты, лорд, что ли, английский? Что тебе, замки, миллиарды детям передавать?»

— Перечисляй! — мигом вскочил Кондрат на ноги. — А ну давай своди дебит с кредитом.

— Значит, так, — начала Пелагея, — Кондрат, Семен, Полина, Степан, Сергей, Коля первый, Коли второй...

— Варвара, Эполет...

— Ипполит, Настюша...

— Какая Настюша? — уставился Кондрат в Пелагею.

— А та, что после Ипполита. Ты разве ее не считаешь?.. С поезда сняли тогда в чем душа была. Досталось ей, бедненькой, там, в Ленинграде, в блокаду... Ну и что ж что не кровное? А ведь наше дите, наша Настюшка?

— Наша, — согласился Кондрат. — Верно, наша, мать, наша! — схватился он за голову и аж заплясал.

Остановился и погрозил в дверь: «Ну, Спиридон Тимофеич, ненавистник людской, ну, злодеюга! Опять обкатал. Я тебе покажу, как обижать матерей-героинь. Как обзывать человека каким-нибудь английским лордом».

*с. Корсаково*

### ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

«Завтрак на траве» — знаменитое полотно Эдуарда Мане находится сейчас в музее д'Орсе в Париже. Перед этим полотном и «Олимпией», когда-то вызвавшими целую бурю негодования публики и официоза, теперь почтительно стоят люди.

\* \* \*

— Праздники создаются художниками, писателями, а чиновники пи-руют на них, — глядя на небольшое общество у столика на зеленом лугу между Тургеневской усадьбой и бывшим рестораном «Дубок», сказала седая, статная Женщина из работников музея в Спасском-Лутовиново.

И это было, кажется, в последнее воскресенье июня, когда тут отмечали 180-летие своего знаменитого земляка. Нужно сказать, что к небольшому обществу у столика на траве было приковано внимание не столь даже праздной толпы, но и, что бросалось в глаза, сколь горящего взора группки полумолодых людей несколько в стороне. Это были писатели — создатели праздника. И от тех, первых праздников, когда они запросто встречались с народом, их отделяла бездна. В ушах еще стояли обертоны голоса Главного Распорядителя Приоритетов, несущего в массы с трибуны: «Вначале было слово...» Теперь это слово, хотя и под новыми девизами, принадлежало ему.

Согласно этому, театры давали представления на верандах, у Дуба играла флейта, у Пруда Савиной стенала скрипка и молодая певица. А писатели были отправлены, куда и положено по традиции: на Аллею Ссылного. Сюда, в беседку, сквозь заросли «олеандра и левкоя» едва доходило дыхание хора с Большой Поляны...

— Ах, как хочется есть! — сказала когда-то молодая, красивая Поэтесса, которая в свое время могла бы свободно лежать на тех же белых покрывалах обнаженной Олимпией. — Хоть бы кто-нибудь угостил.

Она озирала, прямо-таки глазами ела пространство между собою и столиком, откуда неслись запахи шашлыка, ле-

тели брызги шампанского... «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой...» А с подбородка у пьющего и жующего сбегала желтая, жирная капля. И все дело было еще и в том, что именно по его, Распорядителя, распоряжению Поэтесса со товарищи была накануне оставлена без стипендии и потому влачила самое жалкое существование.

— Ой! — сказала Поэтесса. — Я пьяная! — увидев проходящего мимо вальяжного этакго артиста в роли Тургенева. — Вы — Петя? Можно стрелнуть у вас сигаретку?.. О, как вы изменились, я вас не узнала...

И заиграла всеми своими формами. Тургенев, обычно влачащий такое же существование, а ныне облаканный Мельпоменой, вынул сначала одну, потом вторую, последнюю сигарету.

— Я не Петя, — сказал он фальцетом.

— А я пьяна, в самом деле, пьяна!.. В этой беседке Ссылного от сырости и серости. А ведь я еще не пила, не ела с утра... Ни маковой росинки во рту, хоть бы что-нибудь дали поесть.

— Молчи, дурочка, — толкала ее подруга — писательница, пишушая прозу. — Сразу не раскрывайся! Это же «идиот»... из нового спектакля по Достоевскому!

— А я всегда такая открытая... обнаженная, — сказала Поэтесса. — Вот пойду и стрелну у них сейчас шашлычок.

И пошла туда, где как раз шипела еще одна бутылка с шампанским в руках Главного Распорядителя.

— Послушайте! — подошла к нему Поэтесса, которая вполне могла когда-то сойти за «Олимпию» Эдуарда Мане, лежащую на белых покрывалах. — Послушайте, это вы сказали, что вначале было слово?

— Да, милочка. Это сказал я, но там! — ответил весело Главный Распорядитель. — А тут, я скажу вам, слово ваше последнее. Никто не пришел к вам в беседку? Вы выбрали, служите Красоте? Ну и служите себе на здоровье. Может, когда-нибудь и всплывёте... в исторической перспективе...

— А я-то думала, что это сказано в Библии, — выразилась Поэтесса.

— О! — изумилась седая, статная Женщина — не временщик, а вечный работник музея в Спасском-Лутовиново.

— О-о! — повторили за ней Поэтесса и та Писательница, которая пишет прозу.

И, поняв тщету своих притязаний, обе они от столика возвратились к своим. И тут все вместе, всей группкой, глядя на открытый взорам эффект-ный столик на зеленом лоне, они вспомнили другие времена, когда были молоды, когда, возбужденные, помнится, от встречи с людьми неподалеку отсюда, на Фетовской поляне — в Новоселках, сидели они на траве все вместе, невзирая на лица. И радушный хозяин Володя Афонин не посягал на божественное слово, их вну-треннюю красоту.

И, не сговариваясь, в едином порыве, четверо полумолодых людей, среди которых оказался и артист в роли Тургенева, ринулись на лужайку около столика, откуда неслись также раздражающе нелепые запахи. Чтобы свершить то, что можно свершить сейчас, а в не какой-то «исторической перспективе». И Поэтесса уже снимала с себя одежды, а полумолодые люди принимали классические позы со знаменитого полотна Эдуарда Мане, где двое мужчин сидят на траве в обществе обнаженных женщин. С той только разницей, что один из мужчин был в костюме а ля «Тургенев», а другой — просто так, в галстук.

И перед этой живой, талантливой картиной толпа так и ахнула. Сходство с Мане потрясающее! Вот это эффект! Седая, статная Женщина из музея так и замерла. А Главный Распорядитель с недопитой бутылкой бросился к «мерседесу».

*с. Спасское-Лутовиново*

### ДУШ ПО-ЙОГОВСКИ

У писателя Ивана Чужова мимо вся жизнь проехала. Шутка ли, пенсия уже, а он ни черта не умеет. Прозу возьмется писать — обрезки одни, коротышки какие-то получаются. А за поэзию и не берись, недосыгаема. И вот пенсия назначается, исходя всего из трех минимальных окладов, а он-то всю жизнь на высоких должностях. Обидно, на что укладал свои годы?

Умные люди подсказали. «Ты, — говорят, — Иван Кириллыч, к медицине обратись. Вспомни старые болячки, в больнице недельки три полежи. Глядь, на вторую группу и натянешь. Или хоть льготы какие-никакие оформишь...»

Огляделся Иван Кириллыч и видит: сколько же, в самом деле, ихнего брата чиновника проходит «по вышке» и после в креслах продолжают сидеть. «А мы что, рыжие?» — решил Иван Кириллыч и для начала пошел к участковому врачу.

Участковый врач послушал его, нашел сердце ужасно истомленным от долгих лет злоупотреблений. И, как змеюку какую, навесил на шею ему хреновину, вроде как у милиции, — биостимулятор. Ну чтоб ритмы записывало и от вина отвлекало.

Ни хрена себе процедура! Иван Кириллыч выбросил из чехла ихнюю трубуху и положил туда рюмку и четвертинку. Ходит по улицам да по конторам и посмеивается. Во дураки они, думают, что это у него биостимулятор, а у него тут она, родимая, всегда под рукой. Просто одно удовольствие.

Так. А, во-вторых, для ускорения дела Иван Кириллыч попер сразу в высшие сферы — к приезжему медицинскому авторитету. Из Курска. Из медицинского университета, — так теперь институт у них называется.

И написал ему этот профессор за его, Ивана, кровные денежки целый трактат рекомендаций. Когда профессор писал, у Ивана Чужова прямо-таки глаза на лоб вылезали. Сам-то он хоть и писатель, а давно впал в жанр вдвое короче. И как это можно столько писать? Откуда хоть слова у людей берутся?

Главное, что выловил Иван Кириллыч из профессорского трактата, так это, ну, как его... «душ по-йоговски». Именно этот душ должен снова сделать его человеком.

Пришел Иван Кириллыч в свою поликлинику с трактатом под мышкой, явился на процедуры. А сестра ему и говорит: «Раздевайся», — он и разделся. Сестра говорит: «Сейчас будем делать тебе душ не Шарко, а по-йоговски. — И разъясняет: — 70 притопов по часовой, 36 притопов — справа налево, напротив».

И начала водить сестра по его истомленной груди поливалкой то справа налево — горячей водой, то слева направо — холодной. То горячей, то холодной. То горячей, то холодной... Иван Кириллыч стоит, ежится, аж приплясывает: то холодно — то горячо, то горячо — то холодно... Аж трясет всего, черт знает что! И в самом деле нервы ни к черту, как расшались. «Дай, — думает Иван Кириллыч, — я эту бабу ушлю куда-нибудь с глаз долой. И сам тут как-нибудь разберусь».

— Контрастный душ по-йоговски, — поливает сестра, приговаривает: — Тут горит, и там горит...

— А котлеты по-пожарски, а котлеты по-пожарски, — бормочет Иван Кириллыч. — А котлеты по...

— Где? — спрашивает она.

— А шел сюда, сам видел, в буфет привезли.

Сестра сунула ему поливалку — и в дверь. А Иван Кириллыч сбежал в предбанник за трактатом, встал в позу и заявляет на всю процедурную:

— А теперь устроим себе щадящий режим!

Это согласно рекомендации. А сам думает: «Да разве бывает режим щадящий?» И включает один кран еще горячее, а другой кран еще холоднее. Вода свистит, как из пожарного рукава — из бранспойта, а Иван Кириллыч действует им вокруг себя, как поливалкой, — слева направо, справа налево. И кричит для собственного воодушевления. По часовой ведет — «Я — большевик!» — кричит. Наоборот, справа налево — кричит: «Я — коммунист!»

Да так в раж вошел — невозможно просто. Топочет ногами, глаза закатывает, пена на губах показалась. Но чует уже, что не различает, где холодная вода, где горячая, — ему все равно. Отстранил он от себя поливалку и говорит:

— А чего я так нервничаю? Надо сделать корректировку.

И сделал воду в одном кране еще горячее, а в другом — еще холоднее. И давай поливать себя, но теперь уже с учетом корректировки. В два притопа, в три прихлопа. Справа налево ведет по касательной, кричит:

— Я — большевик!

Слева направо ведет — кричит:

— Я — демократ!

И давай орать во всю глотку:

— Я большевик — я демократ! Я большевик — я демократ!

Так понравилось, так разошелся. Уж ни шума воды, ни тела своего — ничего не ощущает. Материя прямо-таки исчезла, одно только тело осталось:

— Я демократ — я большевик!

И тут Иван Кириллыч критически взглянул изнутри на себя: «Какой же это я большевик, если веду слева направо? Наше дело правое. Это демократы были слева всегда, еще с времен Французской революции».

И давай опять поливать себя. Ведет поливалкой справа налево — «Я большевик!» Обратное, слева направо — «Я демократ!» Опять в раж вошел. Чтобы не запутаться, справа налево — орет на всю процедурную:

— Я большевик — я демократ! Я большевик — я демократ!

А сам притопывает, аж приседает, доски под ним прогибаются. Помнит, что сказала ему профессура: 70 притопов по часовой, а 36 — напротив. «Но, — думает, — что-то не то опять, не стыкуется!» Большевиком-то он должен быть 70 раз, а демократом — 36. А у него и того и другого уже, наверно, по триста... А ну ее к тэттому — ихнюю йогу! Будем делать по нашей системе, по-русски...»

Взял и выключил горячую воду, сделал оба крана холодными. Как дома у них обычно. Это из «детки», по системе Иванова. Иван Кириллыч про нее где-то в журнале вычитал.

Тут, правда, «справа налево» — «слева направо» стали совпадать, зато притопов больше теперь получается. От холода ноги сами о пол колотятся, зуб на зуб не попадает. И кричит Иван, как заело:

Сначала: — Я большевик! Я большевик! Я большевик!  
Потом: — Я демократ! Я демократ! Я демократ!

Начал горячую воду включать — не включается, пропала совсем. Рас-психовался Иван Кириллыч до невозможности. Наливает в ведро ледяной воды. Вспомнилось, как деверь его на Алтае в трескучий мороз выбегает из бани да прямо

на снег или в озеро головой. И, одурев от всего, Иван Кириллыч хватает полное ведро и опрометью в дверь. А на встречу ему сестра — котлеты жует, улыбаясь вовсю:

— Ну как?

И он, не раздумывая, бух ей на голову ведро с ледяной водой...

Очнулся Иван Чужов на кушетке. Врачи собрали консилиум, решают, куда его определить — в вытрезвитель или сразу в психоневрологический? А потом плюнули. ну его к черту! Ненормальный какой-то. Другие такие же — солидный народ, и через душ по-йоговски пройдут себе преспоконненько, и в больничке потом свое отваляются. А этому надо так вот, не по-человечески. А еще писатель, и был когда-то на должностях.

Но дали все же то, что просил, — вторую. А ему теперь и этого мало. Опять повесил на шею этот... биостимулятор. Но уж тут, извините-подвиньтесь, первую группу у нас получают такие, кто забыл, когда и стоял вертикально. Лежачие — кому душа уже, извините, не надо. В гробу видали мы ихние эти самые души. Такая-то процедура!

*г. Орёл*

### ЛАУРЕАТ НА ПАПЕРТИ

Всю жизнь поэту Облонникову что-то обламывается, что-то дают. То талоны на хлеб, то деньжонки за литературную студию, которую проводят другие. А то в почтовый ящик сунут рекламный листок с расписанием теленовостей, которые он забыл, когда и смотрел. Так привок Облонников что-нибудь получать — иу просто невозможно себе представить. А счастья нет, ибо «талан» не талон, — либо он есть, либо его нет. Уж фантазии у чиновников не хватает, чего бы это еще ему всучить, чтобы не возбуждался. Ссуду безвозмездную — пожалуйста, региональную премию — пожалуйста, еще одну мелкопоместную «за лучшее изображение начальника движения» — опять же, чего вашей душе угодно. А ей, душеньке, мно-о-ого надо чего! Есть отчего возбуждаться. Товаров навалом, всюду сверкание-блиста-

ние в рекламных целях, а денег нет. Еще обиднее, чем когда были одни только очереди...

И вот поэт Облонников взял да и нацелился на государственную пре-мию! Интересно, сколько в ней этих самых региональных? а минимальных? а самых минимальных за лучшее изображение нашего художественного положения? Страшно подумать, как склонял Облонников коллектив; вот верхушка — свои сателлиты проголосовали, проштемпелевали и отослали. Что ж, только одним москвичам, что ли, госпремии получать, пусть не забывают, что желания такие имеются и в глухомятной провинции. Вот через какое-то время сверху сюда спускают ответ: «глухомятные» не нужны, давайте «поэзию». А где ее взять? Как будто поэзия на дороге валяется, вроде в Москве ее больше, чем где бы то ни было. Привык Облонников к такой деликатности, чтобы его в глаза хвалили, плюс давали на жизнь, на поэтическое воображение. «Ну, что, калеки, — это он так и коллегам своим, — еще рискнем?» Пять раз «рисковали». Другой бы уж три раза плюнул и плевком каблуком бы растер. Или пятьюжды был бы уж лауреатом, а этому и по губам не помазали, ведь каждый раз выпускает с надеждой «серьезную» книжку под разными наименованиями, создавая произведения в сознательном и бессознательном творческом состоянии.

И вот поэт Облонников отрицает крах рыночных отношений, получая ответы одного содержания из одного и того же источника. И входит в глубокое раздумье. И, пока он выходил отудова, волосы его переместились с темечка на подбородок, и на подбородке выбухла боро-да. Их в стране — лопат таких, всего, может быть, тыща. И вот в связи с этим собирается поэт жить без применения ручного труда, снег грести будут уже не дворники, а с помощью этой самой лопаты. И наострается (хоть что-нибудь смыть с себя) Облонников в баню, чтобы флору свою «похорохорить». Это он так жене сказал. А сам, соответственно псевдониму, в лоно блуда решил удариться — сходить на Щепной, до пивной. Однако, согласно Николаю Рубцову,

«Стукнул по карману — не звенит,

Стукнул по другому — не слышать».

С чем себе позволишь отдохнуть?

Вот Облонников и оказывается на улице, вроде как на панели (многие сейчас приличные люди оказываются). И подальше от той улицы, где он живет постоянно. А именно — у музея-панорамы, автором которой, все знают, является лауреат всяческих поощрительных премий, от которых он не отказывается, за что ему, еще живому, в городе уже якобы создается мавзолей. Как и Брежневу за премию торгового бога Меркурия. Это за то, что продавал хорошо, даже бюст в родном регионе поставили.

Так вот, прошмыгнув мимо танка на охране исторических музейных реликвий, поэт Облонников оказывается у церкви Иконы Смоленской Божьей Матери. Это двумя-тремя пядями далее. Глядь, а на паперти одни престарелые — старушки «божьи одуванчики», и все кружки алюминиевые держат, навстречу тянут.

— На ремонт храма, батюшка, — обрывает внутренние моления поэта первая из старушек.

— А также брэнного тела, — бормочет вторая и осеняет себя, а не его, заметим, крестом.

Поэт Облонников одной рукой хорохорит лопату, а другой изымает у старушки алюминиевую кружку, задвигая «одуванчика» в тень. Привык к такой процедуре.

— А ну, — говорит, — дай-ка, мать, сам постою, поддержи вашу мафию.

Старушка, глядя на матерую лопату «словотворца»-«чудотворца», так вся и сомлела. Кадры в голове перепутались: где чудотворец? где словотворец?

— Батюшка, — лепечет она в наивности святой и одухотворении. — А не ты ли настоятелем будешь, в Ливны присланным? Тоже, говорят, с лопатой, без применения ручного труда.

— Грехи, мать моя, тебе отпускаю, — простирает длань над старушкой Облонников.

— А грехи-то какие — вчерашние?

— Сколько за жизнь, небось, определила себе? Ишь, как стоишь, заиндевала вся.

А у самого такая фантазия разбушевалась. А что, если стиль жизни изменить, как вы думаете? К паперти какой-нибудь приспособиться, а? Не пропадать же на ярмарке, в поляризации жизни.

Ко всему привыкают в народе. Как присох к паперти и Облонников, вдохновясь на служение. Стоит себе с кружечкой.

— Видали? — задрал кадык, говорит он ледащим голоском, указуя на крест над собой. — Душа вон куда стремится, на небеса, а грехи нас туточки держат.

— Сам-то ты, отец, чего нагреховодил? — интересуются уже не ледащие, а какие поближе к нему, по-спортивнее. — Ить грешить-то грех.

— Я — святой! — охорашивает поэт лопату и решитель-но бьет по груди себя кулаком: — Во гудит колокол! Еще ничего, постоим за правду, синие птички — голубушки, ангелы небесные... А вот они кругом, — проворачивает Облонников туго выю свою, аки всяк, трепеща всеми своими фибрами, — что творят, одно негодяйство! А у меня легенда такая, лично мной составленная. Стою тут с вами, со слабым таким контингентом, для самоизобличения, для собственного линчевания, и мне себя ведь не жалко. Я начальство хочу своим стоянием усовершенствовать, глядите, мол, до чего докатились и докатили поэта... Провалился я, значит, в инфекционной, а жена с хахалем меня в шею. А за квартиру — плати...

— Небось, еще и пеню давай, — воодушевляют Облонникова «одуванчики» — бывшие комсомолки, из нижнего и среднего комсостава. — Мэрии этой все мало, коммуналь-ным реформам...

— Пеню я отклонил, а за все остальное плачу. Гнись, поэзия! Зови на подвиг, родина-мать! — шумно, через ноздри, вздыхает поэт. — И вот туточки... с кружечкой... с вами я, ваятель слова, аналитического содержания...

— Он — святой, — шепчут бабушки, что поближе, тем туда, какие подальше, во глубине сибирских руд: — Только странный, какой-то чудной отец-то наш! Он — ваятель, все рассказывает про начальство, про все ранги и декларации.

— Да, рассказываю! — ловит поэт чутким ухом про свое реноме. — В Ливнах она хороша, а тут тоже своя есть, да город больно велик, глотки не учтены.

— А ты постригись, — советуют «одуванчики», божьи люди. — Может быть, и дадут еще ченить.

— Бесплатно нашему брату нигде не нальют, — хорохорит лопату Облонников. — Все зависит от МВФ. Те дадут, а эти тут в карманы кладут.

— Святой, разумеется, главное — все как на духу, — присоединяются к «синим птичкам» даже отдельные сомневающиеся. — Создает образ честного, грамотного, независимого поэта, говорит в рифму. Чего под нос себе шепчешь, старец?

— Это я мотивы твержу ... стихотворствую, — кривит душой Облонников. Сроду ни на что не молился, кроме как на рыночные отношения. — Вот гляжу на крест, а слезинка с него вниз, сюда к нам, стекает. Вот про это и сочиняю! Это ж не в магазине. Только и знали, бывало, в кассу деньги совали. А тут вот стою, стою с кружечкой, стою...

— И сочиняешь, и сочиняешь, — подхалимничают старушки.

— И сочиняю, — тычет в бороду себе пальцем Облонников, вроде как эстетику наводит. — А все не дома сижу. Как снайпер. Каждый день то в «десятку», то в «молоко». А рупь и то дай сюда! Это же сколько в месяц-то, а? А в год? Минимальных-то. Глядишь, и на региональную натяну. И на государственную наскребу. И даже на премию братьев Grimm или... как их... во Франции-то? ...Братьев Гонкуров... Интересно, у кого бы это поинтересоваться? Во скольких наших «деревянных» выражается ихняя Нобелевская?

— Наши. Зачем тебе наши? Бери ихними, — советуют старушки — сами тоже деревянные, гробовые.

— Итак, сочиняем, не отвлекаемся, — вслух перебивает себя же чистый поэт. — Итак, значит, так... Это — «рыба». В постный день всегда, как дыба. По улице ходила Большая крокодила.

Ну и что? Всякие тут по улице ходят. Однако опять мимо. И еще один мимо. «Из Древнего Рима, — подсказывают

старушки, — по паперти ходила большая крокодила». И Облонников кидает в спину всем тем, кто мимо — из древнего мира: «За копейку удавятся». Значит, так: «По паперти ходила большая крокодила». Какая там крокодила? «По паперти ходила — старушка... ме... бе... ве... Автандила», «Старушка Автандила по палубе ходила»,

Она, она Голодная была.

«Она» и «была» — ни хрена себе рифма.

— Она, она, — подсказывает старушка ближняя — «одуванчик», — можно предложить такую развязку: «она» — «волна»?

— «Волна»? — сверкает одним оком на нее Облонников в нервном экстазе, другое око посвящено в это время поэзии. — Волны кончились, мать, начались «войны», всем хана! «Она» — «хана».

— «Всею хана», — подсказывает кто-то из проходящих, это вместо того, чтобы в кружечку плюхнуть... положительному герою. Старушка та бедна... без дна была она...

— Хана, — отстраняется поэт Облонников от «одуванчиков» со скудностью мысли.

— Бедна? Голодная была! — вылезает со своей рифмой еще кто-то из глубины паперти, из третьего эшелона.

— А может, луна? — это из второго эшелона, поближе.

— Луна, — пожимает плечами Облонников. — Луна — это серебро, а не золото.

Проходит мимо знакомый, издали увидел поэта:

— А, товарищ Облонников? Чего тут творишь?

— Да вот, стою, на крест смотрю.

— А кружку держишь?

— Ну и что? Остановился, стою и держу. А с неба влага кап-кап, кап-кап...

Старушки — синие птички — хитроватенько этак, чужеродно как-то оглядывают то Облонникова, то пришельца.

— Кто же это? — кивают они Облонникову на чужого человека, близко его опознавшего.

— Да так... один тут художник... автор малых планет.

— А это кто же? — добиваются они теперь уже от «художника», глядя как выразительнее на своего Облонникова.

— Это, матеньки-батеньки, — режет правду-матку теперь уже автор малых планет, — это — известный поэт! Инкоgnито!

— Что — такая фамилия?

— Автор, мать, единственной книжки. Но как Библию пишет — одну всю свою жизнь.

— Я вторую начал, — обижается Облонников. — Уж на пятой странице...

— Он святой, — вторгаются старушки. — Он больше ничего не умеет. Как Христос, говорит и повторяет: «Вначале было слово»... Говорит, вера на мифах держится, на поэзии. Достоверно ли?

Мифы впереди бегут, не угонишься. И вот уже к церкви той люди идут, улицу перепрудили. Интересно, как это с кружечкой стоит поэт восклицательным знаком, выражая иную эпоху?.. «Это у какой же церк-ви?» — переспрашивают еще в троллейбусе.

— Да, на паперти, что за панорамой, автору которой живьем, говорят, животворный строится склеп... в центре города, на Дворянском гнезде, правда ли?

Слухи, слухи. Кто стоит, кто лежит, кому строится? Докатилось до мэрии. Посылают из мэрии человека из чувства доверия — женщину элитную, тополек в красной косыночке: «Че там этот поэт, наш лауреат, говорят, выкаблучивает? Ты знакома с ним, знала его — погляди». Вот пришла она, как Лаура к Петрарке, глянула на кружечку в руке, да и топ ногой, как посохом оземь.

— Чегой-то это ты тут творишь, товарищ Облонников?

— В народе живу, — отвечает наивно поэт.

— А это кто? — показывает нынешняя и прошлая Элита на целый ряд, тоже выстроенный по паперти, — у всех кружечки — мерка, как у святых.

— Ах, вот эти? — оттесняет Облонников «чужих» на вторые позиции, выдвигает вперед «своих», так привык. — Ах, вот эти — все читатели мои, да! Этот кто? Ловит мгновения. Тут, говорит, легче ловится... Композитор. А за ним — тенор. Индивидуалист, не из хора...

— Ну, а дальше-то, дальше, — от обиды вспыхивает Эли-

та, Лаура, Тополек в красной косыночке. — Чтой-то, поэты, вы быстро так переквалифицировались?!

Низко пали...

— Он святой, — заслоняют Облонникова бывшие комсомолки теперь уже откровенно, из своих клановых интересов. — Он просветитель! Всем нам тут мозги чистит, про всякие регионы рассказывает.

— Ну и сколько же будешь тут стоять монументом? — берет себя в руки Лаура.

— От меня, что ль, зависит? — смотрит поэт Облонников мимо нее, на крест над Смоленским храмом. — Как вон сверху дадут команду, так и уйду.

— Он у нас луа... луа... как, батюшка? — вступаются за него на паперти, теперь уже эти новые поклонницы его «лопаты без применения», из нового коллектива.

— Луареат! — твердо выговаривает Облонников («тьфу ты, буква «в» возникает, зуб выпал, орфоэпии никакой, «в борьбе обретаем мы право свое-е»), и уже менее уверенно повторяет: — Лауре... лауре-аты мы!!

— А ты кто такая?! — строго спрашивают Элиту старушки. И к Облонникову: — Кто она, отец?

— Лаура, — отворачивается поэт. — Или, может, Луара? А конкретно — эта тайна никому неизвестная. Еще никто не познал в себе, есть поэзия или нет, есть «талан»? Но всем надо есть.

— Есть, есть, — благосклонничают старушки. — Должен быть! Ох, какой у тебя характер! На земле ты хоть, но как на паперти, глядишь, как высокопоставленный.

*г. Орёл*

## И УДАРИЛИ В КОЛОКОЛА

Городку накатило тысячу лет.

Возник он на Руси еще до христианства в густых лесных делях на пути «из варяг в греки». Через него перекатывались вороги с огнем и мечом, от батыевских полчищ до наемников Лжедмитрия, и пропадали в вечности. Росли, возвышались другие, соседние города, а Тучневск за тыся-

чу лет едва ли прибавил и тысячу жителей. Как стоял на высоком откосе Десницы-реки черной хлебной коврижкой с церковными шпилями, так и остался стоять, созерцая спокойные, зеркально-зеленые воды Десницы. Правда, в последние годы шпилей поуменьшилось, зато выросло длинное белокирпичное здание — филиал одного из столичных заводов.

Местные власти решили придать юбилею тот размах, на который был только способен районный бюджет, при этом ресурсы филиала играли, безусловно, главную роль. В замысле отцов города венцом юбилейных торжеств намечалось стать открытие памятника Бояну. Все тучневцы всерьез считали его своим земляком. Почти каждый уже первокласником повторял наизусть строки:

Вещие персты он подымал  
И на струны возлагал живые.

На первую встречу с историческим бардом в вечный град спешили его нынешние единомышленники — поэты соседних городов и весей. Их оказалось не так уж много, всего трое: либо время открытия совпадало с «бархатным сезоном», либо на братию не хватило гладкой бумаги для пригласительных. Эти трое — бородач-мыслитель Матвей Дрынов, предприимчивый Николай Рындин и легковесный Миша Капустин — въезжали в Тучневск на исходе дня, видели впереди «Колхиду» с сосновым ящиком в кузове и, конечно, не подозревали, что прибывают в родной город Бояна почти в одно время с его изваянием.

Как это часто бывает в русских народных сказках, памятник вырос на берегу Десницы-реки всего за ночь. Вернее, его только поставили на пьедестал, подготовленный прежде, и держали пока под полотном. Ветер с реки полоскал складками белой материи и возбуждал интерес. Гости и местные жители уже с утра прохаживались по подчищенному, умытому древнему городу, собирались кучками, схлестывались в спорах, с нетерпением ждали урочного часа. В это время похожий больше на попа-расстригу, чем на поэта, заматеревший Матвей Дрынов просыпался в отведенной ему резиденции. Лежал и смотрел в потолок, соображая. Ну устроились в номере — помнит. Ну Коля

Рындин поташил выступать в райотделе внутренних дел («для налаживания контактов с сенью закона») — помнит. Ну молоденький следователь милиции Вася Несмирнов читал стихи и краснел, словно девушка, — тоже помнит. Вася оказался земляком, из Матвеева города, даже в школе одной учились. Дальше была пустота, чернота, провал, Марракотова бездна...

Они вышли на центральную площадь Тучневска. Городок гудел, словно улей. Народ валом валил к Бояну, но, увидев его в полотне, а дощатую сцену перед ним покамест пустой, рассыпался на множество ручьев и ручейков. Песни, смех, подковырки. Кремплины, сапоги-чулки, сапоги на платформе. Где-то пискнула и закатилась гармонь, гут же взвилась частушка. Ринулся на звук Миша Капустин («медом его не корми, куплетиста»), Николай Рындин («тоже мне, артист») тут же подсел к девочкам на лавочку, и Матвей не заметил, как остался один. Он прошел глубже в парк, выбрал глухое местечко, присел.

Отсюда хорошо виден плес, плавный изгиб Десницыреки, сквозь деревья едва угадывается белое пятнышко — вознесенный над землей Боян. Пока скрытый от глаз, пока в покрывале. На берегу приземистые лабазы, остатки крепостного вала, за бойницами голубой, с золотистыми блестками, купол собора. Чист и прозрачен воздух бабьего лета, листья клена шуршат, шуршат, шевелятся, как и шуршали когда-то... Матвей сидел в оцепенении и чувствовал себя то самим собой, то Бояном, то снова самим собой, и все, о чем пели когда-то Бояновы струны, обернулось в нем осязаемом плотью, взвилось и затрепетало.

«О Русская земля! О тебе наши думы и боли, для тебя и живем. Костями своими стелем тебя из веков и в века. Вон стрелой целит в самое око половчанин-кочевник, вон несут лагыняне смерть на кончиках копий. И корчатся в междоусобице княжества, хлыщут сабли кривые по серебру Дона, и вот-вот разметется — развеется и исчезнет народ, как стирались их тысячи на бессмертном лике степи. Но держит его, не дает пропасть кем-то сказанное впервые, — о Русская земля! И уже воспеты слова-звоны вещими струнами,

и уже клонятся, заслоняют их, будто червленый стяг, люди, русичи, сдруженные в дружины, за дружинами стоит, упирается, выкрепает и здравится матушка Русь.

И ведь гусли твои, Боян, не сильнее шума дубрав, и ведь голос твой затопает в шорохе крыльев лебяжьих, да затронь лишь, дыхни словом-звоном где-то под Киевом, а услышат его аж у Великого Новгорода. И ведь очи твои, Боян, давно сгнули, лопнули, выкипели от трахомы, нещадных пожарищ, и ведь водит тебя в ночи малец-поводырь, да рассышь по дорогам щедрые звоны — не князья, не советники княжеские, а ты, только ты, неподступный, и видишь горевые и светлые дали Руси. Лишь перстами своими ляг на струны, так и видишь, как баскаки по-сусличьи ускользают в свою Золотую Орду, псов-рыцарей тянет на дно Чудского озера, и смывает ливнем ливонцев, накрывает снегами поляков, французов. Так и мнится, как Невский или Коловрат, Донской, Пожарский, Кутузов призывают его, ясновидца, перед сражением: «А ну вдарь, Боян, в свои вещие струны! А ну глянь в наши судьбы: что там скрыто за тучами туч?»

И плывет плач Боянов по русским пробитым кольчугам, восславляет Боянова песнь уснувшую и уже пробужденную жизнь.

Воспой же, Боян, праздник вечного города, каждый день прожитой тысячи лет.

Возговори же, положи в душу Слово!»

А люди, мимо Матвея, идут и идут по аллее в ожиданье урочного часа.

Стояч и прозрачен воздух бабьего лета. За валом словно врезалась в небеса колокольня — так явственно все на ней до малейшего, даже колокола. Говорят, собор стоит на фундаменте древней церквушки, звон которой, может, слышал Боян.

Листок упал на колено, и Матвея слегка подернуло от озноба, он встал. Приятели сидели на прежнем месте. Предложение Дрынова осмотреть колокольню, на котором бывал, по преданью, сам Боян, было встречено с энтузиазмом.

Прошли к крепостному валу, к Деснице-реке. Через буераки, куски труб и какие-то бревна подходили к собору.

Миша Капустин, зацепившись за доску, чуть не влетел в яму с известкой.

— А что, если б влетел? — вертел копной темных кудрявых волос этот Миша.

— Кто бы тогда куплеты писал? — подковыривал его Коля Рындин.

Подошли к собору, к самой двери. Она была вся в известке, рядом высилась горка битого красного кирпича. Из дощатой будки напротив выскочил щекастый маленький человечек. Новая болоньевая курточка и болоньевая фуражка с лакированным козырьком.

— Вы от городских властей? — человечек даже подпрыгнул от радости. — А мы ждем, ждем.

— Мы оттуда, — серьезно сказал Рындин и серьезно посмотрел на Матвея. — Мы комиссия отца Дионисия.

— Какого отца? — человечек на миг приостановился, перевел взгляд на Мишу.

— Ну... это, — опустил глаза Миша Капустин. — От всех отцов сразу... от отцов города.

— А, ну будем знакомы, — суетливо подавал руку каждому маленький человечек. — Прораб Перепелкин.

— Ну так что, товарищ прораб, — уже входил в роль Коля Рындин, — начнем без всяких-яких, с объекта? Переделки-перепелки, недоделки-недо...

— Я бы предложил, — Перепелкин перевалился с ноги на ногу, заглянул в глаза каждому, — предложил бы сначала в прорабскую. Документики, ради праздничка и т. д. и т. п.

— А что, указание какое? — спросил было Дрынов, но Коля Рындин уже вел за рукав Перепелкина. — Можно, понимаете, и без сокращений, понятно?

Стол в прорабской ломился от яств.

Выходили из прорабской в высочайшем расположении духа, всем хотелось на колокольню. Коля Рындин хлопал по плечу Перепелкина, говорил, что здесь не в пример другим прорабским участкам дело, пожалуй, поставлено хорошо, но еще не совсем, можно, конечно, поставить и лучше. Дрынов все хотел втолковать Перепелкину, что они никакая не комиссия, а всего-навсего гости города в связи

с юбилеем, но Перепелкину так хотелось, чтобы это была непременно комиссия, и потому он не слушал Матвея. «А где лучше? В тресте по ремонту памятников мы вроде бы не из последних», — ставил он в тупик Дрынова. «А везде хорошо, — отвечал за Матвея Коля Рындин. — Например, у Куропаткина... слышал такого?.. на ремонте этого... ихнего леса». — «Ты даешь, — улыбался Перепелкин сочувственно и подмигивал Матвею: — На объект сразу пойдем или так, на слово поверим?» — «На объект, — было сказано строго, — На колокольню».

Поднимались в темном и затхлом каменном мешке, по вконец разошедшей лестнице. Доски под ногами всхлипывали, стонали. Эхо гудело в колодце, затихало где-то внизу. Матвей на минуту представил, что будет, если рухнет под ними все это гнилье, и махнул рукой: ладно. И едва успевал за Перепелкиным. В спину Матвею противно сопел Миша Капустин, от него пахло кожанкой и еще чем-то гнилым, нехорошим, капустой, что ли? «Аденоиды, — раздраженно подумал Матвей. — Давно б выдрал, чертова бочка. От твоих куплетов моль в ушах заведется, никакой дуст не возьмет». Постепенно Матвеевы мысли обретали устойчивость, переходили на твердую юбилейную тему, из глубины подымался Боян, даже лицо воображалось отчетливо, явственно, копия соседский дед Митрофан — пшеничные брови, пшеничные усы, родинка на правой щеке... Вот поэт, из поэтов поэт. Золотое слово, со слезами смешанное...

Пахнуло воздухом, ослепило светом. Колокольня стояла на семи ветрах, кругом так и сквозило. Голуби с шумом бросались вниз, кружились взволнованно, вовсе близко от тех, кто посмел нарушить их золотой покой. Весь Тучневск был как на ладони, со всеми своими улочками и закоулками, огородами и курганами, остатками вала и крепости. Далеко в голубые леса уходила Десница-река. Вот с таких сторожевых мест и оглядывали местность, бывало, их бородатые пращурь, дымами подавали сигнал об опасности дальше по линии, до самой Москвы. Колокольня. Колокола. Вот они, большие и малые, бронзовое литье. В них душа певучая предков, в каждом звуке глубинный смысл... Там,

по кромке леса, враги, и, когда удары частят, нагоняют тревогу, обгоняют друг друга, воедино сливаясь, срываются, переходят в набат. И тогда чье же русское сердце не вздрогнет, не наострит себя мужеством, чья рука не потянется к палице? Там они, те леса. Заколodило стежки-дорожки, блудит путник в измраке дебрей. И вдруг, как из сна, явью дедовой сказки где-то тут возникает этот малиновый звон.

Колокольня. Колокольное царство. Главный колокол в рост человека, остальные собратья поменьше — висят на черных дубовых брусах, молчаливо угрюмые, все в пятнах, в голубином помете, прозеленелые, полусъедены временем буквы. И немые — срезаны все языки. Не получится «русского звона». Где-то там, внизу, уже гудит площадь и трепещет белое полотно, все готово к апофеозу. «Как же так, без Бояна? — мечется Коля Рындин по колокольне. — Сейчас мы что-нить придумаем, голос его подадим». И сует Перепелкину ломик железный.

— Это как... по программе? — берет за локоть его прораб Перепелкин.

— По программе, по программе, — объясняет Коля Рындин популярно, с применением рук. — Как врежу в главный колокол — бум, так ты вот по этому — динь-линь-динь. Понял? Делаем благовест... Ну-ка, Миша, глянь, чего там на площади? Поползло полотно?

— Поползло, поползло! — закричал Миша.

— Ну, пошли, — Для торжественности Коля Рындин слегка задержался и, поймав настороженный взгляд Матвея, размахнулся, ударил в край главного колокола, сверху посыпались хворостинки и перья.

— Динь-линь-динь, — ответил массивному гулу тонкий колокол Перепелкина.

Коля Рындин метался по колокольне, показывал, кому за кем вступать. Выходил, получался у них благовест, они это слышали. Гремели, пели свое колокола, Боян с колокольни подавал голос Бояну на площади. Звук главного колокола казался Матвею коричневым, Мишин — синим, этот — зеленым. Стали люди под древние звоны, вглядывались в изваяние, и не было на площади никого, кто бы до слез не

гордился сегодня эпохальным, звонким своим земляком...

Под конец Коля дал команду ударить «всеми наличными средствами» — сделали перезвон. Трезвон еще долго стоял в воздухе, звенело в ушах.

— Где это ты наловчился? — спросил Матвей удовлетворенного Колю Рындина и слабо слышал свой голос.

— Потомственный музыкант, — смотрел весело Коля.

Собрались опускаться на грешную землю.

— Шуму не будет? — заглядывал вниз Миша Капустин.

— Чего теперь, — утер Коля Рындина лоб тыльной стороной ладони.

— А вы что, ребята... не по программе? — обеспокоясь, переводил с одного на другого свой взгляд прораб Перепелкин.

— Ладно, не помирай, — тряхнул головой Матвей Дрынов и улыбнулся прорабу: — Не бойсь, нас поймут. В такой день и не подать голос Бояну?

Шли парком к площади, к памятнику Бояну. В объятия бросился Вася, Василий Несмирное, следователь.

— Ищу-ищу, где хоть вы пропадаете?

И потащил всех в павильончик на главной аллее.

— Иже еси на небеси, — пропел Рындина и подморгнул Матвею.

— Я пас, ребята, — сдерживал шаг Миша Капустин. — У меня, ребята, желудок.

— А у нас, по-твоему, что — лоханки? — говорил Дрынов сердито, — Давай, брат, не отставай. Русь сегодня гуляет.

Шли, захватив в ширину половину аллеи. Василия толкнул случайно мужчина средних лет, седоватый, в светлом плаще.

— Стоп! — остановил мужчину Василий. — А ты знаешь, кого толкаешь? Кто я?

Мужчина стоял и смотрел на него внимательно, очень внимательно.

— А ты знаешь, кто я? — выговорил, наконец, он спокойно и усмехнулся.

— И знать не хочу.

— То-то и оно, что не знаешь, — теперь уже твердо ска-

зал мужчина. — Вот и я тебя тоже знать не хочу. Захочу — сам расскажешь.

И пошел своей дорогой.

Василий стоял без движения. Побежал догонять ребят.

— Ну, обменялись мнениями? — усмехнулся Миша Капустин.

— А-а, — раздвинул брови Василий и, хохоча, потащил всех к обрыву читать у обрыва стихи.

После вечера поэзии в местном Доме культуры они возвратились благополучно на свою базу, в гостиницу. В номер к ним, в их отсутствие, подселили еще одного «клиента», уложили дядечку на раскладушке. Администраторша извинялась, просила войти в положение: такая дата, все у них переполнено, а где-то надо же переночевать человеку, тем более тоже гость города: солидный дядечка, генерал в отставке. Миша Капустин, кровать которого прижали по такому случаю к печке, заворчал было на всех этих «солидных, от которых несолидным хоть в трубу лезь», но Коля Рындин прищипнул, сказал, что положит его к себе на постель, а его, Мишину, койку отдаст генералу. Генерал оказался тот самый, встреченный на аллее, — щупленький, подвижной, ничего мужичок. Во-первых, он наотрез отказался от Мишиной койки, во-вторых, так легко и просто вошел в разговор, что даже Матвей Дрынов, который предпочитал в гостиницах больше внутренние монологи, и тот не заметил, как вскоре втянут был в разговор. Владимир Петрович — так звали нового жителя комнаты, — попал в суть, словно в яблочко.

— Шутка ли, почти тридцать лет не быть на родине, — говорил он с волнением. — Тридцать лет! И теперь у меня здесь никого... Ах, какие тут молодцы, какой праздник устроили! Как гремели колокола! Помню с детства. Особенно этот, сиреневый — день-линь-день...

— А вот за колокола надо бы взгреть кой-кого, — упершись в стену затылком, смотрел Матвей на Николая Рындины с легкой улыбкой.

— Как это взгреть? — забеспокоился Владимир Петрович и посмотрел на Матвея внимательно, очень внимательно

но. — Все, по-моему, к месту: открыли Бояна, ударили колокола.

— Религия — опиум для народа, — парировал бесстрастно Матвей.

— Э, батеньки-матеньки, позвольте с вами не согласиться, — пропел генерал и даже зажмурился от удовольствия. — Да, не согласиться... Вас, молодые люди, еще и на свете не было, когда я ходил в комсомольцах. Диспуты, атеистические вечера. Колоколам языки отрезали, даже сбрасывали на землю... В колоколах, батеньки мои, действительно, если глянуть в историю, есть и герои... Колокола, как людей, ссылали в Сибирь...

— Пусть висят, пусть звонят, — сказал Миша задумчиво.

— Нет, зачем же так иронично? — живо обернулся в его сторону Владимир Петрович. Переводил взгляд с Миши на Матвея и обратно на Мишу, оценивал каждого. — Я вот о чем. С уничтожением церкви мы зацепили многое из культуры. Иконы, сами здания, колокола, а это — живопись, архитектура, музыка... Поезжайте в Азию или Европу — вас непременно поведут посмотреть пагоду или костел. А туризм, батеньки мои, сейчас в моде... Есть и нам, конечно, что показать: Байкал, Кавказская ривьера. А им интересно посмотреть, что создано нами, нашим народом, и тут мы им новый аэропорт, новый квартал. Конечно, это интересно. Ну, а что у нас с вами за дух? С чем идем, так сказать, из веков? Вот что, батеньки мои, нам никак нельзя упускать. И для туристов, и для себя. А вы, говорите, колокола... Очень даже было сегодня волнующе. Я орган слушал в Домском соборе — хорошо. Но сегодня так прошибло: полотно скользит, открывается людям Боян, и гремит этот, коричневым: «Бум, бум!». А между ним голубые, сиреневые: «Динь-линь-динь, тинь-тинь-глинь»...

Матвей слушал, соглашался, молчал. Все устали, и все соглашались.

Утром первым с постели схватился Миша Капустин, растолкал Дрынова. Набросили полотенца на шею, прошли на цыпочках к выходу. Пол в коридорчике был цементированный, скользкий, стены в полтора метра, не гостиница — крепость. Окатились ледяной водой до пояса — вмиг

слетела дрема, постепенно снималась тяжесть с темени и висков, очищалась мысль. Что ни говори, а распрекрасное это средство — ледяная вода.

— О чем думаешь? — повернулся Матвей к Мише Капустину.

— Что-то не нравится мне этот генерал, — клацая зубами, ответил Миша Капустин. — Для генерала какой-то неправильный.

— И кто он тебе? — растирал полотенцем тело Матвей.

— Журналист, наверно, — пожал Миша Капустин плечами. — По-моему, так.

Дверь выбросила их металлической пружиной на улицу. У парка они встретили Василия Несмирнова, как раз он шел к ним в гостиницу, теперь уже в милицейской форме.

— Ну что, микромайор, еще звездочку не поймал, не привесили? — задевал его Николай Рындин, всегда задирает, заноза.

— Последнюю, спасибо, не сняли, — сделал под козырек Василий и усмехнулся: — Вот что выручило. — И Василий вытащил из кармана газету. — Местная. «Голос Бояна». Видите, сверху крупными буквами «И ударили в колокола».

— Ну что я говорил? — крутанулся на каблуках торжествующе Николай Рындин.

— Высокие гости, в общем, довольны, — сделал бантиком губки Василий и засмеялся. — А отцы города мне пальчиком: это твои, мол, орлы?

— Все довольны, чего еще? — пожал плечами Матвей Дрынов и двинулся к площади, на которой был открыт теперь уже всем ветрам и взглядам этот вещий Боян.

Утро разгоралось. Солнце золотилось на листьях, безмятежно голубело небо. Голуби клубились над колокольной, видно, справляли гнезда. Бронзоволикий Боян сидел лицом к Деснице-реке. к лесным чащобам и поймам, и словно бы видел сквозь время то, что каждому здесь, у его подножья, не дано было видеть. «О Русская земля, — шевелились сухие губы Матвея, — ты уже за холмом!»

*г. Трубчевск*

Сушь-то какая. В колодцах ведра уже скребутся о дно, речка Хладоструйка и та сошла в теле, показала глазу замшелые камни, прозванные в Ивани «базальтами». Еще так вот подержится, «базальты» и вовсе вымчат на берег, тогда можно по ним, не замочив ноги, перебраться на тот берег, к магазину. А у магазина при закате, известное дело, не заскучаешь. Тот к продавщице Лидии вроде бы за стеклянной, «долгоиграющей» конфетой к чаю, эти придут, прямо с трактора, мыла-солицы прикупить, просто послушать, что скажут другие. Так и застрянут на час-другой, сидят себе на вольном духу, обсуждают текущий момент.

— Вон Слышун как раз колыхается, — приглядится за речку крючконосый Фрол Парамошкин — мужик острый, себе на уме, непременный член лавочной комиссии при сельпо. — Вот он всем нам и изъяснит с точки зрения мастера по колодцам... Эй, Иван Иванович! Тут вопрос у нас, обсуждение: что содеялось с нашей природой, с рекой, например, Хладоструйкой? Жилу, что ли, где оборвало?

— Некогда мне тут с вами керосиниться, — ответит подошедший, но все же присядет, пристроит к «базальту» свою деревянную ногу, задумается.

Росту Иван Иванович Корнеев не гвардейского, но и не малого. Молодые глаза, срезая годы, не пускают за пятьдесят. Рыжеватая борода, начинаясь прямо от глаз, остепеняет вид, делает его серьезнее и тяжелее.

— Так-то оно, мужики, так, — наконец скажет Иван Иванович. — Шахты, рассуждаю, в Серодворске копают, воду тем и осаживают. А потом ее оттуда, споднизу, насосами в речку, и в ненадобность. Там аукнется, тут, братишки, откликнется... А то вот в Ташкенте, там, понимаешь, наоборот: там воду в гору тянут, чтоб сверху на землю бросалась. Просо после того вымахивает толщиной в оглоблю. Во культура!

— Ты даешь, ха-ха-ха, — зарегочут, схватятся за живот мужики.

— Да ну вас, — намахнется Иван Иванович на них так, без

всякого сердца, и пойдет, заскрипит дальше своею дорогой. А чего на них обижаться. Ну гробануло ему, матросу первой статьи, колено под Севастополем. Ну отсобачил ногу ему хирург по самое основание. Так и сосед Сергей Никодимыч, да и бригадир Артем Кирилыч, да и на почте Антон Коровушкин тоже все в дырках, в осколках ребята. У одного пуля где-то под сердцем, у другого — в костях. А как крутят, как крутят к срыву погоды солдатские раны...

Вот сухмень окаянная. Соку не стало в земле. Пригнал новый председатель машину такую: скважины пробуривать для фермы. Весь Пролетный Верх исчезали, истыкали кротовыми норьями, чуть ли не на коленях исползали — были на Пролетном колодцы, да сплыли, не будет отныне, нету сока в земле... Много ль теперь ему дела — знай, шевелись себе по двору; сараюшку Дарья как раз наказала приладить; только нет, тянет думками к ферме. Да и как не тянуть: сколько жизни ей отдано, сколько всего. Как приехал из госпиталя — куда бы мотнуться? А везде пусто-голо. Бабы одни. Хоть убейся, а иди, колченогий, справляйся, маракуй по технической и по плотницкой. На пузе по бревнам елозил, в воду брякался, откачают бабы и снова на мост. Жить селом начинали со связки, с моста, а то как бы и жить. Нет, не та у него теперь силушка, что тогда, до войны, когда на своем ходу - в два прицопа-притопа, полнозу-бый и хохотливый, завербовался он в город Ташкент, но все же... Когда подпришли с фронтов мужики, приставили его кормовозом к ферме. Нагляделся, спаси да помилуй. Коровы, бывало, уже с ползими на ве-ревках. Оно и верно, кормочку было внатруску, да если б его все не мимо, не мимо, а в общее дело. Не вытерпел, согласился заведующим фермой. Койкому его новая должность пошла, как кость в горло. Он и в Тюлькино поле к гречишным скирдам не поленится сбегать, и в Сумцах не осквернится в клевера рукой пхнуть, не загорелись ли. Намыкается, пока где-нибудь по пути не завалится: лога вроде бы круче стали, треклятые, да километры длиннее.

Бжит он к дойке на ферму, а Дарья Крутилина — востра баба:

- Вон скурлык, скурлык, липовая нога снова по нашему адресату... Ты бы, Корнеев, дома за лавку, что ли, на момент зацепился — не даст клока унести.

А он только взглянет на нее, Дарья после говорила, как перепел проташится с перебитым крылом, сердце у нее так и отвалится. Да и правда, какой же там дом, когда нету никакой семьи у человека: всех у него под корень каратели в стылых оврагах... Пожалела Дарья по-вдовьи и себя и его. Так и жили, какой уже год, рядом да ладком. Завели сына Володьку. Пробовала поначалу наладить самого на кормок: вон, мол, Гришка Ермолкин тоже, гляди, ветеран и ноги в лютых битвах с врагом не потерял, а гляди, как живет, но качнулся он тогда от нее вгорячах без своей деревянной упряжки и упал у стола на культу, застонал, так что холодом ее окатило. Да сгори оно все, пусть у них будет, как у людей, много ль надо.

Так и жили, крутились день-деньской оба на ферме, пока на культуре у него по рубцам не нарвали свищи и врачи не определили его на бессрочную увольнительную. Подлечившись, чтоб не сидеть без трудов, потому как срамно от людей и к голове чернота прибывает, вспомнил он свое старое дело — колодцы. Как бывало в мальчиках с отцом, стал ходить местами привычными, по поселкам и деревням, хуторам — ладить людям колодцы, давать людям питье. Больше чистил, какой с деревягой ра-ботник?

На низы и не звали. Зачем? Там известно: взял на штык - тут тебе и вода. Его вотчина — селенья высокие, колодцы глубокие, понимать надо — Среднерусская возвышенность. Сами в таких селеньях за колодцы тоже брались кой-когда, но копай не копай — редко кому ловилась водица. «Слышуна, — старики скажут, — нужно позвать». И пошлют за Иваном Ивановичем. А он, что ж, придет, посидит — покалякает, перекурит с мужичками махорочки, поскрипит на своей липовой ноге до околицы, обглядит да обстукает лога и овраги. Облюбует местечко, приложится ухом — слушает и размышляет, как и что там внутри Земли деется — хлюпает ай не хлюпает, живо или мертво там внутри без движения влаги. Все нутро разверзается ему, словно пересло-

енный маком пирог, который матушка испекала, бывало, к отцову дню ангела — на Ивана Купалу. Вся земная глыба сообщает ему, куда и какие идут горизонты, какие из них держат твердью своей ту желанную воду и куда та вода истекает уклонами, где тут ближние к уху сломы. Можно дать ведь любую воду — ядовито-соленую, тухлую, горькую, желтую, на зубах хрусткую. А постараться, подойти с уваженьем к народу — такую, что не оторвешься, особо в жару; в зубах звенит и сахаром в мягкотелое небо кидается, картошку суглинистую в вареве разлохматит, три хворостинки на голове при мытье раскудрявит. «Копайте здесь», — скажет Слышун и как в воду глянет.

А тут, в своей-то деревне, без него решили. Известное дело, — в своей. Пригнал председатель машину с буром, бур, мол, черта пропорет, просквозит до самой Америки. Да что бур без ума? Так, неодушевленная тварь, только зря камень грызть. Он, Иван Иванович, не гордый, не позвали — сам наведается; председатель — молоденький, мало обстуканный, а земля на Пролетном Верху всегдашняя, землю жалко.

Так в думах, размышлениях и продолжает Иван Иваныч свой путь на Пролетный Верх. Место это высокое, знатное, словно магнит: молнии в грозу сюда так и нижут, журавль перелетный, на что любит поймы, а и тот опустится рядом, на болотистом блюдце, чтобы с высей озирать речную долину, все поля и деревни, перелески до самых сине-серебряных далей.

Под рябиной, в тени, стоит вездеход. Тот самый, с буром. Сапоги торчат из-под прицепа, накрытого брезентом: сапожищи! Да, нарыто, и все в бесполезность. А вот в этой ройке вода быть должна. Ну, конечно, должна. А пусто: загадка... Иван Иваныч начинает зорче осматривать местность, спускается ниже, к Журавлиному Блюдцу. Затем, неловко сползая с кручи, проглядывает сочащийся берег. Кряхтя, снимает штаны, лезет в колючую воду, и уже в речке отстегивает свою деревяшку, сует и сует ее в одному ему видимое тело ключа, узнавая его направление. Все нынче перемешалось: вода и та иные пути себе ищет. Пойми ее...

Он поднимается снова в гору, снова стоит в размышлении. Отсюда вот лопухи пошли книзу жирной грядкой, пополз к речке шиповник.

— А ну, парень, проснись, на закате спать вредно... Копни вот тут, — толкает сапожищи Иван Иванович. — Копни, говорю.

— Отвали, дядя, — равнодушно отзывается голос из-под прицепа. — Отвали, не нервируй.

— Копни, парень, — присаживается, вытягивая перед собой деревяшку, Иван Иванович. — Копни шворнем своим.

— Я те копну, — вылезает, наконец, из-под прицепа белобрый парнишка с перепачканными руками, в гимнастерке со следами погон. — Ходят тут всякие, а тут, может, военная техника, военный объект.

— Дура ты, — обижается Иван Иванович, — а еще недавно, видать, отслуженный. Да у меня самого такой, как ты, сын на подлодке...

Парень перегнал машину пониже. Настроил ее. Уперев железные жерди в грунт, полез в землю вращением штанги. Силился так и этак мотором — замолк.

- Пусто, — подошел он к Ивану Ивановичу и вдруг озлился: — А ну ее к такой теще-маменьке! Уезжаю отсюда.

- Как? — взволновался Иван Иванович. — А ферма?

- Что у меня, других нет деревень? Торчат тут, уезжаю...

Наутро, пока Дарья на ферме, Иван Иванович, погрузив па тележку шанцевый инструмент, отправляется на Пролетный Верх. На душе тягость какая-то, грузность, словно дурное предчувствие... Это тебе, Корнеев, не ремонтировать-чистить колодцы для освежения вод, заново — дело серьезное. А тут глубина — метров, пожалуй, на двадцать пять... А этот птенец говорит, военный объект. Еще бы, не военный. Потому надо дать воду ферме, и баста. А то и водопровод на деревню отсюда. В «Сельхозтехнику», слышалось, вроде прислали трубы. То-то бы дело, облегчение люду...

Дерн свалился легко, потом пошла осохшая глина. К девяти подъехала буровая машина. Вчерашний парень высунулся из кабины, сказал огорченно:

— Все, дядя, я тебе не помощник. Полетел кривошип.

— Где танк не взял, — махнул лопатой Иван Иванович, — пехота попробует. Плывуны, должно, — забивает...

Паренек вышел из кабины, оглядел корнеевскую затею, улыбнулся, похмыкал, посидел, повздыхал — принес свою шоферскую лопату, молча начал откидывать землю.

Парнишка оказался ничего, сходный — белорус из-под Пинска, а сюда прикатил по причине: женился тут на одной из Ребровки. В его краях на сушь не обижаются, землю роют, наоборот, чтобы воду дальше спроваживать.

Съездили с парнишкой до хаты. Иван Иванович покрутил-покрутил да и швырнул в прицеп дубки, припасенные на сарайчик под уголь. На Пролетном их располовинил на плахи, расшил деревом стенки — углубились еще метра на полтора.

И лихо же работали. Дня за два махнули вдвоем метров шесть. Иван Иванович уходил в землю все глубже закаты все жиже проникали в темный квадрат.

Корнеев брал грунт где лопатой, где ломом, грузил порослячью лоханку, приспособленную под бадью, и, дернув за веревку, ждал, когда вверху Виктор начнет качать ворот, и тогда все там заскрипит, заходит ходуном, и приятное томление обольет Ивану Ивановичу на минуту усталое тело, и, отдыхая, он резче учует крепкий глинистый дух, а плечи ощутят сырую земную прохладу. Сколько раз порывался Виктор сменить его, да какое: Иван Иванович не доверял... «А вдруг жила где рядом ай сбоку, а ты не услышишь, — отговаривал он каждый раз. — Прорвет, и затонешь еще. Вода — дело тонкое, ее надо слышать да слышать...»

А воды все не было.

Слухи шли по Ивану. «Слышун землю хочет пронзить, — разъяснял всем на «базальтах» в перерывах между ревизиями Фрол Парамошкин. — Лесу уже на расшив не хватает, начал сарай свой разламывать». И однажды в числе прочих любознателей явился к Корнеевой яме с двумя чурбаками. Легли в дело и парамошкинские лесины и те, что приносили под мышкой Артем Кириллыч, и Антон Коровушкин, и другие. Нашлись такие, что взялись отволакивать в сторону щебень да глину.

А жилы все не было. «Может, ее по бутылкам в городе того... поразлили, — выступал на «базальтах» Фрол Парамошкин. — А может, Слышун оглох в бухгалтерию земную вникать».

Иван Иванович входил в раж. Сомнения порою смущали его, но он знал одно: надо идти и идти, с натиском, без ослабления, и заглушал ослабление сильной работой. Должна быть жила, куда она денется, по всем знакам должна. Глина, камень, опять глина. Пошел сухой, зыбучий песок. С полчаса Иван Иванович сидел в нерешительности. А сверху уже наклонялись, кричали, дергали за веревку.

Он ставил теперь расшивку из целиковых бревен, двигался дальше, и голоса наверху были ему не уже явственны, в квадрат над головой едва вмещались первые звезды.

За зыбуном пошла снова глина. Сырая, резаться стала, как масло. За тугим глиняным маслом — опять песок. Огрузнел, отволг, на совок ложится блином...

Сегодня Иван Иванович собирался на Пролетный Верх, словно на праздник. Сменил белье, надел новую, расшитую петухами рубаху, которую Дарья еще с вечера привела в твердую хрусткость и ослепительную белизну. Он шел с Дарьюшкой по деревне с гордо поднятой головой, как ходят уважающие себя люди, которым есть за что себя уважать, и каждый встречный оборачивался и, оглядывая Корнеевых с тылу, туго перегонял по памяти всякое, соображая что и к чему, праздник сегодня какой или как.

Долго стоял Иван Иванович на Пролетном Верху, долго, тягуче окидывал оком хозяйским моткую Хладоструйку — всю от окон истечения до сине-туманных далей, не кончающихся за горизонтом. «С холминкой он нынче какой-то, чудной», — толкнулось было в груди у Дарьи, но тут же вытеснилось заботой о предстоящем. Накручивая веревку на ворот, она таскала бадью за бадьей, думая об Иване, ставя его против многих, тихо радуясь им за его жизненную бессребренность, нужную пользительность всем, общую здравость чувств и рассудка. Песку в бадье между тем становилось все меньше, а вес его тот же.

В яме что-то разом вдруг треснуло, гэхнуло, дрогнула под

ногами земля. Шибанувшим из ямины воздухом Дарью отбросило в сторону. Она кинулась к вороту: дно было близко. Бревна торчком городились в песке-зыбуне, еще свиристевающим из обваленных стенок. «Господи, да что же это?», — остро и тонко замлелось в ней, и ноги опустили ее в беспомощности наземь.

Прошло время. Переполох из Ивани перекинулся дальше по селам и деревням, до райцентра. Где-то суетились и что-то решали, а она все сидела у провала, поглотившего человека — ее Ваню, Ивана Иваныча, тускло глядя в песок, не слыша ни людских бессловесных вздохов, ни утешений. Вдруг ей почудился его, Ванин, голос.

- Дарьюшка, — тянуло к ней из обвала. Песок в одном месте пришел в движение, засвиристел по-суслицы.

- Живой, — вздохнула она.

Зыбун, нажавший на плахи и вышибивший их из стен, так что плахи легли друг другу наперекрест, навалился сверху и наглухо отрезал Ивана Ивановича от всего внешнего мира. Сначала он растерялся, как сидел, так и остался сидеть на бадье. Прошло время, пока мысли не собрались в какую-то тугость и ясность. Попробовал тронуть плахи над головой, песок засвиристел, заструился за воротник, плахи качнулись — он отдернул руку от них, как от огня.

Сел снова, начал соображать. То обливаясь потом, то холодея, отыскал пальцами твердость между досками и, раздвигая края ее, начал проделывать щель. Дышать стало легче. Он смог расширить щель так, что различал лица, жадно вслушивался в то, что творилось там, наверху. Подъехал председателев «козлик», загомонили наперебой голоса:

- В район надо... боковое бурение... боковую проходку...

Слова давали надежду. «Ничего, должны выручить, — усмирял он дрожание в пальцах. — Внукам еще буду доскачивать, как и что было».

Приходила Викторова «бестарка». Еще одна, из райцентра. Пробовали бурить и рядом, и в боковую. Да что бур, человека надо вытаскивать! Начали боковую проходку, прокладывая галерею.

От всеобщего колыхания песок начинал опять свистеть

Ивану Иванычу на голову, и тогда он принимался кричать, дергать веревку, слать наверх в котелке ругательные записки.

- Говорю, из метра надо технику, из Москвы, - суетился Фрол Парамошкин. В эти дни он осекался лицом, пригорбился, Дарью обходил за версту, словно чуял за собой перед нею вину. - Морозилку из метра такую, стенки ею скреплять, чтоб не плыли.

Ему не возражали, надеялись: морозилка — дело великое, вон метро какое с ней выперли, не такое видала. Потом все угомонилось — ждали комиссию. Но отец Парамошкина — шаткий на ноги, древний старик — так прямо и брякнул всем, что комиссия та не управится, что Ивану осталось жить дня три. И Иван Иваныч притих, успокоился, приглушил струнный звон в теле, чтоб не сводило всего в затверженную крепь, стал приучать себя мыслью, что, быть может, придется — да всяко может — тут и остаться навеки.

Каждый в Ивани теперь норовил провести его. Шли прямо с поля и с фермы, после поездки на станцию. Он уловил в тоне всех разговоров небывалую прежде сочувственность, вкрадчивость, как разговаривал сам в диспансере с покойным уж дядей Егором, и вконец утвердился мыслью, что дела его плохи. «А то, ради чего принимаю здесь смерть, так и не сдвинулось, — заходило в сердце и разум. — Помрешь вот, а после тебя что останется? Так, одна яма да едучая жалкость, что был, дескать, коптител небес, вроде как человек. Мечтал о хорошем для всех, о протяжности жизни, ради того на Сапун-гору, на пулеметы ходил. А когда, мол, еще круче крутнуло, тут и все, в сторону. Лихо, брат, помирать? Лихо, и особенно так, в одиночестве. Перед ней, пустоглазой, все одинаковы — и бригадиры, и просто... Врешь, не все! — туже стягивал он желваки. — Крика из меня, боевого матроса, кося, не выжмешь. Помирают тоже по-разному. Уходить надо пристойно, не скорбей душой, выставлять здесь все, что нажил. Что с собой возьмешь и куда? Нету там ничего — пустота, все, что было, все тут, с моей Иванью, с людьми. Вместе праздновали и горевали, хаты ладили и мосты, распинались до хруста, нажимали на

планы... А теперь сосед Сергей Никодимыч, председатель наш деревенский, только вычеркнет тебя из своих красных списков, сельчане на собрании, коль достойно убыл, перед прахом твоим скинут шапки...»

Дарья являлась на Пролетный Верх прямо с утра, в черном платке, до сипа кричала в бучило:

— Ванюшка, милый, из Москвы, из метра, машину волокут — потер-пи... Хочешь в Акинтьево сбегаю, попа позову?

— Нет, — глухо слышалось из-под земли и обрывалось на слове: — Нет!..

— Господи, — кидалась Дарья на землю, — да за что же такое мне, Господи!

Ему еще надо было пожить. Не мог он умереть просто так, не закончив работы. Знобило. Голова и все тело пылали огнем, а он все копал, углублял котелком песок, перекачивая его из одного в другой угол. Три угла уже обошел, оставался последний. Должна же она быть где-то рядом, должна! Жила эта! За те муки, за долю, которую он принимает. Он натуживался, вспоминая расположение углов по отношению к предметам на поверхности. Последний выходил, получалось, в рябину, в ту самую, где стояла тогда в тени Викторова «бестарка». Он разгребал этот угол, затухая чувствами, пугаясь и его бесполезности, зряшности. Под рукой отсырело, захолодало. Его ударил озноб. Попрыгал для сугрева, сжался весь, втянул голову в плечи, копнул еще раз. И вдруг под ним что-то всхлипнуло, засосало, зачмокало — ногу обожгло ледяной струей: жила, родимая жила!

Когда сверху послышался голос Виктора, он, уже стоя в воде по колено, начал кричать ему, где надо бурить.

— Понял, — шумел в ответ Виктор, — все понял, Вань.

И он все рассказывал, ослабляя и вновь набирая голосу, торопясь и захлебываясь от торопливости, отдавая все, что было известно ему, — и свое, и отцово: по каким признакам ищут водицу, какой звук имеют пустые и полные горизонты...

На Пролетный Верх из Ивани вели теперь хоженные тропинки. Шли по ним сюда и из других деревень, куда дока-

тился слух о человеке, заживо погребенном в колодце, но который живет, не сдается, все ищет какую-то воду.

Бучило теперь молчало. Оно молчало и тогда, когда пьяным к нему притащился небритый, козлобородый Фрол Парамошкин.

— Слышун, ты меня слышишь? — наклонился он вниз и плакался, туго провертывая языком — Сними с души камень, сними ради бога. Ведь пожалел, зажал тогда я лесок — гнилушки подсунул, вот оно и... Не мучь меня, Иван Иванович, сними...

А вечером, вызванный по телеграмме, приехал с флота Владимир — Корнеева сын. С ним на Пролетный Верх и пришли ветераны. В бушлатах и гимнастерках, пахнущих нафталином, в орденах и медалях. Вспомнили, что на днях будет День Военно-Морского Флота, что Иван Иванович тоже когда-то ведь моряк. Нашлось и в степной Ивани, по округе всей немало бывших матросов — тихоокеанских, черноморских, балтийских североморцев, нашлись просто солдаты. Налили по полной без различия рангов, и тогда встал сосед корнеевский Сергей Никодимыч, поднял рюмку и крикнул в бучило:

— Пьем за тебя, Иван Корнеев, — российский матрос и настоящий ты человек! Потому как не осрамил, понимаешь... не опустил ты флотского Андреевского флага... И доказал всем своим смыслом, что главное у нас — сила духа и все для людей... И детям, и внукам своим закажу, чтобы вечно чтили тебя, сосед. За жизнь твою долгую, в людях...

Голос Сергея Никодимыча осел звуком, щека передернулась, он крутнулся в сторону и затих.

- Слышишь нас, батьку? — крикнул, перехлестнувшись в бучило, Владимир.

- Слышу, сынку, слышу-у-у... — показалось им, словно эхо выдохну-лось из земли, и песок засвиристел в черную щель.

Выпили за погибших на всех фронтах, какие были, за то, чтобы не было больше фронтов. Плакал Володька — Корнеев сынок, лейтенант военного флота. Кто-то тонко тронул давнишнюю горько-соленую песню:

Раскинулось море широко...

Прибавились голоса погрузнее. И Ивань внизу, перевиная Хладоструйкой, все топившей, но так и не утопившей в себе месяц, звезды и белые фонари на столбах, отзывалась молчанием. Песня о кочегаре утекала за повороты и дальше, дальше — по селам и деревням, до смыкания речки с многоводиём Дона, до самого Черного моря.

...Теперь на ферме автопоилки. Нажал на железку — хлебай родниковую, ключевую, студеную. А весной сюда доставили водопроводные трубы и саженцы. Всем гужом на Пролетный Верх вышли с лопатами. Хотели прибить дощечку, что парк, мол, имени Ивана Ивановича, да решили: зачем она, и так всем известно. И шумят с того времени на Пролетном Верху ясени и дубки, тянут воду корнями из материка, набираются дерева, чтоб в щедротях своих золотеющих, лиственных принимать всякой осенью голоса сельчан, пролетающих журавлей.

*с. Ивань*

## ВЁДРЕНАЯ ПОГОДА

После института начал я в селе работать учителем, куда когда-то, в далеком уже 43-м, были мы эвакуированы и где я провел целое лето под непрерывным грохотом артиллерийских орудий где-то за горизонтом и гуда самолетов над головой. То была знаменитая Орловско-Курская дуга, Центральный фронт... Веду в школе русский язык, литературу и даже историю, смотрю на ребят в классах, а сам помню их отцов, матерей...

В восьмом классе я к тому же еще и «классная дама», то есть класс-ный руководитель. Читаю им «Слово о полку Игореве, о далеких веках нашей истории – о песнепевцах Игоревых Бояне и Ходыне, а сам глаз не могу оторвать от Любочки Масловой из недалекого тут поселка Оладьево, километрах в трех отсюда. Круглоликая, с тонкими черными бровками, с пышной русой косой. До чего ж взгляд умен и смекалист. Самая лучшая из моих учениц, помощника моя, заводила в классе. А сколько песен знает своих, дере-

венских, а сколько частушек. Отмечая «маевку», взяли мы палатку, котел да и пошли всем классом туда к ней – в Оладьевский лес. Так она всю дорогу как прилипла ко мне, так и не отвязалась. И туда, и обратно все частушки мне пела – боже, каких только она не знает, на все случаи жизни...

Подхожу к окну и распаиваю его прямо в сад, а в саду – соловьи, медом пахнет, пчелы жужжат, качаясь на бело-розовых, синих флоксах прямо тут под окном. А в спину я чувствую взгляд черных в крапинку глаз – знаю чьи это — Любочкины. Как она похожа на свою мать. прямо копия! И годы, прямо как кинолента, закрутились, замелькали в обратную – и вот я там, в 43-м...

Любочкина мать – Христина жила тогда по соседству, в соседней хате. Не знаю, откуда она была эвакуирована, может быть, из Белоруссии, а может, еще откуда? Но, точно, она была не здешняя, не деревенская. В таком же вот в мае - месяце без стеснения носила она на голове веночек из сплетенных ею же самой желтых цветов – одуванчиков и в юбке ходила какой-то цветной, не нашей тут, – колокольчиком. И в красных сапожках... Невеста Христова, а ведь война идет, каждый день раненых мимо провозят и кого-то хоронят...

А тут, помню, погода ведреная. Это когда можно на месяце ведро повесить, и оно не свалится, не упадет наземь. И любила Христа на танцы бегать в соседний сад через поле. А там то кино трофейное показывают, натянут белую простыню между яблонь и показывают. А после, когда погаснет электричество от движка, остаются девчата там с солдатами в темноте и в любовь по кустам играют. А патруль гоняется за ними, хватают, кто попадется, и растаскивают по воинским частям, которых много тогда тут было распихано – по оврагам, по берегу речки, где-нибудь у моста, еще не разбомбленного вражеской авиацией.

И Христа с подружками ходила туда, бывало, в кино.

И вот молочка на ужин налила мне мать, попил я и в постель, не по-мыв даже ног. Так набегался за день – бух и сплю уже, как отрубился. Но слышу голоса в дворе, шум какой-то. Христа вбегает в хату и - под одеялку ко мне. Лежит – замерла вся, обняла меня и притиснулась. А мне она

нравилась вся от сапожек до кос, раскиданных по плечам. Глаза ее нравились, плечи, фигура. Но ей было сколько, а мне? Мне только в школу осенью, а она уж, наверно, в восьмой... А тут лежит рядом со мной да еще и дрожит вся. Ух ты! У меня прямо искры из глаз посыпались, и я задышал тяжело...

А она притиснулась ко мне еще ближе и шепчет на ухо: «Да тихо ты, тихо». И грохот дверью, шаги в сапогах по сеним. Заходят мужчины, оружием звякнули – патруль! Поводили узким лучом фонарика.

Один и говорит:

- Сюда бежала, сам видел.

А другой отвечает:

- Да нет, не сюда. А за хату... А кто тут спит?

И настал момент выручать Христю, я это понял.

- Да это я тут, - привстал я из-под одеяла.

- А-а, это ты, малец..., ну, ладно.

И патрульные вышли из хаты. Правда, один возвратился и ладонью потрогал одеялку там, где Христя была:

- Холодная.

И опять же вышел. Лежим, замерев. Кабы еще не вернулись. Потом, дождавшись, когда они совсем ушли со двора, Христя привстала на локоть, обернулась ко мне. И, найдя меня во тьме среди одеяла, притянула к себе и поцеловала долгим-долгим, пронзительным поцелуем.

И ушла. Вышел я следом на улицу. А там вот такая же луна. Ущербленная. Наклоня, на нее можно вешать ведро, и оно не упадет.

Вёдреная погода...

И тут звонок зазвенел. И весь класс, все ребята кинулись на перемену. А Любочка подошла ко мне сзади. И положила подбородок мне на плечо. И тоже, вместе со мной, долго-долго смотрела, как висела и качалась на розовом флоксе пчела. Вот гудела, вот натужалась.

- Приходите сегодня вечером, - сказала мне Любочка. - В лес наш Оладьевский, где жгли мы костер. Я буду вас ждать.

*п. Жареный*

Ночевать Герка перебрался к Витяхе на сеновал. Солнце, свалившись за соломенную крышу сарая, наконец, село в тучку. Ребята лежали на свежем лесном сене и молчали. Сильные запахи недавно увядшей травы обступали со всех сторон, кружили голову, отдавали пылью, щекотали в носу. А сумерки становились все гуще; в дыре, между ржаными снопами, проклюнулась звездочка. В полусне вздохнула рядом корова, мягко задвигались ее челюсти.

— Витя,— тихо позвал Герка.

Тот не отозвался. Герка принялся думать про то, как, дождавшись ночи, они спустятся с сеновала, пройдут темными улочками в конец городка, за карьеры. К Огрешкину саду. Представились огромные, с Витькину голову, огрешкины яблоки, даже почудился их горьковато-приторный запах. Герка перекатился в угол, приподнял клоч бурьянного сена, но, кроме растревоженного, обычного для лежалого бурьяна духа прели и сырости, не уловил ничего.

В сарай упала полоска электрического света: во двор вышел Геркин отец. Постоял, хлопнул дверь, снова вошел в дом. Стало совсем тихо. Даже корова уморилась жевать, положив голову в ясли. Хотелось спать.

— Витя,— задышал Герка,— давай играть в сочетания? На «гер». По три слова... Германия, герб, Герка.

— Не-ет, «Герка», чур, не считается. Герань, Гераций...

— Не Гераций, а Гораций.

— А ну тебя,— Витька смолк.

Прошло еще с полчаса. Электричество на подстанции выключили — все погрузилось во тьму. И сразу же в одиночку и хором, по-бабьи заголосили собачьи баритоны и тенора, а между ними, путаясь и уходя ввысь, горошинами покатились голоса щенков.

— Это в саду у Бородача,— определил Витяха. Через час все угомонилось.

— Идем,— поднялся Витяха и скользнул из дверей.

Неба как будто не существовало. Тучи закрыли звезды, надавили на землю, казалось, они сливаются с ней, и от-

того так чернильно кругом. Было страшно. Лишь светлела в двух шагах перед Геркой рубаха Витяхи, и Герка старался держаться ее, чуял в ней тонкие запахи сена, и ему становилось спокойнее.

Где-то рядом раздались голоса и гармонь, и песня:

Спят курганы темные,

Солнцем опаленные...

Витяха и Герка ткнулись в акацию. Припав на руку, Герка слышал ладонью, как пышет, набравшись за день тепла, толстая летняя пыль. Мимо проплывали алые точки папирос.

Через рощи синие...

Голоса удалялись. Дождинка упала на нос — Герка вздрогнул.

— Ит-тем,— зашипел, поднимаясь, Витяха.

— Тем-ш-ш, тем-ш-ш, тем-ш-ш,— повторили, шелохнувшись от бли-зящегося дождя, шершавые листья вязов.

Шли кручами и буераками. Где-то тут бродил Герка сегодня с отцом. Отец привез его, Герку, сюда, в городок своей юности. Здесь, в логу, он когда-то, в сорок третьем, останавливал «тигры». Здесь, в логу, враги расстреляли его боевого товарища...

А Витяха все шел, продираясь заросшими оврагами, кручами. И когда Герка понял, что больше идти не может, Витяха остановился: перед ними чернела усадьба Огрешки.

«Вот возьму, да и не пойду,— росло в Герке сопротивление.— Возьму, да и не пойду».

— Витя,— сказал Герка и остановился.— Ведь нехорошо это... нехорошо...

— Чего? — ошепел Витяха и зашептал сердито: — У него можно. Дед Огрешка — куркуль. Вон какой у него садище, в целый гектар. С копанью. А в копани зеркальные карпы. Машинами, говорят, отправляет яблоки в Тулу...

Хлестнула по пятке ветка, оттянутая Витяхой. Герка вздрогнул, двинулся следом. Поднималась примятая Витяхой полынь, шелестел вниз по яблоне сухой лист — плечи Геркины вздрагивали, поворачивались на звук. Колотилось сердце, отчего, казалось, шевелится листва, а от этого на-

чинает двигаться воздух. Потянуло сыростью, дождь надвигался.

Первая волна пробежала вершинами вязов и затихла за Огрешкиным садом. Стало слышно, как в руках у Витяхи скрипят яблоки. Герка вытянул перед собой пальцы, чтобы не выколоть веткой глаза, и неожиданно коснулся Витяхиной рубахи. Сделалось как-то легче, Герка даже запел.

— Ты ш-ш-што-о? — прошипел Витяха. Герка притянул ветку, нащупал яблоко. Откусил. Ароматный сок бросился в рот. Герка откусил еще.

— Хватит жрать-то,— озлился Витяха. Нагрузив пазуху, он уже набивал через дырку в кармане штаны, завязанные у щиколоток. Оттого колени его не сгибались, едва двигались ноги, сделавшись тумбами.

— Тэх-тэх-тэх-тэх-тэх,— застучали дождевики по притихшей листве. Сразу откуда-то взялись запахи. Потянуло землей, картофельной ботвой, даже глухой крапивой. И над ними высился один ароматный, вкусный до невозможного, запах зрелых антоновских яблок, он наполнял весь сад, поднимался под самые вязы, вырывался на улицы: где-то навстречу ему распахнули окно. Далеко-далеко бродила гармошка. И вдруг перед Геркой выросло что-то огромное, черное. Рядом, взвизгивая, приседала собака.

— Стой! — ударило громом.— Стой, говорю!!

Яблоко из Геркиных рук упало. Герка присел от страха, различив перед собой великана в сапогах и фуражке. Огрешка — а это был он — молча взял ребятишек за шиворот, приподнял над землей, протащил на весу, так же молча швырнул обоих в собачью будку, привязал волкодава и молча же удалился.

Дождь пошел ровнее, гуще, тотчас сквозь дощатую крышу потекли холодные струйки. Первые минуты мальчишки лежали ошеломленные: так все быстро произошло.

В окне у Огрешки горел слабый свет, мелькали какие-то тени.

— Ложатся, должно быть, спать,— вздохнул Герка.

— Угу,— шевельнулся Витяха, но волкодав звякнул цепью, и ребята снова затихли. Лежали, не двигаясь. Пахло

псиной, кислой собачьей картошкой. На мокрых листьях задрожал серый свет. Дождь повис мелким туманом. Попробовали двинуться к выходу, но волкодав еще раз звякнул цепью и зарычал. Прижавшись друг к другу, пленники стали придремывать, когда послышались чьи-то шаги — частые, легкие. Герка поднял глаза: перед ним стояла... девочка. Горбатенькая, в белой косын-ке.

— У Огрешки живет, внучка,— зашептал Герке Витяха.— Свиной помогает кормить.

Склонив голову, девочка с минуту глядела на них. Наверно, мальчишки показались ей жалкими — мокрые, грязные, в этой собачьей будке. Улыбнувшись, она подошла к волкодаву, взяла одной рукой за ошейник, махнула другой: вылезайте. Показала на кусты акации, ограждавшие сад: уходите, мол.

Мальчишки бежали напрямик, через крапиву, татарник. Через огороды и колючую проволоку. Ноги щипало от свежих царапин и ссадин, смачиваемых дождем.

Свет постепенно очищался от теней — холодный, безжизненный, алюминиевый. Воздух стал теплее и мягче — тучи сгрудились, капли сделались крупнее, грянул утренний дождик. И хотя на мальчишках уже не было сухой нитки, они бросились к дому, запыхавшись, влетели на сеновал. Натянув на голову одеяло, они постепенно отходили, засыпали под монотонный шелест дождя о соломенную крышу, под мерную жвачку коровы и вздрагивали.

Проснулись ребята от далекого крика. Долго лежали, стараясь сообразить, что же происходит.

— Огрешка Маруську порет,— наконец догадался Витяха. И вздохнул равнодушно: — За нас, должно...

— Как порет? — заволновался Герка.

— А так. Берет за виски и таскает.

— И таскает??

— А как же,— сказал важно Витяха.— Он такой, дед Огрешка! — Витяха сделал страшные глаза, наклонился над Геркиным ухом: — А одного, говорят, поймал, в подвал посадил. А другого яблоню грызть заставил, а когда...

— Врешь все, Витяха,— приподнялся Герка, прислуши-

ваясь к отда-ленному крику.— И зачем врать?

— Честное,— вскочил Витяха.— Три дня матери не видать! Мне Колька Лупа рассказывал. Знаешь, какой это дед! Это он с виду блажной, а...

— Витя,— сказал Герка дрогнувшим голосом.— Давай пойдем к нему и признаемся.

— Ишь ты,— отодвинулся мигом Витяха.

Щелкнула сенечная щеколда, звякнула пустым ведром отцова сестра — тетка Наталья, Витяхина мать. Вывела корову во двор. Значит, совсем уже утро. Вскоре в пустое ведро задзинькало молоко.

— Ребята,— вошла в сарай она.— Выпейте молочка. Паренького... Ну, хоть ты, Герочка. Жалкий ты мой, экий худой да бледненький. Выпей, Герочка, паренького, своего. Это не то, что у вас там, в городе, магазинное...

— Выпей, телок, выпей,— ущипнул Герку Витяха.— А то в подвале у Огрешки и водицы не разживешься.

— Ну, как хочешь,— сказал решительно Герка и начал слезать с сеновала.

Первый солнечный луч, пробившись через дырку в крыше, упал перед Геркой. Герка хотел наступить на него, но тот прыгнул ему на плечо, потом на нос и губы — ослепил Герку. Слышно было, как с крыши булькали в бочку рваные струйки, на ближнем клене перешептывались в листве ленивые капли.

Герка сунулся в дверь: на пороге стоял отец, за спиной у него торчал дед Огрешка...

*г. Малоярхангельск.*

## НОЧЬ СВЕТЛА (рассказы из 21-го века)

### НОЧЬ СВЕТЛА

Это было в августе, на излете лета, уже после районной педагогической конференции. К тому времени молодые педагоги, выпускники провинциальных пединститутков, обычно приезжают в школу. Став где-нибудь на квартиру в этом маленьком городке, где с незапамятных дней жили и живут по сю пору все те же 4,3 тысячи человек, они будут бегать на свои уроки, давать часы за 72 рубля в месяц. И при сем при том вспоминать добрым словом вождей, которые собирались поставить учителя на такую высоту, на какой он не стоял еще и стоять не будет в цивилизованном мире.

\* \* \*

Людмила приехала в середине месяца и нашла себе квартиру на той же улице, где и школа. Через несколько дней после того домой сюда, к хозяйке Людмилы, прибыл из соседнего Курска сын ее Владимир-юрист, тоже выпускник, но столичного, Московского госуниверситета, с юрфака. Едва увидев Людмилу, он тут же стал оказывать ей знаки внимания, говорить с паузами, многозначительно. Завтра он, видите ли, должен уезжать в свой Курск, выходить на работу, а сегодня, по его разумению, вполне могло бы состояться его объяснение с Людмилой – француженкой, ныне преподавателем французского языка в здешней средней школе. И он с волнением ждал вечера где-нибудь на лоне природы. В подходящей обстановке, ну, например, в Кубанковском саду за территорией городка, где вплотную к нему примыкают сельхозугодья коллективного предприятия «Прогресс».

Владимир тщательно утюжит брюки, подбирает галстук к модной своей московской рубашке и краем уха жаждет уловить ее шаги за калиткой, возможный скрип калитки. Вместо этого появляется Людвиг – его школьный дружок,

которому он лично еще в детстве прищипандорил, если полностью взять имя, то Людвиг ван Бетховен, а если проще, то Ваня. Владимир всегда считал его лохом: пишет неизвестно какие стихи – на Луну, мурлычет под нос себе какие-то песни – авторские.

- Привет, Володя, - входит в комнату Людвиг ван Бетховен.

- Привет, Ваня, - сдержанно отвечает Владимир. – Ну, и как ты? Что, как говорится, почем?

Смягчается Владимир, говорит дружку дружески, но по-прежнему свысока:

- Хочешь я тебя, дай зацеплюсь вот, в детскую комнату милиции в Курске определяю?

- Да нет, что ты, - отмахивается от него Ваня. - Я в деревню хочу. 69 рублей за ставку, плюс 5 рублей за керосин для освещения, за квартиру у какой-нибудь старушки – божьего одуванчика...

- Да ты что, смеешься? – отставляет утюг Владимир. – С твоими-то талантами?

- Я в народ хочу. Поближе к первородному языку, - улыбается Ваня. – У меня же за плечами истфил... Русский язык, литература и история - с пятого по десятый...

- Се ля ви, высший класс, - говорит еще более иронично Владимир, с беспокойством поглядывая, как быстро темнеет окно, неуклонно надвигаются сумерки.

Владимир опять кладет брюки на стол и, собрав губы бантиком, принимается снова гладить и гладить то одну сторону брючины, то другую, делая тщательно стрелки. Но теперь Владимир уже молчит: слово – золото, молчание – серебро. Вот прицепился – Ваня этот, все никак не уйдет.

Когда волнуется, Владимир начинает слегка посапывать, дергать носом, а от тела его начинает исходить терпкий такой, горьковато-глеющий запах. Сам Владимир этого не замечает, мать знает и потому чаще меняет сыну рубахи.

Владимир гладит и гладит брюки, гладит и гладит. Людвиг чувствуя стеночку между ними, молчит.

- В Америке, в Соединенных Штатах, - размыкает губы он, наконец, - рубашки дюжинами покупают. Поносил и выбросил.

- А брюки? – поворачивается к нему Владимир и оставляет утюг.

- До упаду гладят, - смеется Ваня. – До прожжения дыр. Греют утюг на керосинке, керосину не жалко.

- На пять рублей не раскупишься. – Это бурчит под нос себе Володя, Владимир-юрист.

- На керосине самолеты летают, - отвечает ему односложно Людвиг.

И тут раздаются легкие, быстрые такие шаги – вот и она, наконец, Людмила – французенка.

- Прилетела? – озаряется лицо Людвиг.

- Ласточка сизокрылая, - смеется Ваня, этот белобрысый, несчастный стихоплет, который лишней разок не прочь похвалиться, что он, видите ли, похож на Сергея Есенина.

- На самом деле, - по-прежнему ироничен Владимир. Он чувствует себя хозяином положения, ибо знаком с Людмилой уже третий день и имеет на нее виды.

- Так ты, Людмила Сергеевна, как сюда - на самолете летела или пешком? – обращается к ней по-свойски Владимир.

- Видишь под окном? Привезли на машине, - пожимает плечами Людмила. – Я в Орел, в общежитие, за своими зимними шмотками ездила...

Все втроем они выходят из дому. Свободным, прогулочным шагом направляются в конец улицы, где сразу же начинается поле. Рожь недавно скосили и поле уже выпахали под зябь. Пройдя метров триста, перед самими высоченными тополями, окаймляющими Кубанковский сад, Людмила замедляет шаг, а вскоре и вовсе приостанавливается. В сумеречном небе все яснее, все ярче обозначается круглый диск ночного светила – полная Луна над аллеей.

- Темная-то какая, - вглядывается Людмила в глубину аллеи, - как у Бунина, - говорит она Владимиру тихим, неуверенным голосом.

Владимир берет ее под руку и решительно вторгается в пространство, отделяющее тополя от плодового сада. Людвиг вяло бредет следом за ними. При луне яблоки начинают присвечивать на ветках, отягощенно свисающих вниз. Это,

конечно, антоновка. Яровые сорта густо лежат под яблонями, устилая землю.

Тут-то Людвиг смело выходит вперед.

- Ах, как пахнет! Ну, конечно, антоновка, - говорит он, увлекая за собой спутников.

- Конечно, конечно, так может пахнуть только антоновка, - чувствуя, как дрожит ее голосе, попевает за ним Людмила-француженка. - Конечно, во Франции, где-нибудь в Грассе, таких запахов не бывает. Это бывает только у нас тут, в срединной России...

- Проходи, проходи, - кивает Людвигу Владимир-юрист, слегка придерживая Людмилу Сергеевну. - А мы тут стоим, поговорим... Люда, слушай сюда! Дай зацеплюсь в Курске, я приглашу тебя в детскую комнату милиции, хочешь?

Выбрав тень погуще, под самым высоким тополем, Владимир пытается приблизить ее к стволу - шершавому, мощному, похожему на эвкалипт где-нибудь в Австралии или хотя бы в Ботаническом саду Московского университета.

- Люда! Людмила, - говорит он ей на ухо, отделяя каждое слово и достаточно громко, чтобы слов его не заглушили шорохи листьев от ночного ветерка. - Кстати, я учился с внуком Ворошилова... Да, вот что хотел сказать тебе. Он, если откровенно, плохой человек, - кивает Владимир на Людвигу впереди, ждущего их под могучей антоновской яблоней. - Он очень, очень плохой человек!... Ненасытный какой-то... А с виду ведь мягкий, положительный... поэт, пишет стихи...

- Ну, и в чем же проявляется эта его «ненасытность»? - продолжает она смотреть с любопытством на антоновскую яблоню тут в густом, диковатом саду.

- У него уже три любовницы... он может быть сразу с тремя, представляешь?

- Ты вот назвал меня Люда, - говорит она, - а дома меня зовут, между прочим, Люсей.

Людмила высвобождает плечо от руки Владимира, решительно проходит вперед, к антоновской яблоне, похожей в сумерках тоже на эвкалипт, навстречу луне, которая, как из-

вестно, движет не только приboями, но и целыми океанами. А Владимир, подняв у ног кем-то срубленный сук в виде тяжелой дубины, остается на месте.

- Дядя Ваня, - выходит Людмила на большую и круглую, залитую светом поляну, посредине которой стоит этот Людвиг Ван Бетховен – будущий сельский учитель, а ныне Куинджи, сельский врач Чехов, поэт.

Людвиг стоит опустив голову.

- Почему поляна такая большая и круглая? – смотрит она на него.

- Со всех яблонь несут сюда яблоки, - поднимает он на нее сияющие глаза. - И люди едут сюда на подводах, машинах, приходят с корзинами. Я люблю, когда всего много – большие огурцы, большие помидоры, люблю ночь, полную Луну...

- Говорят, ты пишешь стихи, - смеется она. – На Луну пишешь, да? В письменном виде?

Полная луна. Магия ночи, всей этой светлой поляны, окружающей жизни.

- Ночь светла, - шепчет он ей, только ей горячими своими, сухими губами.

Запрокинув всего себя, он поднимает голову, держит ее высоко-высоко: там небо, много-много всего: Луны, света, звезд. А за всем этим пепельно-лунным светом много Бога, любви... Он чувствует: кто-то наблюдает за ним оттуда – это Третий Глаз, это Бог, его личный Бог, ничей другой, кроме того человека, который сейчас тут, рядом с ним, она стоит, покачиваясь слегка, как яблонева ветка. Как весь земной шар где-то над головой, в космосе, как слова в его сердце, обращенном к Богу.

- Ночь светла, - подступает к горлу знакомая с детства мелодия, этот русский романс.

- Ночь светла, над рекой,  
Тихо светит Луна,  
И блестит серебром  
Голубая волна.

- Боже мой, Боже мой! – шепчет она. – Се манифик! Это прекрасно! Как хорошо!

- В эту ночь расцвели  
Голубые цветы.  
Они в сердце моем  
Пробудили мечты.

- Это любовь, это тайна, - говорит он ей, но еще про себя.

- ... К тебе грезой лечу,  
Твое имя шепчу.  
Милый друг, нежный друг  
По тебе я грущу.

- Они думают, - говорит он ей уже вслух, - что им можно  
писать обездушенные стихи...

- Кто они, кто они? – шепчет она ему, только ему.

- Они культивируют зло, путая души людей, - говорит он  
ей уже громче, чтобы слышал его Владимир, стоящий в от-  
далении, под тенью тополя. – Французы, Андре Бретон -  
автоматическое письмо...

- Ночь светла, - подходит она к Людвигу ближе, совсем  
близко, поляна кажется ей еще больше, круглее, наполнен-  
нее чистым, божественным светом.

- Ночь светла, - летит по поляне, залитой белым, его чи-  
стый, высокий, молодой голос.

- В эту ночь при луне  
На чужой стороне,  
Милый друг, нежный друг,  
Помни ты обо мне.

А того, что стоит под тенью тополя – эвкалипта корчит,  
раздирает всего изнутри: «Вот пойду и погружу этот сук в  
его мягкое темечко, а потом выброшу тело в Стикс, и пусть  
плывет оно по реке всех времен и народов».

- Что это я, - слабею? – стучит в виски Владимиру.

- Орловский дубинник! – обзывает он сам себя раздра-  
женно.

А та, с которой он только что шел сюда, в Кубанковский  
сад, под руку, уходит отсюда с другим.

- Магия этой поляны, тайна Луны, таинство Слова... Мы  
когда-нибудь вспомним об этом, - шепчет на ухо ей Людвиг.  
- Вот они. Эти слова на совершенно божественную мело-  
дию:

- Ночь светла...

И читает он Людмиле и свои собственные стихи, идущие к ней из его поющей души:

- Вот что делает с нами Луна,  
Которая сама себя поет...

Они – все правоверные, все те,  
Что все кладут, а некуда уж класть.

А я – про Красоту на высоте,  
Которая нам не дает упасть.

А день, между тем, начинался. Где-то по другую сторону  
Малого города уже занималась заря.

В то же утро Людмила перенесла свои вещи на другую  
квартиру.

*г. Малоархангельск,  
11 июля 2011 г., В ночь на Петров день.*

## СИРЕНЕВАЯ АЛЛЕЯ

Несколько лет спустя. Та же Людмила – учительница французского в школе Малого городка – уже в областном городе. Ныне она преподаватель французского на инязы того же пединститута, где была когда-то студенткой. Воспоминания о темных аллеях Бунина и яблоневого сада в «Прогрессе», встреча с сыном ее бывшей хозяйки Володей – юристом из Курска – живут в ней, не дают покоя душе. Неосуществленные желания уводят ее в давнее – в детство, когда она жила в деревне. Где-то напротив их дома, на центральной усадьбе, помнится, была маленькая больничка на месте бывшего дворянского гнезда. И, как всегда у дворян, там была сиреневая аллея: белые, сиреневые гроздьи в мае, невероятные запахи в распахнутое окно...

- Да не сиреневые эти охапки, не сиреневого цвета, - как обычно, заходит к ним сюда домой приятель мужа – Людвиг – профессор Явлонский.

- А какого же цвета? – говорит она ему. - А какого?

- Это же персидская сирень, - отвечает он. – А у персидской цвет, скорее, лиловый. Как у баклажана. Сиреневый относится к холодной цветовой гамме, а это цвет теплый,

почти фиолетовый. А фиолетовый цвет состоит из красного цвета и синего.

- Красный – да, теплый, - подтверждает она. – А синий - холодный.

- Конечно, - улыбается снисходительно ей Явлонский. – Теплая, холодная гамма – все дело в соотношении. Смотря сколько вложено в это красного, сколько синего... Да, кстати, а где твой благоверный, Людвиг?

- На даче, - говорит она ему не менее снисходительно.

- С сыном?

- С кем же еще? Как только весна, - приглашает она профессора пройти в комнату, - так они с сыном едут в деревню. Посадили там сиреневую аллею, как они говорят, имени Люси Заречной, то есть меня. А у нас на краю леса, сирень в постоянной тени, под дубами аллея никак не получается. То белая сирень высохнет, то персидская совсем хилая, не растет... А тут вот смотрите, смотрите, что творится, само собой все получается! Да проходите же сюда – на балкон, видите? Сверху отсюда видите? Целый ряд из кустов сирени во всю длину нашего дома, по ту и по эту сторону нашего дома, по ту и по эту сторону асфальтированной дорожки метров на сто. Вот тебе и аллея... Как только весна, выхожу и смотрю с балкона – аллея если уж не моего имени, то как будто... Уж не странно ли это, как вы думаете?

- Странно? – наклоняется вниз с балкона профессор. – Может быть, может быть... Думаю, сильное желание, тяга к красоте, в общем, духовность великая как бы материализуется, превращается, что ли, в свое реальное воплощение. Что-то с душой человеческой связано, с душой самой природы. Какие-то невероятные тайны, неосуществленные мечты... Вон пришли двое, наклоняют кусты и рвут ветки самые лучшие... Эй, вы! Что вы делаете? Это же красота для всех, общее достояние!

- Ничего, ничего, - успокаивает Людмила профессора. – Я к такому привыкла... Знаете, когда ломают сирень, она от этого становится только лучше. Смотрите, какая она густая. Эта сиреневая аллея... Вдоль всего нашего дома, действительно, тянется метров на сто...

- Хороша аллея, хороша сирень, - улыбается, заглядывая ей в глаза, Явлонский.

- Как, по-вашему, почему Бунин назвал цикл своих, как считается, лучших рассказов «Темные аллеи»? А? Почему? Как вы думаете?

- Э, матушка, - сдвигает брови Явлонский в глубокой задумчивости, - так на это сразу и не ответишь. Несколько вариантов возможно, но что попал Бунин с названием в самую точку, это факт.

- И какие же варианты? – допытывается Людмила.

- Да как сказать, - говорит профессор раздумчиво. - Например, ближнего, так сказать, действия... Скажем так, мрак неизвестности: что было с людьми на этой аллее жизни, что будет? Что мы знаем об этом? Вон Ливии и Египту хлеба не поставили по условиям договора, вот она там и война, революция... Это факт, а остальное пресса что хочешь накрутит...

- Ну, а вариант второй - дальнего действия - каков, как вы считаете? – не отстает от него Людмила.

- Дальнего-то? – поднимает голову к небу профессор. – Дальнее – это связано с вечностью. Слышала вчера по телевизору? Американские ученые открытие великое совершили: телескоп особо сконструированный на так называемую «черную дыру» навели и что увидели?

- Да, ну и что? – нетерпелива Людмила.

- Миллионы галактик. От Большого Взрыва до нас 13,7 миллиардов световых лет. Но не в этом главное – для человечества, для нас, живущих на земле.

- А в чем же? – продолжает терзать Людмила профессора. Как смола, прилипла, никак от него не отвяжется.

- Главное – что галактики не сближаются, как считалось до сих пор, а удаляются друг от друга... Причем с бешеной скоростью, с невозможной энергией... И это назвали «темной энергией»... То, по-Ньютону, считалось, что яблоко притягивается к земле, согласно закону гравитации, а теперь начинает считаться, что это яблоко вместе с большим так сказать, «яблоком» земли, отталкиваясь от других таких «яблоков» в галактике, стремится в неизвестность...

- Интересно, - улыбнулась Людмила профессору. – А потом, скорее всего, когда-нибудь снова будет считаться, что звезды друг к другу притягиваются... Такая жизнь, как у людей: то отталкиваются, то притягиваются...

- Ну, а как у вас с Людвигом, - слегка улыбнулся профессор, - Людочка, если начистоту?

- Да как. У нас, как и у вас, как у всех, - смеется Людмила. – Если взять имена: я – Люда, он – Людвиг, то мы как бы притягиваемся. Это с житейской точки зрения. А если взять и глянуть с электрической точки, то что? Одинаковые заряды отталкиваются, притягиваются только плюс с минусом...

- Так, понятно, - по-прежнему ироничен профессор. – Понятно, почему Людвиг посадил на даче аллею имени тебя, супруги своей, а аллея не получается.

- Уж нет ли у него другой какой-либо пассии?

- Да вы что, что вы? – замирает Людмила, глядя на профессора.

- А у тебя? – настаивает теперь уж профессор.

- А у меня-то? – слегка покраснелась Людмила.

- Ну хотя бы того... Владимира, что юрист был из Курска, помнишь, рассказывала?

- А как же, помню. Это – молодость, как не помнить?

- Небось, жалеешь, что не протянула тогда, в ночном саду, ему руку? – допытывается Явлонский. – Говоришь, небось, сама себе что по-другому могла бы жить?

- Ну да, конечно...

В двери раздается звонок.

- А-а, ну вот и он. Может, спросим его, что он по этому поводу скажет? Можно спросить его, Люда? Ты не обидишься. что я выдам тайну нашего интимного общения? Я примерно представляю, что жены обычно говорят про своих мужей, особенно поэтов: всегда и всем недовольны, ведь так?...

Входит Людвиг. Увидев Явлонского, он делает несколько быстрых шагов навстречу, по-медвежьи крест-накрест обнимает приятеля. Быстро взглядывает на жену:

- Опять про меня тут судачили? В продолжение вчерашнего разговора.

- Да вот, судачили, - помогает Людмила Людвигу снять пиджак и вешает его на стул. - Что это ты при галстукке? В офис ходил куда-либо? Ведь вам, поэтам, допускается быть в свободной одежде, попроще.

- Да, ты так считаешь? - автоматически снимает она галстук с Людвиг.

- Надо как они... чиновники... от кого дело зависит, - фыркает, закусывая губку, Людмила. - Ходишь, клянчишь на книжки.

- Издание как-никак, целые тома, - открывает бутылку «Эдельвейса» Людвиг.

- Вон Володя - приятель твой...

- Какой? Что из Курска?

- Ну да! Что юрист, из Курска, - стоит на своем Людмила. - Так он не клянчит деньги для своих опусов, ему деньги сами приносят... В самые трудные годы всегда приличный паек: салями, буженину давали... А у тебя был юбилей, так не знали, где достать кусок колбасы...

- Твой Володя уж два дома проел: отцов дом с братом пополам, - усмехается Людвиг. - И жене дом в наследство достался...

- Он начальник отдела, - стоит на своем Людмила.

- Зам. начальника, зам! Подполковник, до полковника так и не дослужился. А ведь с Московского университета начал, с внуком Ворошилова учился. Собирался защититься - не защитился, книжку написать - не написал...

- Зато у тебя их за сорок, да? - ехидничает Людмила. - А все без штанов, голодра...

- Да, за сорок, - поднимает голову гордо Людвиг. - Между прочим, губернатор как-то назвал меня литературным генералом.

- Литературным минералом... вон минеральную пьешь, - усмехнулась Людмила. - Это он тебя так назвал, чтобы денег не давать на трехтомник. Мол, и так хорош, куда еще - в генералиссимусы?

- Ну хватит, хватит тебе, - успокаивает жену Людвиг. - Помнишь, были у Володи твоего на квартире?

- Это твой приятель, у твоего приятеля были мы, - перебивает его Людмила.

- ... так что у нас хуже мебель, что ли? Вон стенка чешская, ковры на полу и по стенкам. И такая же, как у него... это стандарт... трехкомнатная...

- Заметь! Не я это начал, - сказал Людвиг, виновато поглядывая на приятеля своего – профессора Явлонского. – Вот ты, наука, скажи: чем у нас можно остановить человека, чтобы от из себя не выходил?

- Что я тебе, юрист, что ли, как твой приятель из Курска? – усмехнулся Явлонский. – Я – философ, в психологии мозгой шевелю.

- А это каждый знает, не только юристы. Вот чем берут любого мужика: водка, деньги, бабы... В разных сочетаниях... Понял? Так вот, пить я не пью, у меня диабет. Бабы мне не нужны, у меня Люся есть, с этой не знаю, куда деваться. А насчет денег – книжек я больше не покупаю. А на издания – был бы талант, Боги меня не оставят. Да и много денег мне не надо... А на пропитание я еще и на даче не прочь поработать. Я землю люблю и лопату. Как Одиссей...

- Все, уговорил меня, усовестил, - замахал руками профессор - приятель Людвиг. – Скоро сам за лопату возьмусь, вместо того чтобы писать научные трактаты, торить дорогу в науке.

Приятели садятся за стол. Людвиг разливает по стаканам содержимое «Эдельвейса» - воды из липецкого источника, открытого еще Петром Первым.

- Так о чем вы гутарили тут без меня? – вплотную приступает к допросу профессора Людвиг – поэт, захотевший вдруг стать юристом.

- Об аллее сиреновой, которую вы сажали на даче, - усмехнулся профессор. – А она вдруг ни с того ни с сего материализовалась тут вот, под самым окном... Мистика какая-то, парадокс... Как сказал Александр Сергеевич: «Гений – парадоксов друг»...

Через день персидская сирень, что стояла отдельным деревцем прямо под балконом, вспыхнула вдруг неукротимым ало-розовым светом. Людмила увидела это и обмерла: с чего бы? Такая красотища! Отчего это произошло – от вчерашнего разговора с профессором Явлонским? Как

ярок, божественен этот сияющий свет! «Да Явлонский ведь атеист, значит, это не от него, а от нее, от их обоюдного материализованного желания, нереализованных чувств. Значит, только теперь оно реализовалось, они все же любят друг друга»...

В то утро Людмила была на балконе. Она смотрела на сиреневую аллею и глаз не могла отвести от нее, этой аллеи. Особенно ее поразила отдельное деревцо, которое полыхало под самым балконом. Кому бы это сказать, излить свои чувства?

На соседний балкон, рядом, вышла женщина, то была жена поэта Антона Шураева, недавно погибшего в авиакатастрофе.

- Ганна! Посмотрите, как цветет сирень! И какая же красота! Да еще прямо у нас под балконом!

К утру сиреневого деревца уже не было. Ночью его срубили, от деревца остался только пенек. Стеклянная рама на соседнем балконе была закрыта наглухо.

«Значит, это так важно было кому-то, что я вижу сирень из окна, - думала Людмила. – Это так трогает кого-то. Вся моя жизнь, всё моё существование на этой грешной, неумолимой земле».

А аллея благоухала.

*14 июля 2011 г.,*

*Орел – Малоархангельск.*

## **МОЙ САД, МОИ РАЙСКИЕ КУЩИ**

Мы с Людмилой, находясь уж в серьезном, но еще впечатлительном возрасте, избрали местом летнего своего обитания этот Малый городок. Здесь нам достался от матери дом, сад, огород, остальное – эти райские кущи – мы с сыном сделали сами. И вот сидим с Людмилой на короткой лавочке, под старой яблоней, которую именуем бабушкиной, а вообще-то как сорт это «бельфлер-китайка». И прямо перед нами еще одна такая «китайка» и «штрифель», а слева от нас антоновка, тоже старая. Справа – огородик и сразу за ним – огромная куча сушняка.

В прошлом году куча была значительно выше: 2010-й год, засуха. И это лето вначале навреде того. Сидим мы на своей лавочке для двоих, а большой длинный стол под яблонями прямо напротив нас. И вспоминаем мы: а кто же из друзей-товарищей был в застолье тут у нас в июле - месяце? А то такую красоту навели, так все тут у нас благодатно, а кто это видит, для кого все это?

- Как для кого? Прежде всего, для себя, - говорю я жене своей Людмиле Сергеевне (она любит такое отчество больше своего, настоящего, хотя я с этим не вполне согласен).

Не согласен я и с переносом основного места летнего нашего труда и отдыха сюда, в Малоархангельск. Из прежнего места - мценского поселка Синяевского. Я, хоть родом из большого города - из Воронежа, а люблю деревню, землю люблю и людей земли. А Людмила, хоть и из моховского села Золотарево (надо же, нет никого там из Золотаревых, кроме меня), родом-то деревенская, а от города не оторвешь.

- Это ты настояла, - говорю я Людмиле, - перебраться сюда. А там такой ландшафт: в двух шагах опушка леса, речка Алешня, пойменный луг... грибы, ягоды... Фет, Лев Толстой...

- А тут магазины, базар, - возражает мне Людмила. - И все рядом, под рукой. А там за хлебом в Подбелевец переть три километра... И тут тоже - Пушкин, Лесков.... И асфальт везде, чище, чем в Орле у нас, где мы живем...

Вот такие у нас разговоры с женой. А ведь Малоархангельск - моя малая родина, и я его люблю, и тоже, как и Людмила, был тут когда-то учителем как в городе, так и по деревням.

- Но не отсюда главная точка, - говорю я жене, - если смотреть во всю длину усадьбы. А оттуда вон - от крыльца, в створ видать между яблонь золотые высыпки, веселые одуванчики... Потом на середине взгляда, смотришь, вспыхнули ало-бордовым тюльпаны... Потом, глядь, по саду пробежали сине-розовые колокольчики... А сейчас в старом саду, сбоку - к баньке, вдруг зацвели, заблагоухали сразу все флоксы, зацветают по очереди: белые, розовые, лазоревые. А там наверху уже вытянули свои лебединые шеи мальвы.

И все это райские кущи...

- Туберозы, - перебивает меня Людмила. – Туберозы вытянули свои лебединые шеи.

- Дикие розы, - восстанавливаю я равновесие. – Кстати, какое сегодня число?

- Двадцать первое.

- И какой праздник?

- Казанская.

- Ну вот, видишь, - говорю я жене. – Казанская – день защиты России. Помнишь? Именно на Казанскую мы купили на базаре ковер с Богородицей и ее младенцем.

- Помню, конечно, - говорит Людмила. – Ковер висит у нас на стене.

- В самом деле, - соглашаюсь я. – Гладит глаз, ласкает душу.

- Но я не согласна, - возражает Людмила, - что это все только самой природой представлено.

- Природа и человек, - соображаю я.

- Нет, человек и природа, - настаивает она. – Вон огород! И что на нем? Сначала мы редиску дергали, потом пошли огурцы, а там уж и помидоры, картошка...

- Кстати, - замечаю я. – Огурцы – это лианы из Индии. А картошка-батат... от индейцев Америки... Оттуда же кабачки мои, тыква...

- И кукуруза, кукуруза, - добавляет Людмила. – Ну вот, сам видишь: одна культура из Америки, другая – из Азии, а уже в Европе люди расставили, что за чем, по порядку. Например, раннюю капусту, до развала Союза, везли к нам сюда из Ленкорани (субтропики, Азербайджан), а лук – из Запорожской области.

- А сейчас то из Ростова-на-Дону, то из Краснодара, - говорю я. – Арбузы астраханские...

И тут раздается звонок.

- Алло, алло, - прикладывает Людмила ухо к своему мобильнику. – Это Леночка?

- Какая Леночка? – раздается крепкий мужской голос, разительный смех. Это Коля, Николай, его доброжелательный тон, голос моего друга.

- Какой Коля? Мозжухин - полковник в отставке, военный юрист... Докладываю: прибыл от вас домой благополучно. Добрался до Белгорода вчера вечером, сегодня уже звоню... Все в порядке...

И пи-пи-пи. Телефон отключился.

- Видишь? Какой порядочный человек, - поворачивается Людмила лицом ко мне. - Не то, что ты, охламон, как завьюжишься, бывало, так до утра. А Коля Мозжухин еще вчера сидел тут, за этим столом, а сегодня уж звонит, общает.

- Так я же еще и поэт, - хорохорюсь я. - А поэты такие!

- К чему ты это? - сдвигает брови Людмила.

- А к тому, - говорю я, - что стихи пишу я, сборники издаю я, а ты с моего русского поля урожай собираешь. Коля тебе звонит, а ведь «Духов день» я ему подарил по твоему настоянию. Да еще и читал стихи про него самого.

Людмила кладет руку мне на плечо:

- Ну, прочитай, прочитай еще, теперь мне одной, Леонард.

- Людвиг?

- Нет, Леонард.

- Ну, хорошо. Слушай сюда, а не смотри куда-то туда, на огурцы.

### «Стихи про полковника Можжуху».

Девчата нам красили домик,  
На лестнице стоя, в простенок,  
Смеялась Татьяна, как будто ей гномик  
Касался открытых коленок.  
Сказал я, как в танке ей, глухо:  
«Калитка откроется вот,  
И друг мой – полковник Можжуха,  
Печатая шаг, подойдет.

И честь отдавая: «Как жизнь молодая?» -  
Вот так козырнет мне – артист.  
«Здрам желам, товарищ капитан!» -

Мне скажет.

А сам ведь полковник, юрист»...

Вошел он и отдал мне честь – товарищ седой.

Татьяна едва не свалилась от смеха.

А дело-то в чем? Что тогда, молодой,

Я был капитаном в футболе, тем эхом,

Где был наш полковник тогда рядовой.

Стихи эти изменили картину. И день минувший предстал вдруг весь в своих редких деталях, нюансах. Особенно с того момента, когда в калитку вошел этот Кузьмич, как тогда один из трех Кузьмичей (такое совпадение), моих ещё школьных друзей, которые были тут, в саду, за этим столом, в прошлый раз.

#### **Александр Кузьмич**

Уехал к дочери, внучке в Кострому, приезжал на днях и тоже был тут, уже за новым длинным столом.

#### **Виталий Кузьмич**

Ушел года два тому навсегда, даже не попрощавшись.

И вот он, этот полковник Можжуха.

#### **Николай Кузьмич Можжухин**

В тот раз он появился большой, сдержанный, сам не пил, зато для нас всех с крупнокалиберной юбилейной бутылкой, которая так и называлась «Кузьмич». На сей раз Николай возник в калитке тоже большой, широкий, с улыбкой и сувенирными часами – для меня, с огромной коробкой конфет – для Людмилы. И зазвучали в нас реальные голоса и реминисценции, про здоровье и диабет.

И что главное, так вот что было у него на устах:

#### **«Европа Плюс 24»**

- «Что бы это значило?» - думаю я. – Но пока ничего не говорю ни жене Людмиле, ни сыну Игорю. А чтобы явственнее представить присутствие друга тут, за этим длинным

столом под яблоней, сам отправляюсь и их отсылаю пройти у нас тут по ягодным и яблочным местам, по усадьбе. И князь Игорь возвращается с обожаемой мамой малиной, а я – с любимой мной вишней. Тут живо мне и представился наш вчерашний диалог с Николаем Кузьмичем за этим столом.

- Что-то ты не такой, Колюня, как в прошлой раз, - говорю я ему прямо, без обиняков. – Я тебя не узнаю. Диабет, что ль, свой вылечил? Сахарок у тебя какой?

- Знаешь ведь, - отвечает друг моя Колюня, Николай Кузьмич. – Диабет – это вечность, никуда не девается. Но я принял решение: жить до ста! Это к моим годам плюс двадцать четыре.

- Сахарок-то какой у тебя, сахарок? – добиваюсь я от Колюни. – Главное – сахарок.

- Сахарок у меня стабильный, - отвечает Николай Кузьмич. – От четырнадцати до шестнадцати. А у тебя?

- У меня гораздо меньше, - говорю я. – И то для меня многовато. А давление мне и сто пятьдесят уже не хорошо.

- А чего б ты хотел, - смеется он, живой, веселый такой, катается перед глазами, как ртуть. - Без системы живешь. Ты же знаешь, я с диабетом уже восемнадцать лет... скоро будет в обед... Один врач ведет меня, женщина, разработала систему... Одно направление – зависимость от настроения, другое – зависимость от диеты...

- Что - так легко тебе теперь, разложено все по полочкам? – допытываюсь я от Николая уже из чисто профессионального интереса. – Так легко, - повторяю, - тебе все это дается?

- Легше не бывает, га-га-га, - смеется Можжуха, дерет вовсю свою полковничью глотку. – Во-первых, я всем предписаниям врача неукоснительно слеую. Это как нож к горлу! Долотом по голове! Делай, и все. Дисциплина военная. Таблетки, зелень свежая – зимой и летом... Да вот еще что! Книжки почитываю, твою прозу «Липу вековую» преодолел – сто четыре страницы, и все про любовь.

- Ну, и кто это написал – «104 страницы?»

- Эдвард Гадзинский. А фильм поставили – так «Еще раз про любовь».

- Слушай сюда, Кузьмич, - удивлен я крайне, до неузнаваемости. – Ты же был серый полковник, а теперь прямо-таки полиглот.

- Хочешь жить, умей вертеться, – петушится Кузьмич.

- Может, ты знаешь, и кто главную роль в том фильме сыграл?

- Знаю, Татьяна Доронина. Сначала была замужем за Басилашвили, а после фильма развелась и выскочила за этого чижика-рыжика Эдварда... «Сто лет одиночества?»

- Маркес.

- Нет слов! – я озадачен. – Да ты что – в академию, что ли, готовишься?

- Академии свои я уж прошел, - смеется теперь уже откровенно Колюня. - Главное ныне у меня: плюс двадцать четыре... Видишь, какая у тебя дача – вся в цветах! Красота, порядок какой! Дворянская усадьба... А все это труд. Для диабетчика труд – дело первейшее...

- А у тебя как с дачей? – отвлекаю я его, увожу в сторону.

- Вишь, какой загорелый я? – демонстрирует Николай всего себя, свою кожу, мускулатуру. – А ведь диабетчику загорать противопоказано. И никакого лишнего весу. Вот, все подтянуто, как в американской армии. Дача у меня в двух местах. Дом под горой – восемь соток. Тут у меня одних гдалиолусов тридцать пять сортов. Первым делом все забором обнес, чтобы не воровали. Принцип такой у меня: не слышу «дай». Приметил: только дашь сорт кому-нибудь, так тут же он у тебя пропадет...

- Ты прямо, как Пушкин, - не выдерживаю я. – Царь спрашивает Пушкина: «А был бы ты, парень, на Сенатской площади с декабристами?»

- «А как же? – говорит Пушкин. - Был бы, я уже выехал», - «А чего не приехал?» - «Да вернулся. Кошка черная дорогу перебежала». – Засмеялся царь: «Да ну вас, поэтов»... Но, Николай, Кузьмич, ты же полковник?

- Полковник, - говорит Колюня, Кузьмич. – И царь, заметь, был тоже полковник. Да еще и Николай. Полный

«пердимонюкль». С Петра Первого все цари у нас были только полковниками.

- Ты не царь, - смеюсь я. – Ты Робинзон Крузо. - Тот тоже жил в одном месте, дом под горой, а дача была в другом, в джунглях... Ну, а виноград у вас там растет?

- На Белгородчине-то? У меня на даче пятнадцать сортов только одной «изабеллы».

- И куда же ты деваешь все это?

- Раздаю. Мне же нельзя... Слушай, мне пора уходить. Режим есть режим. Дисциплина.

И друг мой Колюня, Николай Кузьмич Мозжухин ушел, растворился за той же калиткой, куда и вошел. Мы сидим какое-то время молча, в оцепенении. Наконец, Людмила, жена моя, говорит, как узел разрубая в себе:

- Леонард, тут что-то не так. Живет он в Белгороде, а сюда почти ежегодно с такими трудами ездит на кладбище, к отцу и матери. Тетка его с мужем – боцманом живут в его отчем доме, они уж на ладан дышат, а Николай и не рассчитывает сюда возвращаться... Полина – жена у него уже третья...

- Какой почерк у Кузьмича – каллиграфический! – восхищаюсь я. – Природный талант. Он его вывел в полковники, он его и в писатели приглашает... Не удивлюсь... Маркеса знает...

В Харьков все ездит, сыну помогает материально. Первая жена его, тоже Людмила – видная такая, хороший врач, так второй раз и не вышла замуж... А если это любовь? Как у Элизабет Тейлор с Батлером, по второму разу женились...

- Ничего себе! Прямо-таки героем стал тебе этот Кузьмич, – говорю я тоже раздумчиво. – Герой нашего времени... Впечатляет! Рассказа мало, на роман тянет... И операцию на желчном пузыре ему делали, а ведь диабетчик, нельзя. И на инсулине сидел, а соскочил с иглы... Виноград раздает людям, зачем же тогда его он выращивает?

- Это он врачей угощает, - догадывается Людмила – жена моя, сидит, прислонясь щекой к моему плечу – лавочка-то короткая. - Да, Леонард! Оно и ты, если подумать, тоже разве не Ахиллес? Диабет заработать на творчестве, написать на стрессе четыре романа в стихах. Сколько книг у тебя – в

прозе, поэзии, драматургии, и все раздаешь - по людям, по библиотекам... Да еще насаждают всякие «грамофоны»...

- Зато ты у меня есть, сын у нас, этот сад, мои райские кущи, - смотрю я на небо, острый месяц висит, проворачивается над головой. – Боги нам помогают.

Потянул от Понырей ветерок, резче обозначились запахи яблоч и флоксов. Человеческий облик приняли где-то вверху кучевые облака. Свыше откуда-то глядел на нас призрак первой звезды. Это Венера, это она на небе, красавица, вызывала мерцательную аритмию, рассеивая туманы от земли в наших сердцах, превращая их в перистые облака.

*21 июля 2011 г.*

*г. Малоархангельск*

## ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ

Она приехала сюда, в провинцию, из Москвы и сразу заполнила собой пространство. Для них самих, уж порядочных лет, Дарья была совсем еще молодой. Однако ее двадцати лет было вполне достаточно, чтобы даже тут, в областном центре, московской гостье глядеть на все сущее, как с колокольни Ивана Великого.

«Все дело даже не в том, – принимая родственницу мужа, вспоминала свое минувшее Людмила Сергеевна, что мы существуем в разных поколениях. Главное - смотрим на жизнь с разных точек, мы просто разные люди»...

Из вещей у Дашуты была всего-то сумка через плечо. Со всякими там маечками, кофточками и коротенькими юбочками, предназначенным для несносной жары этого лета. Из сумки выпирало японское фотоустройство «Сони». Куплено оно было для нее за семнадцать тысяч отцом, который существовал где-то отдельно, больше мистически, в воображении. Дашута жила на даче с бабушкой, тоже отдельно, даже от матери, которая жила тоже отдельно со вторым мужем. И это бабушка Лена направляла свою дорогую долговязую внучечку к подруге Людмиле как бы на практику, в жизнь: «А то живем в столице и, ей-богу, ничего о России не знаем».

Дашута была студенткой Академии правоведения, учрежденной Все-российским Арбитражным Судом и еще каким-то важным, но не известным ей департаментом. И готовили ее, конечно, в юристы, но сама она предпочитала журналистику. Первое время Дарья была даже главным редактором своего молодежного журнальчика. Куратором был у них преподаватель, профессиональный корреспондент, а все остальное творчество было студенческое.

В такую невероятную жару размолвку со своим парнем Дашута собиралась пересидеть хотя бы в областном центре. Дача с бабушкой, даже там, под Москвой, не устраивала ее, а тут тем более. Однако, встретив вечером ее на орловском вокзале, Людмила Сергеевна объявила, что утром они отправляются на электричке в Малоархангельск. Это такой маленький городок, «с табакерку», где-то на полдороге в Курск, где-то там их, ясное дело, заждались.

Людмила Сергеевна взяла билет Дашуте до предпоследней остановки, а за себя заплатила в самой электричке по ветеранскому удостоверению. Они стояли у двери, делая вид, что это последний пролет, что они выходят, не обращая внимания на ревизоров.

- Я бы дала вам эти пятнадцать рублей, - буркнула ей Дашута. - Чтоб не стоять тут, как у позорного столба.

- Если платить по полной программе, - пожалала плечами Людмила Сергеевна, - на жизнь не хватит никакой пенсии. Эти акционеры, - сказала она, поглядывая на ревизоров - билетеров, - набивают себе карманы.

Лена несколько раз звонила по мобильнику, просила Людмилу позаниматься с Дашутой французским. Внуечка и согласилась-то ехать сюда в провинцию, исключительно, чтобы улучшить свой французский со специалистом – Людмилой Сергеевной, преподавателем вуза. В прошлом Людмила приводила к ним однажды в Москве на ночлег Мони – француженку. Это произвело на Дашуту неизгладимое впечатление. С тех пор Дашута имеет кое-какие виды на Моник и на Францию, хотя ей все равно: что Париж, что и Лондон, лишь бы было что потом сообщить о своей поездке в журнальчик. Однако, что поделывать, прежде надо было съездить в провинцию.

Муж Людмилы Сергеевны Людвиг с сыном Игорем встретили их на остановке. Автобус с желдорвокзала высадил гостью с Людмилой Сергеевной почти у самого дома. Вскоре Дашута с родственниками оказалась у зеленой калитки. Вчера Людвиг встречал юриста. Тот назвал их ДСО (двор, сад, огород) – все это, утопающее в благоухающих флоксах, в дозревающих ягодах и в уже белеющих на ветках яблоках, - «дворянской усадьбой». Мужская часть семьи вложила в это немало сил и весьма гордилась содеянным. Мельком взглянув на цветы, Дашута проследовала в полураскрытую дверь, едва не зацепив ухом прибитой над дверью подковки. В большой квадратной комнате долговязая москвичка сбросила с себя сумку; расстегнув «молнию», тут же извлекла оттуда какую-то книжку: по баскетболу, французский самоучитель...

- Не надо, - поморщилась Людмила Сергеевна. – У нас все из литературы свое.

- Так, - оценил ситуацию Людвиг Михайлович и хотел было произнести подходящую фразу: «Москва – большая деревня, а у нас тут маленький, извините, Париж», но вместо этого, подмигнув сыну Игорю, выразил возникшую при виде Дашутиного фотоустройства другую, более подходящую фразу:

- Ну, что ж, поживите у нас тут с недельку. Походим тут у нас по Парижу.

- Лена просила позаниматься с Дашутой французским, - сообщила Людмила.

После завтрака, даже не пройдя в глубину усадьбы – специально к этому случаю сбитому столу под двумя бабушкиными яблонями, не оценив гордости их: огорода с первыми огурцами, кабачками, зелеными стрелами лука, капустой – Дашута тут же засела в большой комнате к дубовому дедушкиному столу, за которым, по семейной легенде, когда-то сидел сам Пушкин, Григорий Григорьевич, потомок поэта. Он приезжал сюда по приглашению главы семейства, на открытие памятника в городке своему великому предку.

- Ну, что? – как-то заученно кивнула Дашута своей гувернерше. - Начнем, пожалуй?

- Да-а, - переглянулись Людвиг ван Бетховен с князем Игорем и вышли вон поскорее, чтобы не надоедать.

Утром – сразу же после завтрака – и днем – после обеда – женская часть населения дома улучшала свой французский, а вечером Дашута уткнулась в телевизор. И так продолжалось четыре дня. На пятый – Людвиг Михайлович не сдержался:

- Жара какая! Свыше тридцати! А мы все сидим тут, жаримся, паримся. Идемте, граждане, на пруд.

- На какой? – тут же спросил князь Игорь. – На Верхнее Беленькое или на второе – нижнее?

- Второе Беленькое подальше, - заметила Людмила Сергеевна. – Зато там оборудовано, городской пляж.

Они пошли на Первое Беленькое. Мужская часть тут же полезла в освежающую воду, а женская, едва помочив ноги, осталась на берегу.

- Вон там, напротив, Костюрино – поселение, связанное с именем Тургенева, - старался увлечь Дашутку Людвиг Михайлович.

- А дорога в гору за Беленьким ведет на Мишково, - поддержал отца князь Игорь. – Там жила Вревская – прототип тургеньевской героини из романа «Накануне».

- А это что за люди? – наконец, подала голос Дашута, кивнув Людмиле Сергеевне на мужчин в плавках. Они бродили по березовой посадке, поблизости тут от берега.

- Это? – усмехнулся Людвиг Михайлович. – Эти люди только что из Парижа. Делегация. Зимой для них лед долбили, устраивали подледный лов рыбы. А летом они сами вот ищут грибы.

- Какие? – спросила Дашута Людмилу Сергеевну. - Трюфели?

- Наверное, шампиньоны, - пожала плечами Людмила Сергеевна. - Какие же еще?

- Се сертен, - на сей раз выразил свое согласие с женой Людвиг. – Но, скорее всего, подберезовики, по-местному – подобабки.

- Бьен сюр, - поддержал отца Игорь.

- Ну, домой, что ли? – обратила Дашута свой взор к гу-

вернерше. - Давайте, мадам, пройдемте еще раздел по-французски «Грибы».

- Ну нет, - теперь уже твердо сказал Людвиг Михайлович – Домой-то как? Пойдем – мимо танка? Два года назад ставили тут монумент в память о минувшей войне, и мне как писателю дали слово.

«Танк» - САУ (современная артиллерийская установка) стоит и сейчас перед въездом в Малый город со стороны Орла, вернее, со стороны Сабуровского поля. Ожив при виде грозной боевой техники, Дашута извлекла из сумки свое СФУ (современное фотографическое устройство) и стала щелкать затвором, снимать «танк» со словами «За родину» на броне. Она приседала перед Вечным Огнем, наклонялась к нему, даже легла на плиту, чтобы лучше получился трепет пламени.

- А это кто? – спрашивала она теперь уже Людвигу Михайловича, указывая на людей, бродящих и тут вокруг елок, сосен – в парке XXI века.

- И это тоже грибки, - улыбнулся Людвиг ван Бетховен. – Собирают маслята.

- Французы? – переспросила Даша.

- А кто же? – твердым голосом сказал Людвиг Михайлович – муж Людмилы Сергеевны. - Потомки тех, что когда-то тут остановили танки врага. Представь себе, Дарья! тут, перед нашим маленьким городком, лежат в полях великие тысячи – больше населения нынешнего Орла. Дети всех народов страны... Но больше других, если взять на душу населения, то жителей этого городка, окрестных деревень... Я сказал тогда это: в сорок третьем шли в бой, погибая тут, с песней... Позади за спиной, были свои дома, жены, дети. Русский мужик поднялся, замахнулся дубиной. Стены родные, срединная Русь...

Возвращались они домой через Центральную площадь, постояли у Фонтана.

- Вот такие у нас тут прогулки, - улыбнулся Дашуте Людвиг Михайлович.

- Милый городок, - окунула руку в воду фонтана Дашута и заторопила Людмилу Сергеевну, чтобы закончить сегодня

учебник.

На другое утро они были уже на станции. Сели в электричку на Орел. У Людвиг был проездной, Людмила ехала по своему ветеранскому удостоверению, а Дашуте они взяли билет до последней остановки – до самого Орла.

- Ну, и как вы там? – уже звонила Лена со своей подмосковной дачи. – Люся, как там наша москвичка?

- Все о'кей, - приставляла к уху мобильник Людмила, глядя на Дашуту, дремлющую у окна под мерные перестуки колес. – Все в ритме у нас, дорогая. Все в порядке.

\* \* \*

Наутро, перед тем, как отправиться в город, Дашута сказала Людмиле Сергеевне с некоторым сожалением:

- А все-таки кончик у нас остался, - имея ввиду незавершенный учебник. – Ладно, идем смотреть ваш Орел – третью литературную столицу.

- Провинция. Тут они только рождались, - хмуровато заметил Людвиг Михайлович, - там где-то становились писателями.

- И где же? – иронична была Дашута.

- В Париже, например, жил Тургенев, в Грассе – Бунин... Видишь, этот магазин – твой тезка: «Дашенька». А этот тезка ее – «Людмила», И тут же поблизости салон «Парижанка».

- У тебя есть такие стихи, Леонард, - приостанавливается Людмила. – Почитай Даше, пусть послушает.

- Почему Леонард? – улыбаясь, смотрит Людвиг ван Бетховен на вывеску: «Керамические изделия». Красота отделки кухонь, квартир. И переводит свои выразительные глаза на Дашуту. - Котлеты отдельно, мухи отдельно. В строке за строкою, слова и музыка слов.

### «Парижанка»

В троллейбус вошла Незнакомая Женщина.

Была она дряхлой, больной.

И сразу возникла какая-то трещина

Меж нею с Луной, меж нею со мной.  
 И публикой всей остальной.  
 Косились на ворот ей, подозревая  
 Бомжовый педикулез.  
 Платочек она теребила, свивая,  
 Слегка понимая, судьбу принимая  
 И вся зажимаясь от слез.  
 Сидела в портрете, дыханье тая.  
 Слегка наклонясь, ожила.  
 «Отговорила роща золотая...»  
 «И журавли печально пролетая...» -  
 Она монотонно прочла.  
 Ответил я ей. И Бог мой, и Бог мой!  
 Она повела чуть плечом.  
 Мне перлы метала, сидела читала – о чем?  
 К нему между строк присел бледный рок,  
 Сходила землистость со щек.  
 Она улыбалась мне обозначено,  
 Изящно и нервна слегка.  
 «И вечерами в час назначенный...»  
 Девичий стан шелками охваченный...»  
 Платок теребила рука».

Однако Дашута не повела и плечом ни на его стихи, ни на строки Блока. Они перешли на другую сторону улицы, где было одно из лучших зданий города.

- Областной Арбитражный Суд, - заметил Людвиг.

Дашута и тут не стала применять свое фотографическое устройство. Окинув взглядом весь этот бренд – от зеленого газона до плещущегося на ветру триколера – сине-белого-красного государственного флага, Дашута стала прислушиваться к изменяющемуся ритму стиха.

Троллейбус шел. Сидела прямо  
 Она в портрете – у дверей.  
 Так – из дверей ее, тех самых,  
 Из серебра – Прекрасной Дамой  
 Блеснула в памяти моей

Да и ушла в свои Парижи,  
В мою серебряную жуть.  
Троллейбус шел аллеей рыжей,  
Меланхолично пеня, брызжа  
И лужей схватывала суть.

Упавшим голосом Людвиг Михайлович заканчивал свою «Парижанку».

Да кто ж они – газели, ламы?  
Да кто же я – корнет, стратег?  
Стеная в возрасты и драмы,  
В троллейбусах прекрасны дамы,  
Прекрасных Дам не меркнет смех.  
Кто ты, Серебряная Женщина?  
Через порог за тыщи лет?  
Идет троллейбус. Скорбна трещина.  
Пересекает сталь, лорнет.  
И улыбается портрет,  
Сквозь пыль, сквозь бль, - скользя и нет.

- А это по старинке «горсад», - вел по Парку культуры московскую гостью Людвиг Михайлович. – За решеткой, через дорогу, бывшее здание генерал-губернатора, где бывал Лев Толстой. Там же рядом дом с колоннами. – «Парфенон» областной библиотеки имени Бунина. А тут танцевальный клуб навроде «Хромой лошади», девушек сюда на ночные часы впускают бесплатно...

Сделав паузу, Людвиг Михайлович заглядывает за купу высоких и мощных лип, говорит Дашуле спокойно, ни на что не надеясь:

- А это Чертого колесо, Колесо обозрения. С него видать половину города... На него поднималась Моник из Грасса, когда была тут у нас...

Мгновенно оживясь, Дашута вскидывает Свое Японское Фотоустрой-ство, так и этак вода объективом, начинает щелкать затвором.

- Здесь, взрослый парк. Видишь, пьют: «Пиво в елках»,

- Людвиг Михайлович, после «горсада», указывает на магазин в стороне. – А то салон «Парфюмерия из Парижа». А это вот памятник Тургеневу, как известно, он провел многие года в Париже...

Дашута водит длинным стволом объектива, щелкает затвором своего «Сони», поглядывая на Людмилу Сергеевну.

- Главное для статьи, - говорит Даша теперь уже Людвигу Михайловичу, - найти тему и заголовок, не с па – не так ли?

- А это уже детский парк, - в тон ей отвечает Людвиг Михайлович, как-то сразу помолодев. – По старинке это «Аквариум». Вон в том здании по вершине холма, находилась редакция – «Орловский комсомолец», и мы тогда, молодые журналисты, глядя вниз на трущобы, писали статьи о будущем прекрасном парке по берегу Орлика. И вот оно – воплощение мечты: детский парк! Как все красиво, все тут для детей: амфитеатр, где бывают концерты, зоопарк с редкими видами животных, белые лебеди на реке. Плавали когда-то черные лебеди... «и за что я люблю этого черного лебедя, так это за то, что у него красный нос»... Только пить тут запрещено, даже пиво, это же детский парк...

И тут, в самом конце, Людвиг Михайлович поставил победную точку:

- А это вот Стрелка! Место, где Орлик впадает в Оку. На Оке бьет фонтан, ходят белые-белые пароходики... Когда отмечали день Освобождения Орла, на Стрелке состоялся концерт. Жена поэта Алексея Фатьянова, уходившего на фронт из нашего города, услышала, как я пою фатьяновских «Соловьев». Она очень, очень просила меня спеть вместе с Валей Толкуновой. Я сгорел тогда от стыда... Страшно подумать! Рядом! Как же, такая красивая русская женщина...

Людвиг показывает Дашуте самые лучшие точки, и Дашута щелкает своим фотоустройством за 17 тыс. рублей. В конце концов, он подводит москвичку к каменной стене позади Стрелки.

- Видишь, Дашута? – выставляет он свой неоспаримый козырь. - На стене городов сразу же после Орла - Малый город Малоархангельск. Город с единственным на Орловщине гербом духовного содержания. Как и в гербе Москвы,

герой поражает дракона копьем. Только у Москвы герой на коне, а у Малоархангельска обеими ногами стоит на земле, на русской земле. В Русском поле.

Снимая Михаила - архангела, Дашута щелкнула своим фотоустройством дважды. Так, на всякий случай, мало ли что...

На другой день Людмила провожала московскую гостью и мужа. Электричка на Курск отправлялась в 12-15. Дашута уезжала в Москву пятнадцатью минутами позже. Ее автобус шел до Красногвардейской станции Московского метрополитена. Все это происходило на площади железнодорожного вокзала в Орле. Проводив мужа до башенных часов, под которым бдели трое полицейских с собакой, у самого входа в вокзал, Людмила бегом вернулась к Дашутиному автобусу. Тот стоял неподалеку, тоже на площади. Двухэтажный – он своими очертаниями напоминал лондонский омнибус. Внизу у столика, в нем уже сидели лица кавказской национальности и играли не в спортлото. Тут же со своей подмосковной дачи опять позвонила Лена:

- Ну, как там у вас, Люсенька?

- Все в порядке, - с искренним благолепием в голосе сообщила подруге Людмила, с беспокойством глядя на Дашуту в автобусе. – Едет с попутчиками, полная снимков и впечатлений.

Чуть позже, когда Людмила Сергеевна возвратилась к своим мужчинам в Малоархангельск, по НТВ сообщили об очередном московском теракте, а следом передали еще одно сообщение о том, что Президент страны решил перенести столицу на другое какое-то место.

- Я это предчувствовал, у меня интуиция, – сказал Людвиг Бетховен. - Дежа вю: это уже было... при Иване Грозном...

- Но Кремль-то останется? – взволновалась Людмила.

- И при Иване Кремль оставался Кремлем, - успокаивал Людмилу муж ее – человек с интуицией.

- Все равно столицей нашего Центрального Округа будет Москва, - выключила телевизор Людмила и пошла спать.

А Людвиг впал в бдение. «Право, почему это федеральная власть столицу России вздумала куда-то переносить? Есть

ли на то основания? И как столица будет теперь называться, Нью-Москва?» – это пришло в голову ему уж под утро, когда Дашута еще спала там, в Москве, в своей мягкой постельке.

*21 июля 2011 года,  
Малоархангельск – Орел – Москва*

**ЮБИЛЕИ**  
**(Реальное и фантастическое)**  
**Часть первая «Любящая Мария».**

Самый первый, можно сказать, предварительный юбилей должен был состояться в 90-м году. Но он сказал: «В годы на пятерку юбилей не бывают». И пресек все мои поползновения. И все-таки я отметил свой день в узком кругу, и ждал еще пять лет. Ну, уж это будет, никуда не денешься, круглая, законная дата.

\* \* \*

Первый мой юбилей было поручено провести Директору самоиздата – человеку на вид добродушному, залысинами соответствующему своей фамилии. Не Добронравову, нет, но тоже человек от культуры – бывшему прежде Директором художественного театра. Я знал: в художественных театрах и не такое бывало. Например, во МХАТе под различными псевдонимами ставили свои пьесы Министр МГБ Меркулов, начальник Четвертого управления ГРУ Судоплатов, успешно разыгрывая комбинации с иностранными разведками и одновременно выступая на драматическом поприще. Представляете, а? Какие-нибудь «Кремлевские куранты», какой-нибудь псевдоним, а это, оказывается, Судоплатов...

Так вот, я знал историю прежней, театральной жизни Директора нашего самоиздата и все же пошел на такой шаг. Как рыцарь, с открытым забралом. «Ну, - думаю, - издатель наверняка лично знаком с московскими театральными режиссерами типа Олега Табакова или Марка Захарова». «Любящая Мария» того стоила, чтобы издать ее к юбилею.

Дорого яичко к велику дню. Директор нашего самоиздата был тогда еще не настолько в законе, чтобы не сметь возразить, что так оно и будет. Издав две моих прежних книги прозы, то есть рассказов («Липа вековая» и «Чистые пруды»), он с неизменным успехом (как Издатель, конечно) ездил по заграницам, по популярным книжным ярмаркам (например, был в Париже, Гамбурге, даже в Пекине), где, презентуя и мои книги (до своих дело еще не доходило), привозил себе дипломы, положительные характеристики и конверты. А однажды из Питера привез даже Медного Всадника – бюст Александра Невского, такой увесистый, что им свободно можно убить человека.

Это производило на авторов неизгладимое впечатление. В результате я поднатужился и создал драматическую эпопею про Александра Македонского под названием «Пламень Александрии», «Все, - думаю, - одни они, Александры, на Олимпе. Что в далеком прошлом, что в современности»...

К тому времени я уже отказался от идеи единственно ставить на сцене свои драматические произведения. Некоторые авторы пишут драмы не только в стол, но еще и для чтения, расширения своего кругозора. Вот и я вставил в свою «Любящую Марию» (специально вынес такую драму в название книги, как сердце чуяло, чтобы драма та не была изъята из рукописи). Отдал рукопись Директору. «Ну, - думаю, - пльиви, мой челн, цензуры теперь нет, пусть себе эта эсерка Спиридонова Мария любит Ленина и не любит Орловский централ».

Итак, вручил я рукопись в руки прямо Директору и стал готовиться к дате.

\* \* \*

Значит так, сам по себе, как таковой: **Ю – би – лей.**

Как вы думаете, для чего проводятся юбилеи? Для того, чтобы подвести некоторые итоги? Слово сказать о человеке, дожившем до седин и творящем добро на таком шатком поприще, особенно если ты небездарен. Всякого мусора у нас в бытовой практике и так хватает. Клеймить так клеймить, жаловать так жаловать.

А тут клеймить, но по какому поводу, кого и за что? Драмы, кроме меня, у нас никто тут не пишет. Один Моисеев, помнится, штуки две настрогал. Одну, правда, сам поставил под своим главным режиссерством. «А мы в театрах, - думаю, - не работали. Мы, как Эдвард Гадзинский, пишем то в кино, то для домино».

Вывесил я в Доме литераторов объявление на двери: «Желающие! (Имеются в виду то ли уже писатели, то ли еще литераторы). Приходите, кто позлей, на мой славный Юбилей. Добряки из четвертого тома, посидите дома. Оргкомитет». (Тут я слукавил маленько: оргкомитетом лично себя обозвал).

К своему Дню рождения (он у меня 24 июня – это самый длинный день в году, день наивысшего летнего Солнцестояния) приготовил я, как положено, «артиллерию» (батарею бутылок). И выставил все это на стол, на самом танкоопасном направлении.

А стол у нас в Доме литераторов мощный, дубовый, без острых углов. Спасен мной от ликвидации, когда был я ответсекретарем. Думаю, хоть бы кто пришел, заняли хотя бы половину стола. А пришло столько, что пришлось тащить сюда еще и табуретки, специально имеющиеся тут для похорон наиболее маститых авторов.

Конечно, близкие мне сидели на моей стороне стола. Друзья, звездочеты, ученые. Люблю науку. Ну, и конечно, в звезды верю, как поэты в Испании, за что особо талантливых там зовут «звездочетами». Среди них и те, конечно, которые явились из «шпионажу». Следом, в августе – месяце, стукнет самому Председателю ровно, кругло, и ему негласно песенок у меня надо будет поднахвататься.

И вот сам процесс моего Юбилея. Сидят рыцари – авантюристы и ретрограды, а на скатерти яблоки и винограды, шипучие и могучие – за овальным столом. А мы с Директором нашего самоиздата стоим перед всеми навтыжку. И я, как всегда, в эпоху бури и натиска, держу круговую оборону.

Вот он и говорит, что в таких случаях полагается (заготовил еще с театральных времен, очевидно, с «капустников»).

Начинает с такой витиеватой фразы, что не сразу-то из нее выберешься. А фужеры сияют, глотка сохнет, в глазах искры вместо успокоенного в бутылках шампанского.

Что запомнилось, так это то, что сказал Гендиректор в самом конце:

- Большому кораблю – большое плавание.

Леопольд Михайлович у нас писатель масштабный. По-был ответственным секретарем, Дом литераторов из рухляди превратил в конфетку. А не было бы Дома, не было бы и самоиздата, а при нем газеты «Внешние воды». Если корабль спускают на воду, что в таких случаях делают?

Голоса с того края стола, где писатели:

- Бутылку о борт, и вперед... По лбу бутылкой... Полбой закусим...

Гендиректор, обращаясь ко мне:

- А что бы сказал сам юбиляр, интересно?

Встаю я и, подмигнув жене своей Людмиле в рабочем фартуке и сыну с открывалкой в руке, обращаюсь к доктору филологических наук, профессору Курляндской:

- Я бы лично переадресовал первый тост Вам, Галина Борисовна. За то, что вы сочли возможным прийти сюда, на это скромное торжество. Боялся, что не придете, ведь за вас тут когда-то не проголосовали, не приняли в Союз. А если бы приняли, наш Союз, вероятно, был бы иным... меньше было бы всевозможных противоправных действий и подводных течений... О совести уж и не говорю... Премии учреждают, а во что в будущем это может вылиться? Создастся «междусобойчик», и будут все из себя выходить друг для друга...

- Ну, и что ты предлагаешь? – кричат наиболее выдающиеся из авторской, звездной когорты стола.

- Как в Политехническом в 20-е годы: устраивать состязания поэтов. Гласность есть гласность. В одном из состязаний участвовали Владимир Маяковский и Игорь Северянин. И как вы думаете, кто победил?

Отдельные голоса:

Поэма «Ленин»... «Двое в комнате: я и Ленин с фотографии на стене».

Мой голос:

- Я – гений, Игорь Северянин. Вот кто стал «принцем поэтов».

Гендиректор самоиздата:

- Но тебе, Михалыч, это не грозит. Ты же драматург у нас, не поэт.

- Не были бы вы, Гениздатель, бывшим Директором театра, - отпарировал я, возможно, и я бы не стал драматургом.

- О! Драма, трагедия! – поднял большой палец Гендиректор. – О санта симплицитас – святая простота! О, этот Дом! Где разбиваются сердца...

Говорила Курляндская, говорили друзья мои – «красная профессура»: Узилевский, Калекин и др. От имени самых близких Слово сказал Илья Дмитриевич Быковский, выразив генеральную мысль о том, что я никогда не подводил своих «самых-самых» таких, как эти вот – друзья мои еще с молодости: известные скульпторы Валентин Чухаркин и Вячеслав Клыков...

- А вы, Людмила Серафимовна? – обратился к жене моей Генведуший, он же Директор.

- Я счастлива, - покраснела Людмила. – Что Боги нам с сыном послали такого человека.

В самом конце аплодисментов Издатель вручил мне новую книгу: «Любящая Мария». Прочел я название и сунул в пакет: приду домой, прочитаю.

Приходим домой с Юбилея все вместе, первым делом берем за книгу. И что мы видим? Половины состава книги нет, как и не было, перерублена пополам! Это же надо?! Факт, зафиксированный историей. Как это, скажете, понимать? Всем нам; современникам, а также потомкам? А как хотите. История, как жираф в олеандрах. Жираф большой, ему видней.

### **Часть вторая. «Анна на шее»**

Учел я горький опыт Первого Юбилея и думаю: «Ко Второму, главному Юбилею, когда мне стукнет на пять лет больше, надо такого не допустить». Заранее к Директору

самоиздата подступил как с ножом к горлу: «Издавай то, что выкинул из первой моей драматической книги! Давай из- давай!»...

В состав новой книги как продолжения первой включил я и новое, и из того, что было уже. Сдал рукопись под названием, взятым из прежде выброшенного: «Пламень Александрии». И стал хорошенько продумывать сам ход Юбилея, естественно, место его проведения, состав участников.

Повторение – явный признак бездарности. «Мы пойдем другим путем», - сказал Ильич. И мы с этим согласны.

\* \* \*

Значит так, Второй Ю – би – лей.

Местом проведения Юбилея была намечена областная библиотека имени Бунина, Бунинский зал, с портретом самого Бунина. Дело в том, что мы с Буниным – единственные из писателей, кто родился в Воронеже, а считается писателем-орловцем. К тому же я еще и член французского общества «Друзья Бунина» в Грассе, где Нобелевский лауреат провел двадцать лет в эмиграции.

Теперь о составе участников. Ясное дело, что из моих друзей приглашаются все. Одна Галина Борисовна не сможет прийти по состоянию здоровья (ей уже 98). Но ее заменит Костин Валентин Иванович – тоже доктор филологических наук, тоже профессор. Этот профессор петь любит, с концертами выступает частенько, а перед тем обычно просит меня помолчать. И вот, прежде чем с агитбригадой отправиться в алтайские Стростки, на родину Шукшина, звонит он мне и просит подновить слова к «Моей деревеньке», которую собирается взять туда с собой, спеть под баян на известную мелодию.

И я думаю: «А чего не подновить-то? Я был там когда-то, виделся с матерью Шукшина – Марией Сергеевной. Совместно с Бийским пединститутом участвовал в создании музея Василия Макарыча в Сростках. А после написал про это повесть – причетъ «Не рыдай меня, мати». Так она уже там, в музее, а это в «Любящей Марии» ее обновленное переиздание. Так чего бы через оказию книжку музею не передать?»

\* \* \*

Непосредственно Ю – би – лей.

Пришли люди, заполнили зал. Наш стол стоит под портретом Бунина. тут же выставка моих книг, подаренных библиотеке. Пока я готовился к Юбилею, их стало уже около сорока. Одних пьес уже 93, а издано 86. Кстати у Бергмана – 50, у Бернарда Шоу – 51, а у нашего Александра Островского – 40... Всего у меня три эпопеи: в прозе, поэзии, драматургии... Аж в глазах рябит, вот такая цифирь...

Торжество открывает Директор нашего самоиздата, ему и карты в руки, И вот он встает и начинает с паузами, вальяжно этак, как бы жвачку жует, поглядывая куда-то в окно. Вроде за эти пять лет он важным стал - Гендиректором, а я вроде ничего не делал.

- Мы все знаем Леопольда Михайловича как скромного человека... скромная жизнь, никаких особенных происшествий... Но написал - вот видите книги на стенде? И как ему это удастся? Только ему одному и известно...

- И вам тоже известно не менее, - говорю я, в мгновение ока оценив ситуацию, ее свежую идеологическую платформу. - Очень хорошо, конечно, известно, - говорю я весело и игриво, входя в раж, вроде я из группы его поддержки. - Мы такие с Буниным, - оборачиваюсь я к портрету. - Родились в Воронеже, а творим в Орле. Климат для писателей тут подходящий, столько классиков, третья литературная столица...

- Как это, как это? – раздаются голоса в наэлектризованной атмосфере. – Для настоящего писателя это как?

- Для автора, - хорошо, - отвечаю я игриво. – А для настоящего – нет, пожалуй... Темновато в городе без электрического освещения. Все музеи, музеи... Сами все на пьедестале, а других не пускают...

И тут первой, как положено, дается Слово начальнику департамента образования и культуры Людмиле Александровне. Она и говорит:

- Как это так? Вы у нас живой классик. Я вас с детства читала, на ваших книжках росла... Как и многие сидящие в зале...

«Ничего себе, - думаю я. – Пора науке давать микрофон в руки».

И, словно угадав мою мысль, Ведущий, он же Гендиректор, приглашает к столу профессора Костина и тот, глядя за окно куда-то, как будто в Сростки, рассказывает сначала о «Моей деревеньке», а потом взял и запела, я стал подпевать «Шумел камыш, деревья гнулись».

Вслед за самим директором Бунинской библиотеки Валерием Васильевичем Бубновым, как иллюстрация к его выступлению, выдвигается библиотекаряша из Тургеневской библиотеки и начинает вести прежнюю – книжную линию:

- Нет, вы только поглядите какая проза у юбиляра... Какая ритмика, какое упругое русское слово – не читается, просто поется ... И действительно современная, люди живые... Вот хотя бы кусочек из «Не рыдай меня мати»: «Сын мой, сын, - шевелятся ее ссохшиеся губы. – Я пришла и тебе, слышишь?»..

И тут, как сговорились, что ли, входит с баяном, припоздав маленько, Виктор Садовский: музыкант, журналист и поэт. Растянув мехи, запекает мою, сочиненную не так давно в его присутствии, песню «Горлинка» - о Малоархангельске...

Закипел народ. И пошло, покатило. Ведущий едва успевает объявлять, а то выступают и сами – с места, а'капельно, без всякого музыкального сопровождения.

Сижу, внемлю, а сам отчего-то на профессоре Костине зациклился, на наших с ним музыкально-лирических взаимоотношениях. Вспоминаю все.

«Да-да, - звонит он мне по телефону и просит меня обновить текст «Моей деревеньки» - песни моей. – Еду в Сростки с концертом, хочу там спеть ее землякам Шукшина. А вы, говорят, там уж были»...

Пронесся я мыслью в те годы, побыл там и вернулся. Пятнадцать-двадцать минут, и новая «Моя деревенька» готова. Звоню Костину:

- Вот, записывайте.

Записал он. А через час опять звонит:

- Потерял я стихи ваши... прошу вас, напишите еще...

Что делать? Еще написал, но другой вариант.  
«Деревенька моя срединная  
И алтайские Сростки, гора над Катунью - Пикет.  
Как могла ты добраться туда,  
Путь – дорожка, дороженька длинная?  
Дай, подружка, ты мне  
Задушевный ответ...»

Может, не лучше того, но все же развитие темы. И тут меня осенило, придало мыслям о Юбилее свежий нюанс, музыкальному движению, так сказать, форте и пиано.

«А не позвать ли, - думаю, - из Москвы сюда Аню с Сережей? Сережа – это племянник жены моей, муж Ани и ее менеджер. Были когда-то они в фаворе Александра Малинина. А теперь выступают отдельно, в концертах и по телевидению», например, в телепередаче «поле чудес».

Поделился я своим планом с женой, а она мне и говорит:  
- Конечно, какой разговор! Заодно заедут в тульскую Узловую за Анной Серафимовной, сестрицей моей, Сережиной матерью. И Лидию Серафимовну, другую сестру мою, привезут. Она это любит – выступать на презентациях...

И закрутилось, завертелось все сразу в двух направлениях: одно явное – от СП, как и в тот раз – от Директора самозидата, а другое, неявное – от меня лично.

Итак, мы начинаем:

«Играть, когда точно в бреду я.

Ни слов я, ни поступков своих не понимаю»...

А дальше по ходу Юбилея не Гендиректор, а я уже объявляю. Знаю тут каждого наперечет – свои люди, мои талантливые, гениальные читатели.

«Это еще Аня не выступала, - загораюсь я внутренне от переполнения чувствами. – Что-то будет, когда выйдет Аня, Анята – наша артистка московская».

Людмила Александровна сидит в первом ряду и все громче мне:

- Да вы сами-то спойте, сами... То, что пели в конце мая на Фетовском празднике, в Клейменово... Сначала «Ave Maria» - Фета, Шуберта. А потом Фета на известную музыку «На заре ты ее не буди...» А потом Фета под свою ме-

лодию.. бесподобно... даже не верится... «Свеж и душист твой роскошный венок»... «Я тебе ничего не скажу»...

- А я вам пока ничего не спою, - улыбаюсь я, лукаво поглядывая на зал. – Вон Аня у нас стоит доминантой, дожидается своего часу...

И тут Анна Сизова понимает это как приглашение к микрофону, но ее опережает Лидия Серафимовна, тоже сестра моей жены, тоже родная тетя Сережи – мужа Ани. В общем, хоть всех в семейный альбом. Лида тоже поднаторела там у себя в этой стихии.

- Видите? – говорит она, показывая на стенд с моими книгами. - Вот издание какое солидное – «Прометей». У нас клуб читательский наподобие, с таким же названием. Помните, вы как автор выступали у нас во Дворце при переполненном зале? И что вам сказала бывалый человек, поклонница вашего таланта - учительница литературы? Она сравнила вас с Владимиром Чивилихиным. Жил когда-то такой писатель у нас в Узловой, он первым открыл в своем широко прозвучавшем тогда романе-эссе «Память» роль Ариев, тему Куликова поля, встал на защиту Байкала. Это потом уже был Распутин...

А вы открыли свою тему, вы придаете такое высокое значение прекрасному, полноценному, поющемуся Русскому Слову – нашей Родной Речи. За это вам низкий поклон...

Я был ошарашен. Даже от родственников такое не часто услышишь. Из иного человека и слова не вытянешь, если в тебе что-то не то, что-то не так, если в тебе ему что-то не нравится...

И тут, наконец, вылетает к столу – к нам сюда, к микрофону, ласточка эта – Аня молодая, Аня – наша артистка московская. Берет меня под руку и, заглядывая в глаза, ажник жутко, запекает величальную, которую певали крестьяне, бывало, Тургеневу:

«Ой ты, роза, ты, роза моя,  
Ой ты, роза белорозовая!  
Ой да кто ж у нас золотой голосок?  
Ой да кто ж у нас золотой разумок?..  
Ой ты, роза, ты, роза моя...»

И притоптывает одной, и притоптывает другой. А Садовский с баяном уж вьется черным вороном по - над ней, голубушкой, разводя во всю ширь баяновы цветные мехи.

- Ливенку давай! Ливенку! – подают голос из зала.

«- По селу тропинкой кривенькой,  
Эх да, в летний вечер голубой  
Рекрута ходили с ливенкой  
Разухабистой толпой»,

- запеваю я эту песню на есенинские слова.

А у Ведущего тоже масляется глазки. И Аня в круг его, к себе ближе, кладет руку ему на плечо.

- А ну дай-ка сюда, дай-ка! – кричит он Садовскому.

И берет в руки баян. Да пальцами как пройдетя по кнопкам баяна туйского разливу, итальянского строю.

- Надо чаще играть, - виновато глядит он на Аню.

Садовский принимает баян обратно, как невесту в распхнутые руки свои. А я, наклонясь к Ведущему (тоже, оказывается баянист), говорю ему на ухо:

- Отец у тебя хороший, замечательный просто ... сибиряк... Сибирская часть в сорок третьем освобождала наш Малоархангельск... Аня тоже из-под Иркутска, сибирячка, вишь, какая?

- Нет, отец у меня из самого Бийска, - шепчет, слегка зардевшись, Ведущий. – Это мать у меня из-под Красноярска...

- А что ж ты книжку-то тогда так, а?.. На юбилее прямо, соображаешь?

- Соображаю, Михалыч, так вышло.

А Аня – Анюта, москвичка и сибирячка, переодевшись в военное, в защитного цвета платье, подходит ко мне:

- Ну что – споем?

И запекает, мистически угадав, мою любимую песню: из тех еще, военных времен:

- Вьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Запеваем-то мы на два голоса, а'капелла. А баян Садов-

ского где-то отдельно, но рядом бродит во широкой степи, в темной ночи, ходит-бродит за песней.

Пой, гармоника, вьюге на зло,  
Заплутавшее счастье зови.  
Мне в холодной землянке тепло  
От твоей негасимой любви.

Подпеваает кто-то близко, голос по голосу, поет уже зал.

Ты теперь далеко, далеко.  
Между нами снега и снега.  
До тебя мне дойти не легко,  
А до смерти четыре шага.

Баянист смотрит на Анну, на белую жемчужную нитку на ее шее. Одинокaя капля - капелька катится по щеке Ведущего. «Может ведь чувствовать, - думаю я. - Может расслабиться». Оказывается, не все потеряно для человека. Как всегда, все еще впереди.

*г. Орёл*

## ДОСТОЯНИЕ МИФА

Вчера, 22 июля 2011 года, в пятницу, по Первому каналу был показан финал телепередачи «Достояние республики». Это уникальная музыкальная программа, недаром она так и называется по первым буквам. Это «До Ре» самой, можно сказать, современной музыки: лучшие авторы, лучшие исполнители.

- Кто же станет победителем? Кого сочтут из тринадцати? – думали мы все втроем, прикинув к голубому экрану.

По нашему мнению, то была песня под №7 о коне, который идет и идет по степи с человеком. Исполнил песню хор Сретенского мужского монастыря. Как просто, выразительно, естественно. Думалось, второе – третье места свободно можно будет отдать «Трем счастливым дням» в исполнении Филиппа Киркорова. «Мелодии» Александры Пахмутовой и Добронравова.

Победила «Мелодия». И когда ее повторяли как золотую песню «ДоРе» этого года, вникнув в нежность музыки, особую типизацию, духовность слов, в их божественную нерасторжимость с исполнением, я подумал: «Ну, и пра-

вильно! Это лучшая песня! Обладает мифическим проникновением, попадает в самую душу».

И тут же, как по ногам, по лесенке «до – ре – ми – фа – соль», перенесся я мыслью в другую ипостась – в литературу, точнее, в научную литературу, еще точнее и ближе к нам сюда, к диссертации сына тоже с мифическим, даже с каким-то мистическим усилением. Я условно назвал ее вместе с его непростым жизненным кредо «ДОстоянием Мифа».

\* \* \*

Как у меня какое-нибудь событие в жизни, так Председатель где-нибудь на стороне: то в Якутии, то на Кавказе. На Втором Юбилее Ведущий прочел его поздравительную телеграмму из Пятигорска, а через день патрон был уж в Орле. Узнав о впечатлении от моего Юбилея, он сказал:

- Надвигаются еще три юбилея: Катанова, Дронникова и мой собственный. Теперь только так и будем делать.

19 декабря 2011 года, 50-летие писательской организации во Дворце пионеров, было обращено к Юбилею Председателя. Ему вручались премии, ему зачитывались телеграммы, в качестве музыкального дивертисмента часа на два с половиной залу было преподнесено громогласное исполнение оркестром народных инструментов Сухова-Кобылина, т.н. «кантаты» самого Председателя. До сведения присутствующих было доведено, что еще с юности Председатель тяготел к музыке. И если бы не «осенние листья» поэзии, падающие по занавесу тенью к ногам, а не поднимаемые на божественную высоту, на автора было бы рассчитывать даже как на композитора.

Вызвали на сцену и меня вручить какой-то кусочек от целого, все же был когда-то ответсекретарем, все же Дом литераторов в божественный вид привел, где теперь все обретаются. Ну вручили, ну принял... к сведению. А тут микрофон рядом.

«А что, - думаю, - может, в последний разок случай такой подвернулся. Возьми и скажи прямо в микрофон на весь зал».

- Поздравляю, - говорю, - с 50-летием не только организацию, но и ее Председателя с его 70-летием, а также с 17-летним сидением на этом месте, пора и честь знать...

А потом стал говорить о своем гениальном читателе – прорабе Петрушине из малоархангельского «Прогресса», почитателе, сидящем в зале, от которого, бывало, многое зависело. Если вручу, бывало, свой роман вечером, то вопроса нет: читать или не читать? Будем читать до утра. До рассвета читает, а потом спит и опаздывает на работу.

И вот кануло в лету отчетно-выборное собрание. Непростое, даже сложное для Председателя. Пошел он еще на один виток. Как, бывало, Брежнев, Леонид Ильич, сидит уже весь свой период стагнации. Месяца через полтора после всего того, гляжу, зовет он меня к себе в кабинет, сажает на бронзовый стул, а сам садится на деревянный.

- Ну что, Михалыч, - хлопочет он меня по плечу, - поговорим, что ли, с тобой по душам?

- По душам? – говорю. – Ну давай.

- Что бы ты хотел? – спрашивает он меня. – Какие у тебя проблемы?

- А-а, - махнул я рукой в пустоту, - все то комедия, то драма.

- Да ладно тебе, - говорит он, мурлыча, как кот воробью.

- Мы же с тобой как-никак спортсмены, знаем, что такое характер.

- Я-то тебе, - говорю я - в жизни два раза сделал добро. От Ивлевой освободил помещение, а то бы до сих пор, она брэнчала ключом, бегала бы по начальству... А еще спас тебя как ответсекретаря: было бы не 9 на 7, а наоборот.

- Стипендию бы снял.

- Я это предвидел.

- Ну ладно, говори. Чего б ты хотел?

- Да знаю я вас, - говорю я, подстраиваясь под его тон. – У тебя тоже сын. Как сын, так конкуренты... другого давай не пускать...

- У меня сын по инженерной части.

- Сам инженер, - говорю я ему прямо в глаза. – И сын у тебя по инженерной. У Лесныха тоже был по инженерной,

У Рыжова – по предпринимательской... А мой, как и я: с малых лет тоже там, где и я. По филологической. Все знают: Высшие Литературные Курсы закончил...

- Так что, в Союз, что ли, его принимать? Ну давай, готовь документы.

Все это было в реальности, так или почти так. А дальше все пошло, как у Гоголя.

Как у гитары без грифа,

Приведенной в состояние мифа.

Сам до сих пор не пойму, как это все получилось. Хотя по диссертации сына и ознакомлен со всякой мистикой и фантастикой русских и даже французских классиков. А вот мифов писателей-современников, так сказать, их плетение елецких кружев вокруг горла тех, кто не входит в их «могучую кучку», так и не предвосхитил.

\* \* \*

Секретарша Председателя доброжелательна, поощряет сдавать документы. Обстановка вроде бы подходящая. Однако, на всякий случай, дай, думаю, прозвоню. Председатель нормально, Директор самоиздата – он же Зампредседателя – тоже не против. Один «гастарбайтер», который, видимо, сам метил на высшее место, выразил недоумение:

- А зачем?

- Его дело, - говорю, - сон сам по себе, я сам по себе. В своих научных и творческих изысканиях сын передо мной не отчитывается.

- Сам-то каков? – заезжает тот издалека. – Погреб не в ту сторону.

- Спасибо скажешь.

- За что?

- Потом узнаешь.

Однако червячок в меня какой-то закрался. И секретарша разговаривает уже без прежнего энтузиазма. «Может, гоп-стоп в обратную сторону сделать? – думаю. - Вовремя, без всяких фокусов». И тут Председатель назначает дату. «Ну, - думаю, - значит, все подготовил»...

Прием у нас всегда идет первым номером: судьба челове-

ка. Нюх у меня, мистическое чувство. Вижу айсберг плавает на две трети в воде: молниеносные взгляды, кривые улыбки. Однако проходят, расслаживаются, подают руку мне как рыцарю печального образа. Говорят даже комплименты.

Все идет, как по маслу. Оглашают документы: все в порядке. Книг, публикаций, по науке, по литературной критике более чем достаточно.

Обращаются деликатно, все же доцент, кандидат филологических наук, скоро может быть доктором, лечить будет...

Вопрос к нему:

- Почему идете в Союз?

- Это моя профессия, - отвечает он, - Закончил ВЛК, по специальности литературная критика.

Вопрос ко мне:

- А что скажет отец?

- Я не отец тут, а коллега, товарищ, - говорю. - Конечно, с детства он рос в писательской, литературной среде. «А сегодня, - думаю, - уж четверг. До воскресенья, видно, нам еще далеко».

Атмосфера прямо на глазах меняется, чувствую, происходит что-то в душах усопших, обделенных судьбой. У иных в глазах страх, неуверенность перед дыханием жизни.

- Тучи над городом встали, - мурлычет «госарбайтер», всегда всем не доволен, ничем его не утетишь - Небо над Испанией чистое...

Председатель с Замом ушли в кабинет, как раз принимают по пятницам...

Объявили итоги: не прошел. Да что тут считать-то! Кто с кем и против кого? При моем-то опыте и интуиции? Фантастика, как всегда: говорят одно, а делают третье. Неявившиеся считаются супротив. Так один, только что принятый, не только не явился, но и прислал письмо, умудрился заранее сообщить результат. Хотя и в глаза не видал человека, книжки его не читал...

Что-то даже мистическое в этом, где-то высоко-высоко. Прямо тебе «облако в штанах». «Это, - думаю, - еще ничего. Вот тогда было... «воронок» ездил. А еще до того? Есенина

курировал Троцкий, Бухарин - Пастернака, Сталин – лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи... Из них только Пастернак да Сталин остались в живых...»

И даже не «облако» это в штанах, а достояние мифа. Думать надо: что бы все это значило? Уже потом в Малоархангельске, в цветущем нашем Гефсиманском саду, подошла к нам наша мама Людмила – горлинка и сказала, может, самое главное:

- Я люблю вас, мои дорогие орлы, еще больше. И вас и ваши фантазии, мифы. До-ре-ми-фа- соль... вашу поэзию жизни, ваши фантастические, даже мистические облака.

*Орёл - Малоархангельск - Орёл*

## **РУССКОЕ ПОЛЕ, НЕРУССА-РЕКА**

Сначала я счел, что Председатель все это сам устроил. Но вчера, 25 июля 2011 года – в День памяти Владимира Высоцкого, друг его сказал, что Высоцкого чтят миллионы. Сам же Высоцкий сказал про себя: «И что? А власти я не угоден».

«Председатель, - думаю, - еще при том режиме в одном городе не помещался, в начальстве его на военном заводе держали». – А потом думал я, думал и передумал: «Кабы власть была у него, а то власти у него уже нет. В силу возраста и набора болезней... Не справляется с ситуацией»... Так, у кого ж тогда она, власть-то? А у того, кто не то место метит». Вручил Председатель одному тут, как булаву, Бунинскую премию мира, а тот силу и заимел. А кто еще по прозе у претендента – слева? А кто по поэзии – справа? Триумвират, инициативная группа. Под давлением выбивают денежки себе, премии. И тут: я тебя, а там - ты меня, а также в других регионах в качества взаимобмена...

Еще Горький, глядя с откоса на Одесский морской порт, на копошащихся внизу людей и спящие корабли, выразил сокровенное: «Созданное человеком поработило его».

Вот и он: то себе-то им, то им-то себе, тогда они и ему позволяют. Бартер, взаимобмен. Сухово-Кобылину надо заслуженного, себе надо однокомнатную – для сына... И на это нужны силы... А здоровьишко уже утлое, года ведь,

свежесть мыслей потеряна, нюх притупился, перестал вырывать... А вы опровергните вслух, если что-то не так...

Вот с таким набором мыслей мы с наукой, с друзьями – читателями и отправились на презентацию «Духова дня» (книги лирики) в той же Бунинской библиотеке. И что увидели в холле слева, на доске объявлений: списки премий и мудрецов. Глаз выхватил: «Директор госуниверситета – премия «Внешние воды».

- Так, значит, - сказал бы Владимир Высоцкий. – А ведь от Гендиректор и этот – Директор нашего самоиздата под эгидой «Внешние воды» - учились ведь вместе, на одном факультете, даже в одной группе. И наш Директор носит тому Гендиректору всякие книги, в той числе и мои. А тот ответно в группе поддержки... И тут бартер, взаимообмен. И Гендиректор в фаворе у Председателя... Опять лиса изпод Бийска курицу утащила нашу орловскую...

Однако забудем порочный круг. Предадимся общению с малой родиной. Городок наш, домик наш, дача, огород, сад Гефсиманский, наши райские кущи...

А тут у меня свои планы и осуществления. Библиотеки с презентациями моих книг, Пушкинских праздников у памятника поэту мне уже мало. Мне система уже нужна, культурно-образовательный центр. И журнал при нем – Всероссийский, на всю страну – «Русское поле». В 2009 году был тут сам Президент Дмитрий Медведев и озвучил сельхозпрограмму России на пятнадцать лет в перспективе.

Еще той весной подобрал я себе тут местечко – «базовую» школу, где когда-то сам я учился в начальных классах. Вот за этими тремя окнами Нина Борисовна еще в первом классе, помню, прочитала перед всеми мое первое сочинение. Какие силы нужны, чтобы создать Всероссийский научно-публицистический, литературно-художественный, патристический журнал «Русское поле», а?.. Силы внутренние и силы внешние. Журнала у Пушкина «Современник» вышло, помнится, пять номеров...

Силы внешние тут, кажется, есть. На другое лето, после визита Президента, опять общество «Агрохим - Щелково» провело Всероссийское Совещание по зерновым на базе

сельхозугодий Дубовика, выступали академики опять-таки в городском кинотеатре «Колосс». Вот в развитие этих идей, в осознании культурной роли срединной России, лингвистической сущности коренной нашей общности и должен прозвучать, думаю, на всю Россию этот журнал...

Что такое слово «культура»? Это же изначально и есть культура: зерновые, свекла, кукуруза, люцерна – все, что нас кормит, на чем держимся, основа основ. В том числе и самое первое, что есть у нас, в нашем народе, - Слово.

### «Родная речь»

Ты хранись в нас, о русская речь!  
Острый меч и испытанный щит.  
Нам бы землю родную сберечь,  
А уж Русь-то себя сохранит.

Сохранит землю Русскую сын,  
Сохранит сына русская мать.  
Будем ей молчаливо внимать  
Под гортанные скрипы осин.

Под тележный заржавленный звук,  
Под кровавые просыпи рос.  
Был мой дедушка великоросс,  
Не согласен на малое внук.

Ты хранись в нас, о русская речь!  
Острый меч и испытанный щит.  
За нее уж пришлось в землю лечь,  
За нее еще будем стоять.

После Президента много тут было чего, да больше поросло. Прежнего Главу местной власти, которому эти мои стихи не понравились, выдвинули в область, в департамент опять-таки надо мной. А кому что-то мое приглянулось, когда куда-то кого-то упрятали с глаз долой. А тут, в Малом городе, на культуру посадили бывшего «деревенщика»,

сделали Первым Замом. Хотя ему-то стихи эти тогда тоже понравились. Такая-то катавасия.

Говорю Главе муниципального образования:

- Ну, и как с «базовой» школой? С местом для КОЦа (культурно-образовательного центра)... в общем для «Русского поля»?

- Школу-лицей будем делать. Капитально, с колоннами. Предусмотрим и «базовую» при ней, не беспокойтесь... Имейте дело с Первым Замом моим по культуре и образованию...

Имею дело. Жду. Идет капитальный ремонт. Хожу мимо и радуюсь. И вот уж июль-месяц. (Не за горами начало учебного года). Иду на базар «Дай, - думаю, - загляну в окно, в класс, где я был первоклассником». Заглянул – ничего не пойму. Зашел внутрь: городухи какие-то, умывальники мужские и женские, туалет. Говорят, комната тут будет для медсестры.

- А там? – спрашиваю я строителей. – В следующем классе?

- Столовая.

- А еще?

- Видимо, учебный класс, в основное здание не вмещается.

Все понял я: «Русскому полю» нет места. На улицу выхода нет, все внутри помещения – это школа, ныне особо охраняемый объект. «И что теперь делать?» Был у меня на презентации Мэр. Хорошо говорил, я к нему:

- Александр Сергеевич! Может, вы найдете для журнала местечко?

- Я-то найду, - говорит. – Да платить кому? Это муниципальные средства.

Позвонил я Первому Заму. Говорит, что и прежде: ждите. Я – к Главе, у него полномочия. Место хотя бы в городе, желательно в центре. Представляете? Городок «с табуретку», а, скажем, на втором этаже той же «Аптеки» огромными буквами будет: «Русское поле», и поменьше: «Всероссийский журнал»...

- Представляю, - сказал мне Глава муниципального об-

разования. – Да средств на это у нас пока нет. Ни на аренду, ни на содержание.

- Можно, - говорю, - попросить область... включить в план... Орлу, - сообщает пресса, – на 450-летие выделяется миллиард...

- Нам-то до этого что? – пожимает плечами Глава.

- Говорят, откаты из Орла пойдут на Москву, это так? - Никак не могу успокоиться. Рушится все: прямо путь «Из варяг в греки...»

- Не знаю, - встает Глава из-за стола, чтобы попрощаться.

После мне тут рассказали – в местной «лавочной комиссии», эти старушки, что сидят везде тут по «лавочкам», и все решительно знают, что и тут у себя, в Малом городе, и в Орле, и даже в Москве есть и будет происходить. Вот они мне и сообщают:

- На днях тут у нас был Директор Орловского Генуниверситета. Приезжал на предвыборное собрание от «Единой России», от ее народного фронта... Вошли в зал с Главой муниципального образования, членом Политсовета... и ... и...

Тут меня как прострелило: «Ничего себе, пируэты! Библиотека имени Бунина, «Внешние Воды», Директор самиздата – единый фронт... Бартер взаимовлияния... А мы говорим: «Президент, академики, Русское поле – Нерусса река». А Нерусса – это река такая, течет в Дмитровском районе, отделяя русский город Дмитровск от кромы тогда, от нерусского леса. И у нас оно так в Малом городе: Ока, начинаясь за станцией, впадает в Волгу, а та – в седой Каспий. Тихая Сосна – за святых колодцем Девятая пятница – впадает в Дон, а Тихий Дон – в Азов, Черное море... Ну, а Нерусса – река впадает в Десну, а та уже – в Днепр, а Днепр тоже в Черное море, но то уж совсем другая система»...

И сказал я тогда в сердцах самому себе: «Вечно эта Русь раздроблена! Но если ты носишь имя такое – Александр Сергеевич, то будь добр, достойно носи. И не менее достойно носи имя Юрия Алексеевича, памятник которому недавно поставили даже в Лондоне. Я в двух случаях сожалею, что не так повел себя: что из Ростова-на-Дону не попал в

Вешки к Шолохову. А еще не попал в Гжатск, к Гагарину, когда была жива еще его мать и сын приезжал туда к ней, а Нина Родина, жена друга моего Алексея, была их соседкой и ходила к Гагариным запросто, как к себе домой...

«Ладно, - думаю, - буду проводить презентацию этой книги прозы «Ночь светла» уж не в Малом городе, а где-нибудь в Тагино, в соседнем районе. Тагино значительнее, чем даже райцентр. Во-первых, это пушкинские место, сюда приезжал поэт и передал через Чернышову-Маравьеву послание декабристам:

«Во глубине сибирских руд»...

Во-вторых, тут в июле сорок третьего взяли в плен немецкого фельдфебеля, сообщившего о часе немецкого наступления именно тут, в этом месте, на Орловско-Курской дуге.

В-третьих, в тех же местах захватили когда-то, в 20-е года, неуловимых бандитов Жердова и Корицина. сейчас по ТВЦ повторяется телесериал «Место встречи изменить нельзя», где Владимир Высокий выступил в роли капитана Жеглова.

В-четвертых, где-то поблизости тут был блиндаж Рокоссовского.

В-пятых, во втором Тагинго, рядом со средней школе, на территории бывшего сельхозпредприятия имени Чапаева, до сих пор, в тени елок, стоит памятник Василию Ивановичу работы друга моего – московского скульптора Валентина Чухаркина. Помню, везли мы туда эту работу, ехали троим, вместе с Сережей Пискуновым – в будущем ректором Орловского пединститута. И Сережа, обернувшись, сказал тогда мне:

- Медленно идешь, не спеша. Но верной дорогой идешь, товарищ...

И в-шестых, и в седых есть. Где-то недалеко тут родина Николая Семеновича Лескова... И во мне всегда, все в седых хлебах всюду поле. Русское поле. Нерусса – река где-то там. Она разделяет берега. И мне уже не свернуть с моей дороги - «тагинки»; она идет тут по хребту, по которому двигались тут когда-то степью конные лавы, танковые армады. Мы тут многое повидали, да и видим сейчас.

С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре.

И дети в соседнем дворе тоже видят. И спросят когда-ли-бо, кто где сидел и что делал? Чтобы Неруссв не разделяла, а соединяла наши орловские, русские, наши российские, славянские берега.

26 июля 2011 г.,  
г. Малоархангельск.

## ДВА ДУПЛЕТА, ЖЕЛТОГО В СЕРЕДИНУ

И вот московский скульптор – мой друг Валентин Чухаркин, когда зашел я к нему в мастерскую на Пятницкой, рассказал мне такую историю. Вырезан эпизод про подвал из кинофильма «Трактир на Пятницкой»,

- Это в фильме про Пашу Америку?

- Да. Но другой, выброшенный вариант...

А Валентину рассказали ребята, что, бывало, носили апельсины ему сюда, в мастерскую, из ближайшего магазина, что тоже на Пятницкой. Заметим, апельсины и в Москве были тогда дефицитом. Их особо любила провинция, приезжавшая сюда за колбасой.

- Ну, так что – рассказать?

И тут заявляется сюда к нам, на Пятницкую, со своей Мясницкой, что где-то у проспекта Мира, друг наш общий - Слава Клыков, тоже скульптор. И с ним друг его - поэт, двоюродный брат Кима Цоя - известного артиста, погибшего в Питере прямо на сцене. Сергей Цой – партнер Славы Клыкова по бильярду, а я - партнер Валентина.

Понаставили мы вдоль стенки в подвальчике сухого вина бутылок пятнадцать и начинаем матч двое на двое: Пятницкая против Мясницкой...

Начинаем первую партию. У скульпторов рука твердая, глаз наметанный, особенно у Чухаркина. У него идут дальние «чужие» шары – через весь, как говорится, «гектар», в лузу наискосок, а у Клыкова – ближние «своики». Ну, а мы с Цоем им подыгрываем. У меня тоже рука набита, но

главное для меня: не сделать подставку, не то Славик после меня «свояков» сколько хошь накатает.

- Хитрый ты, лис, - после меня берет кий Клыков Славик.  
- Подставки от тебя не дождешься.

За ним идет черед Вальки Чухаркина. Он любит врезать либо «длинного» - через весь «гектар», в дальнюю лузу, либо самый сложный удар выберет: пустит шар от своего борта в тот борт и обратно на себя, в свою среднюю лузу. Приговаривает при этом:

- Два дуплета, желтого в середину.

Это его коронный удар. Если такой ударчик хоть раз получится, будешь всю партию потом вдохновляться, а может, и пятую, десятую, двадцатую партию, приговаривая сопернику:

- Два дуплета, желтого в середину... Два дуплета, желтого... Два дуплета...

Метнули жребий. Мне приходится разбивать пирамиду. Положил я шарик удачно с первого разу, а потом все восемь подряд, один за другим. Партия! Так получилось...

Валька Чухаркин открывает бутылочку: по стопарику врежем! Сухонького. А Клыков (он такой) швыряет кий на бильярд и говорит резко, отрывисто:

- Все! Идем играть к нам, на нашу Мясницкую. А то все у вас да у вас.

- Ты даешь, - смеется Чухаркин. - Мы же монету кидали, фортуна. Ну, давай, что ль, опять разыгрываем? Что будем дальше делать?

- А как? - спрашивает Цой. - Какой жребий?

- Да хотя бы так. Кто лучше историю расскажет, - говорю я. - Валентин, расскажи эпизод тот, не вошедший в кино, из «Трактира на Пятницкой»

- А-а, - про Пашу Америку? - улыбается Валентин. - Про подвал на Пятницкой вроде нашего? Зря тот эпизод вырезали, а другой вставили, тот эпизод интереснее.

- Ну, давай, - присаживается Клыков на стул к стеночке, поближе к длинным зеленым бутылкам. - Ну что - еще сухонького?

- Наливай, - махнул Чухаркин. - С меня начинаем? Мне первому.

И начинает рассказ. А я его постараюсь передать, как запомнилось.

\* \* \*

... Ребята рассказывали - грузчики, носят они сюда мне апельсины ящиками из магазина ближнего тут, видали вывеску «Овощи – фрукты»? А я наливаю им своего «чимергесу»... ну, своего первачка, первачка...

Приходят ко мне они однажды втроем. Один из них в дрипанном ватнике, - вроде бомжа, сразу видать: человек «сан фамилий» - без семьи.

- Вишь, - говорят, - фуфайка обожжена снизу. Ополченец! В сорок первом Москву защищал...

- Защищал? – переспрашиваю его.

- Да ладно вам, - скромничает он. – Ну, защищал, и что?

- Да то, - переталкиваются ребята. – Скромняга какой, язык не поворачивается у него про себя правду сказать. Мы за него расскажем... Так вот, дело было давно, еще в сорок первом. Где-то под Волоколамском, что ли?... Отбили наши атаку и спят прямо на снегу. А этот... Федя... чтоб согреться, колотун унять, все жметя к костру боком-боком – вот фуфайка и выгори... вата затлелась...

А утром, едва продрали глаза, командиры забегали, кричат: «Построение! Смирно!» Оказывается, Черчилль – английский премьер-министр, в Москву приехал и желает лично встретиться с самым выдающимся героем битвы за Москву – боя страшного, под Волоколамском... Передать хочет герою от имени английской королевы Орден Подвязки...

Идет перед строем Черчилль со своей свитой. Бегут впереди него наши командиры:

- Кто у нас, ребята, самый тут храбрый?

- Да вот, - показывают они на Федю, - вот он из нас самый храбрый. Под танк немецкий вчера бросался с бутылкой с зажигательной смесью...

- А-а, - останавливается перед Федей Черчилль. - «Коктейль Молотова»? «Се бьен».

- Почему «се бьен»? - спрашивает Клыков, помахивал кием перед своим носом, как веером.

- Ну так он говорит... Черчилль ихний, - говорит Валентин. - Черт его, Черчилля, знает, так ему надо.

- Под танк бросался? - пыхтит Черчилль своей цыгаркой (любил он нашу махорку, особо елецкую), глядя Феде прямо в лицо.

- Ну да, - переминаются с ноги на ногу ополченцы. Кто в чем: кто в валенках, кто в сапогах. - Вот фуфайка, на нем, видите - обгорела...

- Герой! - бросает в снег свое курево английский премьер и прикалывает прямо к фуфайке английский орден.

А адъютант тут же все и записывает: как фамилия и в каком году где орденосец родился...

Война уже позади. И забылось все это, но в цивилизованных странах ничего не забывают. Никто не забыт, ничего не забыто. Как-то летом, в главный национальный праздник Великобритании - в День рождения королевы Елизаветы - приглашают своих героев и наших, награжденных английскими орденами во Второй мировой войне. Вызывают Федю в посольство...

Нашим органам стало известно. Вот так обмозговали все и говорят: «Да куда ж его, охламона такого, в заграничное посольство, на прием допускать, сажать за стол королевский? Он и вилки-то сроду в руках не держал, привыкши ложкой хлебать. После с ним тут не расхлебаешься...»

Решили ответить что умер ополченец от ран, нанесенных войной в нижних слоях атмосферы. А те говорят: «Кладбище назовите, номер могилы». Как будто братские могилы у нас под номерами...

Назвали все же им и показали. А они беспокоятся: что-то не то, поручили это дело своей разведке... Те проверили фамилию, имя, отчество, год рождения. Копнули, а под плитой - никого. Стали искать, наши чекисты прицепились к ним. А Федя вместо того, чтобы орден английский куда-нибудь сдать, например, в музей Вооруженных Сил, стал в кармане его носить, пришел внутренний карман в своей этой самой пресловутой фуфайке.

Англичане, коли взяли след, уж не бросят, как мы, организовали погоню. Однажды, гонятся за ним уже прямо тут, по улице Пятницкой - от станции метро Новокузнецкой до магазина «Овощи – фрукты». Что тут – по соседству, наши чекисты за ними, след в след. Забегает Федя в подвал к одному прохиндею знакомому - истопнику. Запыхался, сам на себя не похож.

- Уголовники преследуют, - обращается он к дружку. - Можешь ты эту коробочку так спрятать, чтобы ее никто не нашел?

Тот включил мозги и говорит:

- Могу.

- Прохиндеи разве с мозгами бывают? – встревает в рассказ Валентина Клыков.

- Только прохиндеи у нас и с мозгами, - тут же парирует Валентин и продолжает свое. – Положил истопник коробочку на самое дно бассейна, сделанного в целях противопожарной безопасности, включил кран и давай заливать дно водой. Только успел заполнить бассейн, скрыть под водой след коробочки, как вот они – входят трое. Оглядели все помещение тщательно, проверили все тут – ничего не нашли. Только эти ушли, другие являются.

- Ну что, Ополченец, не сдал позиций. Насмерть стоишь?

- Стою, конечно, - вытер Федор лоб свой сырыми руками. Не разоблачил себя, не отдал реликвию за малую дозу валюты.

- А руки-то у тебя сырые чего? – говорит Федору самый младший из чекистов, но дошлый.

Пришлось воду из бассейна спускать, дно показывать. Достали коробочку, вынул из нее Федор награду английскую.

- А чего не носишь? – спросили его чекисты.

- Да так, - замылся Теодор. – Орден-то был прицеплен Черчиллем, боюсь, кабы английским шпионом не объявили.

- Ничего, теперь можно, - засмеялись ребята, оказалось, из внешней разведки. В самом деле, все знают. Далеко заглядывают вперед.

- Все. На этом закончим рассказ, - повел Валентин Чухаркин плечом.

- Трагедии нет, - сделал заключение Вячеслав Клыков. – Хотя бы арестовали, что ли? Сослали бы в солнечный Магадан... Кто был тогда во главе нашей внешней разведки?

- Примаков. А что, свой рассказец теперь гони. С трагедией или, как пожелаешь, на худой конец с драмой.

- А Епиходов кий сломал! – вскрикнул весело Вячеслав и начал рассказ из своей, тоже не бедной на события, жизни.

- А это совсем свежее, недавно всю Москву потрясло. У моего друга – живописца – день рождения, а пришлось на пятницу, когда я делаю себе выходной.

- Неправославной веры, что ли? – усмехнулся Чухаркин.

- Как мы с тобой – хазары, со станции Мармыжи, - подыграл Валентину Клыков Вячеслав. – И зовут живописца Рудольф. Да ты, Валентин, его знаешь, тоже учился в нашем Суриковском институте, только двумя курсами ниже. Позвал бы он меня к себе в мастерскую, да мастерская на ремонте. Пошли мы с небольшой компанией в ближайшее кафе «Лира», что на Тверской. Ты, Валя, знаешь, на втором этаже.

С нами еще было двое: родичи Рудика из Сибири, приехали в Москву по театрам походить, по картинным галереям. Разговорились про всякое – якое. Нам с Рудиком интересно послушать работяг с приисков – первоисточников речи, всяких историй. У каждого в жизни найдется какое-нибудь выдающееся событие...

- Например? – интересуется Рудик.

- Например? – сдержанно говорит один из его земляков. – В Забайкалье, в баргузинской тайге, соболя в глаз бьют, чтобы шкуру не портить. И кто, по-вашему, там первый охотник? Девушка в Северобайкальском районе.

- А почему?

- Не пьет, глаз молодой, точный. Рука, как ружье, пристрелена. Как у тебя, Валя, в бильярде...

- А у вас? – спрашивают ребята, сибиряки. – Как у вас, художников, в ваших сферах, все это трактуют?

- Корифей наш Суриков, - говорю я. – Вы, кажется, из

Новосибирска? «Взятие снежного городка?» Видели в Третьяковке?

- Ну, видели, - говорят сибиряки.

- А песню такую знаете?

«Что стоишь, качаясь,

Тонкая рябина?

Головой склоняясь

До самого тына...»

- А дальше?

«Но нельзя рябине

К дубу перебраться.

Знать ей, сиротинке,

Век одной качаться».

Поддержали меня ребята с золотых приисков:

- А как же, на застольях поем.

- А кто написал ее, знаете? – говорю я.

- Народная.

- Суриков, вот кто. Художник Суриков!

Рудин встает и идет, покачиваясь, к стойке буфета: заказать еще пару таких же бутылок.

Замерев перед барменом, растерянно охлопывает себе карманы:

- Деньги забыл... в мастерской...

И пулей вниз по лестнице. Я за ним. Выбежав из кафе, Рудик бросается к первопопавшемуся автомобилю, стоящему у самых дверей:

- Такси! – кричит он. – Такси!

Три сухих, точных выстрела прямо в живот. Рудик падает замертво...

Все. Трагедия, конечно. Такая нелепая смерть. Клыков Слава, закончив свой короткий рассказ, берется за длинное зеленое горло бутылки: «Златы пясцы». Проходит к бильярду:

- Так пирамидку разобьем? Кто первым?

- И все-таки, все-таки, - не сдастся Валентин Александрович Чухаркин – мой напарник по бильярду и друг, а также друг и земляк Вячеслава Клыкова. – Ты, как «свадебный генерал», тоже со станции Мармыжи... Ну, и в чем дело?

- Вы, говорю, как академики Шубин и Ломоносов – с ар-

хангельского острова Денисовский, что близ Холмогоров. Оба хороши: упорные и напористые, как североамериканские буйволы.

- Инкассаторская машина была, - дрогнул голос у Клыкова.

- Действительно, - вздыхает Валя Чухаркин, - какая нелепая история. Но я не об этом, я все о том же – другом. О Феде Грузчике с английским орденом на обожженной фуфайке. О другом конце общего нашего дела под названием «Два дуплета, желтого в середину».

- Два дуплета уж было – замечает Клыков.

- А желтого в середину? – идет к крану мыть стаканчики Валя Чухаркин. – Заметь, не в середину, а тоже как бы в самый конец.

- А в чем дело? В чем оно, наше общее дело? – стараемся показать и мы, что не профаны и мы в бильярде.

- И вот в нашем дворе тут, - заканчивает свой рассказ Валентин. - В общем, куда задней дверью выходит к складским помещениям магазин «Фрукты – овощи», с грузом подъезжают машины... Появится, значит, красивая, статная блондинка. С блокнотом, журналистка, что ли? Оказалось, учительница английского языка из ближней школы. Что тут, за Большой Ордынкой. «Где тут, - говорит она, - в этом дворе можно у вас найти Ополченца? Его так и зовут у нас – Ополченец. С английским орденом на обожженной фуфайке. Создаем музей боевой славы...»

Федя Грузчик как увидел ее, так и замер. Бывают же такие женщины, прямо-таки, как с картины - пришла сюда со стороны Третьяковки.

С той поры больше никто не видел Федю в старых одеждах. Тут у нас во дворе появился совсем другой человек. В апельсиновой рубашке навыпуск и в новых незаношенных джинсах шириной с Черное море. И на День Победы в битве под Москвой Федя Грузчик одевает теперь орден английский на желтую свою, апельсинового цвета, рубашку, вот так! И весь наш двор начинает гордиться теперь Федором Басаргиным. Не какой-нибудь бомж из мест не столь отдаленных. А наш рядовой москвич. Ветеран войны. Человек-герой. Ополченец!

**«ПОТЕРЯЮ Я СВОЮ КУБАНКУ»...**

Виктор Садовский ехал в Глазуновку на юбилей районного хора, которым стал руководить, как только вернулся из Америки, ездил по 33 штатам, пропагандировал с баяном там у них русскую песню. В электричке, уже перед самым выходом из вагона, Садовский взялся звонить по мобильнику. Ему ответили, что по непредвиденным обстоятельствам юбилейный концерт переносится. Облегченно вздохнув, Садовский сказал мне: -

- Ну что ж, едем к тебе, в твой Малоархангельск, в твои райские кущи.

Стол в саду под бабушкиной яблоней, за столом бочка с водой. Мы с Витей сидим спиной к заходящему солнцу. Живые огурчики на цветастой парадной клеенке, свежая зелень в виде салатов, укропа, петрушки, свисающие над головой ветки с яблоками, живые, свежие мысли...

- Сад и Садовский, - улыбнулся я Виктору даже и без баяна.

Баян где-то там, в стороне, а друг тут со мной. Надо сказать Садовскому что-то такое, что разом настроит нас на мажор, перевести с приятельских на дружеские отношения.

- Настя утром звонила, - уловил Виктор поток моих мыслей. - Привет тебе передавала.

- Какая Настя, с Кубани? - оживился я.

- А какая же, - подмигнул мне Садовский. - С нашей станции Клетнянской.

Мы с Виктором казачьих кровей. Я дончак по бабушке - маминной маме, а Виктор - чистый кубанец, с запорожским акцентом. Из тех запорожцев, что когда-то, по указу императрицы Екатерины, осели на Кубани после присоединения Крыма к России.

Насте полюбились мои стихи, мои песни. Однажды Садовский своим землякам - станичникам показал их на баяне. Потом я посылал Насте аудиокассету со своими авторскими песнями, исполняемыми мной а'капельно. И вот через Виктора Анастасия Кубанская шлет мне приветы, ждет, когда же я совершу к ним туда свой обещанный «хадж». Где меня только ни носило по Великой Руси, а вот

на Кавказе побывать не пришлось. Южнее Ростова-на-Дону вояжа пока так и не совершал.

- Эх, потеряю я свою кубанку

Со своей удалой головой, - запел я Садовскому, а как будто для Анастасии из Витиной станицы – певчего края, клетнянских земель.

Думал, скажет Садовский: «Геть витсила, писня не та», - а он прислушался.

- Ну-ка, ну-ка, - говорит. – Шо за писня?

- Давнишня, - говорю. – Слышал еще в войну от наших бойцов, были у нас тут в сорок третьем казаки. Вот так начинали:

- Где-то там, далеко за Волгой,  
Разгорался небывалый бой.  
Потеряю я свою кубанку  
Со своей удалой головой.

- Гарна яка, гарна! – аж вскочил Виктор тут у нас за столом и заколотил ладонями по столу. – Слушай, друг, спиши песню!.. Ну-ка повтори, повтори.

- Где-то там, далеко за Волгой,  
Разгорался небывалый бой.  
Потеряю я свою кубанку  
Со своей удалой головой.

- А что – дальше не знаешь? – говорит Виктор, схватив сразу мелодию.

- Пацаном был, мелодия врезалась, а слова запомнились только эти, – посерьезнел лицом я, заломило вдруг сердце. – И больше не слышал. Бросили конников, помню, под Сабурово, в самое пекло, а может, и под Панскую... Тут, вокруг Малоархангельска, лежат великие тыщи... Не знаю, может, кто и остался в живых. Надо, Витя, песню эту там, в ваших местах, пошукать...

- А мы сейчас Настю спросим, - вытаскивает он из кармана мобильник. – Алло, алло... Настя? Это мы сидим тут под яблоней... Вот наш друг, Леонард песню мне показал про «Кубанку»... такую вот... не слыхала?

Слышу, Настя говорит Садовскому: «Ну-ка, дай ему мобильник, пусть он споет, я послушаю...»

Взял я у Виктора Садовского телефончик.

- Здравствуй, Настя, - говорю я ей нараспев, - здравствуй, моя дорогая. Как ты? Как я? Песню тебе хочу показать, вот, слушай.

И пою ей все тот же первый куплет:

- Где-то там, далеко за Волгой,  
Разгорался небывалый бой.  
Потеряю я свою кубанку  
Со своей удалой головой.

- Хороша песня! – кричит Настя сюда мне оттуда, с Кубани, со своего Северного Кавказа. – Хороша... И поешь хорошо... Фольклор, народная песня... Не слыхала, нема тут такой песни...

- Это, - говорю, - ваша песня, с ваших мест... Сюда, на серединную Русь, пришли наши части, к нам сюда прямо со Сталинграда. И с ними были кубанцы, станичники. Кстати, Малоархангельск освобождали 23 февраля – в День Красной Армии...

- Ну, конечно, фольклор, - радуется мне у себя там Настя – Настенька – Анастасия. – Ну, конечно, народная песня... А больше не знаешь слов? Так сам напиши... свое изложение, чи шо – продолжение.. У тебя это получается. А Виктор положит на ноты, на баяне разучит и к нас сюда привезет... Приезжайте вдвоем. Гарна песня – военного времени! Запоет песню эту, чую сердцем, весь наш край, вся Кубань... Никто не забыт и ничто не забыто...

И телефончик пи-пи-пи. Отключился. Сидим, нахохлившись, как воробьи, под впечатлением, как будто с Настей живую только что встретились, в тех краях побывали.

- Ну, что? – улыбается Садовский. – Исполниай завет свой... как кличут таких у вас?..

- На севере – «дроля», - говорю я, - а тут у нас «ухожорка».

- Исполниай завет ухажорки, - смеется от души Витя, Виктор, Виктор Федорович Садовский – музыкант, журналист и поэт, а еще и юморист.

- Для начала, - говорю я Садовскому, - ну, завестись чтоб... давай я какие-нибудь стихи сочиню, подберу под мелодию – ту, кубанскую... лишь бы свои...

### «Есенинские колодцы»

А не родись Есенин у Оки  
Напротив церкви, у откосов этих,  
Языческой Мещоре вопреки,  
И не было бы крайностей в поэте.

У осени глазищи велики –  
Бездонные, пропащие колодцы.  
Как в них не пасть, в горсти не расколоться  
На звезды, первитые у Оки.

На ливни, пролиться с небеси,  
Разбрызганные щедро по Руки.  
Пусть говорят, пьяна бывает Русь,  
Я все равно когда-нибудь напьюсь.

Мы пьем из брызг, со дна родных криниц.  
Я пью и упадаю тут же ниц.  
Из Красоты, о Русь, из твоих влаг  
С коленей пью и не напьюсь никак!

- Понял, понял тебя! – кричит Виктор Садовский и хлоп лбом о здоровенный яблоневый сук над нами. – Ну что – врежем, брат, по стопарику?

- По хрущевскому стакану или по горбачевскому? – смеюсь я, поддевая Садовского. – Это там у себя, на Кавказе, Горбачев... с его «сухим» законом...

- Да нет, со Ставрополя он, - потирает шишку на лбу Виктор Садовский. – А там терские казаки. У них даже цвет лампасов другой... Хотя все равно казаки, - поднял рюмку Садовский и запел:

- Казаки, казаки

Едут, едут по Берлину наши казаки.

И я сбежал домой за листом бумаги. И, пока Садовский пошел бродить по саду нашему, огороду, присел к краешку стола, поближе к бочке с водой, уткнулся в те, давние слова, но в такую близкую и сюда к нам мелодию:

«Потеряю я свою кубанку

Со своей удалой головой».

И потекло во мне, побежало – родное, заветное; путаться стало нынешнее с тем давнишним, такое близкое про Кубань, про Волгу, в какую впадает, начинаясь у нас тут, Ока – Богородица.

- Слушай, Витя, - говорю я Садовскому, - дай мобильник, Насте позвоню, прочитаю, спою это вот, потом еще сочини... Слова более подходящие... Слушай, Настя, это как бы про «Кубанку»... мое, сокровенное...

Малый, без трамвайчиков обходится.  
Тихий, легендарный городок.  
Грудью нас закроет Богородица,  
Если враг к нам ступит за порог.

Вот живу и, нет, не наглядеться,  
В удивленьи жизнь моя прошла:  
Как в такое маленькое сердце  
Ты вместиться, Родина, смогла?

«Потеряю я свою кубанку  
Со своей удалой головой...»

29 июля 2011.,  
Малоархангельск.

## ГРОЗА СО СТОРОНЫ ПОНЫРЕЙ

Сидим с Людмилой мы все на той же короткой лавочке, поближе друг к другу. Июль – месяц. Вечерние сумерки тянутся, тянутся, и когда только кончатся? Лето вначале почти такое же, как и прошлое: жара. Но не это главное: приметы не совпадают, нельзя ничего предугадать. Отклонись на лавочке чуть правее – увидишь телевизионную вышку, огни уже прорезаются. А за вышкой багровый какой-то кровавый закат. Раскаленное солнце садится в черные тучи. Вроде к дождю, но мы знаем: ни завтра, ни послезавтра дождя не будет. И огород поливать, поливать, особенно огурцы и капусту. Трудиться надо, райские кущи сами по себе не рождаются.

- Видишь, - замечает Людмила, - как высоко режут крылами небо ласточки. Летают с открытым клювом, кормятся так – ловят мошек. Мошкара, сухая и легкая, и все где-то там наверху.

- А понизу кто кругами ходит? – говорю я. – Королева бала - летучая мышь. Ловко, закладывает виражи.

- Заметь, как обходит препятствия, - отзывается Людмила. – Словно локаторы у нее.

- Но не это самое интересное, - говорю я.

- А что?

- А то... а то, не крутись, дорогая, - делаю Людмиле я замечание.

- А то, что понизу идут, стелятся багряные, отяжелевшие тучи, похоже на дождь. Повыше - белые, кучевые облака, а на самом верху – перистые, так и сквозят, висят - неподвижные... Противоречие в природе, так оно и у людей...

- Смотри, смотри, - толкает меня Людмила. – Кучевые облака слева – натекают из Губкино, а справа – со стороны Понырей, сюда к нам рвутся – рваные такие, лохматые аспидно-свинцовые тучи...

- Все оттуда, со стороны Понырей, - вздыхаю я. – Что в мирное, что в военное время.

- Мир в войне, война в мире? – замечает Людмила.

- В июле сорок третьего оттуда же, со стороны Понырей, - говорю я, отяжелев как-то враз от воспоминаний, - сюда на нас тоже надвигалась гроза. Прорвались триста немецких танков... среди них «тигры» и «фердинанды»... Саперы наши ценой своей жизни задержали аспидов. Но враг все же прошел почти до самого Малоархангельска... Говорят, гитлеровцы были уже у Тиняковского леса... даже в траншеях, у самого города...

- И что? – прижимается ближе ко мне Людмила.

- Не пропустили, - говорю я.

- Закат страшный какой, - вздыхает Людмила, вспоминая отца, лежащего где-то под Ленинградом.

- В природе все разбалансировано, - говорю я раздумчиво. – По Вернадскому – землю окружает ноосфера, по Чижевскому - «Ярче тысячи солнц», я у Янга («Эхо солнечных

бурь») то же самое... В начале прошлого века взорвался вулкан Кракатау, и пыль заслонила солнце...

- Знаю, знаю, что скажешь, - поднимает глаза на меня Людмила. - Говорил уж не раз.

- Ты как Софья Андреевна, - хмурю брови я. - Она не давала Дедушке слова сказать за столом перед детьми.

- Се ля ви, - улыбается Людмила. - Семейные сцены, такова семейная жизнь.

- Так вот, - стоял и я на своем. - Так вот, в начале прошлого века взорвался этот несчастный вулкан Кракатау, а к середине века на нас сюда, со стороны Понырей, поперли немецкие танки...

- Ты в норме? - впивается в глаза мне Людмила.

- Уйди, несчастная! - говорю я твердо, как что-то давно решеное. - И у тебя получится то же самое, убери в логической цепочке две-три строки...

- И теперь, видишь, тучи движутся со стороны Понырей, - замечает Людмила. - Тоже как от Кракатау?

- Со стороны Польши.

- Сам не раз говорил, - не сдает своих позиций Людмила, - что мы тут испокон - вятичи. А вятичи пришли сюда когда-то оттуда, с запада... Помнишь? Фестиваль европейской песни был в Сопоте, а польской - в Зеленой Гуре. Сегодня по ТВЦ покажут фестиваль уже русской песни в «Зеленой Гуре»...

- Давно здесь сидим, - говорю я иронично. - В 2009 году, когда был тут у нас Президент, обошел я с фотоаппаратом все окрестности Малоархангельска... Хочешь историю расскажу про встречу с одним человеком? Есть тут один такой интересный тип из Приволья. Так вот, мы - артисты, писатели, агрономы, в общем, люди интеллектуального труда, думаем, что мы - белая кость. Только нам дано нежно чувствовать, глубоко переживать, а народ, дескать, грубоват, глуповат...

- Сам же не далее, как вчера, приводил слова Пушкина, - теперь уже иронична Людмила, - что поэзия должна быть немножко глуповата.

- Не в ентом дело, - рассмеялся я и хлопаю себе по колен-

ке. – Дело совсем не в ентом. Ну так вот, слушай сюда... про человека одного расскажу- тоже солдата, но другого уже поколения...

\* \* \*

Появился я в Приволье лет через пятнадцать с того дня, как был там в последний раз. Как же все тут изменилось! Мостик был, следы торфяных выроек... На этом месте произошло то, что описано мной в рассказе «Соломенная грусть». Бревенчатый сруб колодца, из которого, проходя мимо в лес, мы, бывало, пили ледяную кристальную воду, заменен ныне бетонным кольцом. Из-под него по трубочке выбегает все такая ж вкусная, до невозможности ледяная вода.

- Как в Малоархангельске, - говорю я человеку, наливающему ведро. И тут такое устройство. – «Из-под трубочки» - от немцев, что ли, «тру-бочки» эти пошли?

- Зачем из Малоархангельска? – всматривается в меня человек с ведром. – И у нас так в Ивани.

- Живете в Приволье, - говорю я ему, – а Ивань поминаете?

- Живу, - набирает человек второе ведро. – Родом я из-под Ивани... Пить хотите? Пойдемте домой ко мне, молоком напою...

Присели в тенечке. Разговорились. Человек носит фамилию Борзенков, а зовут его Алексей Викторович.

- Губчанская фамилия, – подаю я голос из-под рябины.

- Да я не из самой Ивани, - говорит хозяин усадьбы, - а из Ясной поляны, что между Иванью и Губкино.

- Ближе ко Второму Губкино, - улыбаясь я.

- А почему это вас интересует? – подает мне еще кружку молока Алексея Викторович.

- Да учителем был я в Губкино, все фамилии помню. С Первого Губкино – Кононовы, Агарковы, Борзенковы, Лаушкины, со Второго - Васютины, а еще с Белозеровки, Кошелевки...

- Ну, и как вы тут оказались? – забираюсь я в тень погуще.  
– Ближе к городу?

- Да нет, не по этой причине, - как-то скушнее, сереет лицом собеседник. – У меня тут отец лежит в братской могиле... В Елизаветино...

- В Кокоревке? – замечаю я.

- Кокоревка – это старому, а по-нынешнему – Елизветино... Пришел я со службы в армии, думаю: «И куда мне податься?» Все в большой город стремятся, на производство, а я решил поближе к земле.

Чем ездить по памятным датам к отцу сюда на могилку, дай, думаю, тут где-нибудь поселюсь – поближе к отцу, к отцовской могилке. Чаще будут к нему навещаться, не только вместе со всеми цветы возлагать на братской могиле, но и так... поговорить когда, посоветоваться...

- Ну, и когда вы были в последний раз?

- Да вчера. Заросла Мурашиха-то, но стежка по лесу видна. Правее берите и выйдете на ту сторону, к Елизаветино... Смотрите только, лиса кабы не укусила. Много бешеных в жару эту, если что – отгоните палкой...

Да я вам хоть костыль свой дам. Там, в Елизаветино, за оградкой поставите, а я приду в другой раз и заберу... Пойдемте в сарай, костыль у меня в сарае, костыль еще яснополянский – отцов...

- А где же отец-то погиб? – сочувствуя, поглядываю я на Борзенкова. – Где именно?

- Да гнали туда всех подряд... почти что с палкой в руках... с таким же вот костылем.. Вперед! На пулеметы немецкие и минометы... Куда именно? Под Сабурово... уложили на десяти гектарах сразу десять тысяч, не меньше... как солому валили. Не слыхали про Сабурово это?..

- Да был я там, был позавчера, – вспыхиваю я, сам как свечка. С фотоаппаратом третий месяц хожу... Друг нашей семьи где-то там, под Сабурово: майор Лисунов... Уходя в бой, перед самой атакой оставил он матери моей фотокарточку, написал на обороте «На память, июль 1943 года. Маруся, город мы не сдадим». А друг его и нашей семьи – капитан Евдокимов – лежит в Малом городе, в Парке Героев. Под крайней правой плитой, третья строчка снизу.

- Ну, значит, все понимаешь, - сказал мне Алексей Вик-

торович дрогнувшим голосом. – Как что и почему тут было тогда и чем кончилось.

- А оно еще не кончилось, - говорю я, глядя ему куда поглубже – уже не в глаза, а в самую душу. – Оно все еще продолжается.

- Так-то так, - вздохнул Борзенков – хозяин усадьбы – А огурчиков вам не набрать или помидоров? Может, яблочка дать на дорожку?

- Да у меня все есть, - говорю я. – Я же сам малоархангельский. У меня тут дом материнский, райские кущи... И у вас тут, гляжу, усадьба в порядке.

- Ну, а как же, - остановился, положил руку на дверь подвала Борзенков. – Пока трудишься – жив, живешь вместе со всеми.

- А с кем вы живете-то? – поглядел я на окна его просторного пятистенника, дома на две половины. – Есть еще кто?

- Да сын с семьей, но тут не живет. Он в городе... Бывало, молодые-то живут от полочки до полочки. Тогда я взялся за их снабжение. Вон тот огороик брошенный к своему прирастил... Друзья у сына на работе, тоже с оружием связаны и тоже от полочки до полочки...

«Отец, - говорят, - поставь и нас на довольствие. Мы тебе будем хлеб приводить, консервы всякие, а ты нам мяса... Вот корову держу, пока силы есть, овечек, двух поросят... А они мне с сыном телевизор новый купили, сарай сделали для скота, за ремонт дома взялись... Вчера крышу покрасил...

- Сам?

- Сам, а кто же? День и ночь пашу, а что делать? Телевизор редко смотрю, все стрельба там, убийства, гибнут люди. «Хватит, - думаю, - натерпелись такого»...

- Так что они вам, друзья, товарищи эти? – спрашиваю я Борзенкова. – Деньжонок-то хоть подкидывают? Ведут расчет или так, под ей-богу?

- Это все теперь считают, учитывают, - смотрит Алексей Викторович в сторону кур, ходят по двору. – А я человек старой выучки, мне и это ладно, и то хорошо. Люди ездят ко мне, и замечательно... Гляди, петух забеспокоился, кур

зовет: где-то лиса появилась. Та самая, бродит...

- Ну, я пошел, - говорю я Алексею Викторовичу – этому божьему человеку, встреченному на пути, моему земляку, - А костыль ваш оставляю там, у братской могилы.

- Заходите когда еще, - пожал руку он мне на прощанье. - Если что, чем могу – помогу. Мы всегда человеку рады. Чай свои мы тут – русские люди.

\* \* \*

И сидим мы с Людмилой на короткой лавочке напротив бабушкиной яблони, в своих райских куцах. В самом деле, к месту вспомнился майор Лисунов. Это он когда-то оставил фото матери моей на все времена, а мы все читаем теперь... и читать будем: «Маруся! Город мы не сдадим...»

- Вот характер! – сказала Людмила. – У этого человека. – И цель.

- У кого?

- Да у всех, - вздохнула Людмила. – У русских людей.

- Разные люди бывают, разные, - говорю я, озирая себя и других. - Одни до старости горбчат, а иные с молодости норвят сесть на шею. Оттого все войны и происходят.

Черные, лохматые тучи заходили опять со стороны Поньрей. Молнии пронзали небо, рисуя между тучами: «Рабы – не мы, мы – не рабы». Чертили землю, словно глаза чьи-то свыше, ярче тысячи солнц, вонзаясь в нас, живых, эти солнечные протуберанцы. Знаки свыше вечного диалога Земли с Небом и Неба с Землей.

*Июль-август 2011 г.,  
г. Малоархангельск.*

## **В АТАКЕ**

**(отрывок из повести «Дан приказ»)**

Прицелясь взглядом к винтовке, Аресений выскочил из окопа и захлебнулся криком. Ракеты еще не успели опасть, опуститься, как все, что было сейчас тут, под Сабурово, и во всем мире, рванулось навстречу Арсению. Ракеты еще только гасли, а уже пали первые – рядом и впереди. Пуле-

метов и минометов Арсений не слышал и слышать не мог, он слышал только себя. Он встал и рванулся вперед, в этом не было ничего особенного, просто встать и рвануться вперед, а то, что упал он один и упали другие, так это просто упали – упали, и все. И главное даже не в них, а в том, что перед ними лежало поле, длинное, бесконечное поле, а за полем – траншеи, за траншеями – Сабурово, деревня, гребень высотки и где-то там в болотах – наши танкисты. Он не знал еще, как ударяет хмель в голову, и потому ничем не мог сравнить упоение, которое вдруг овладело им при виде этих ракет – их было три, и все красные.

Он увидел перед собой впереди отброшенную высоко и в сторону ногу Елочкина: подошва на сапоге стерта до основания, значит, изношена. И у него, Арсения, кто-то, возможно видит подошву, обмотанную медной проволокой, как далеко назад отлетают его вихлястые, журавлиные ноги.

То упоение, в которое привели его сигнальные ракеты – все три красные, держалось в нем, пока держались в небе они, эти ракеты, и он бежал под их светом впервые, - не на тренировке, не на стадионе, там враг, конечно, и там же его, Арсения, ждали свои - в каждом городе и селении, до самой границы.

В тот миг, пока над ними горели ракеты – три красные, все в Арсении словно наткнулось на стенку, когда рухнул вдруг этот, в полосатой тельняшке, что писал письма матери. И припал на руку тот, с буквами «Полюбите Толю». И упал третий, четвертый...

И все боли мира грянули в грудь Арсению: мелькнул в памяти муравей, только что ползший по сизой былке; знать бы тому муравью, как коротка его былка. И тут же скользнуло в Арсении все мимо куда-то от ракет под былками, лопухами, сапогами, подошвами, под бегущими и падающими, как дрожит, оседает все это в неверном краснеющем свете, и все это – цвета крови, вспыхнувшей на спине у парнишки, и все это всюду кровь его, разведенная, как на молаке, на всем этом жидком рассвете... так умирают, так...

Это чуть ли не сбило с толку Арсения: защемило где-то внизу живота. Появилось желание упасть на землю, вжать-

ся в нее, превратиться в соринку, в муравья. Сейчас у него есть все: руки, ноги, грохот сапог впереди; есть прошлое, настоящее, будущее, но вот расплывается пятно на спине, и не станет сразу же ничего. И будет жизнь и будут другие, но он уже не узнает, что будут другие – это земля его, родина, люди: и мать с отцом, и Андрей с Семеном, и Фрося, и ротный – земляк его Карп Митрофанович, и тысячи тысяч других. Все, что когда-то ему давалось годами, заберется одной секундой. Бежать, достичь, вцепиться и отобрать назад – это свое, изначальное, эту землю, где лежат пращуры до миллионных колен; стереть, растворить в небыли тут могут только его одного, но не страну, не народ его, как когда-то те племена в Азии, Южной Америке, от которых до нас дошли только каменные письмена...

И больно же сделалось ему за парнишку, у которого расплылось пятно на спине, за «Полюбите Толю», припавшего на руку, за всех, кому еще предстояло упасть...

Вот что пронеслось в Арсении между первым и шестым его шагом от бруствера, пока в небе висели ракеты. Он бежал, и слева – из левады, справа – от кладбища – били внахлест пулеметы, из ракетника гавкнули минометы. Арсений увидел, как втянулась в плечи голова «юбочника», как, пригнувшись и таща винтовку за ремень, так что приклад запрыгал по кочкам, «плюшка» эта юркнула в сторону, в небольшую ложбинку. И тогда Арсений с палкой в руках побежал просто вперед, его понесло на пулеметы, и он орал, захлебываясь от восторга, от брызнувших слез: «Дубина народной войны!.. народной войны!.. И колоти, колоти, коли, пока не погибнет все это дерьмо, все наше-ствие»...

Вдруг в ушах что-то лопнуло. Очнулся он от прогорклости в горле, щекотания в носу. Перед самым носом топорщился ярко-желтый люттик, на нем трепетала пчела. «Значит, жива», - подумал Арсений и услышал стоны. Впереди, совсем близко, были траншеи, там ощущалось движение. Тихо звенело в ушах, эти тихие звоны делали стоны слабыми, какими-то одинаковыми, позже он стал различать тона. Справа, чуть позади, стонал сипловато тот, в гимнастерке, в

домотканых штанах. Что первый положил в лопушок свою порцию каши, а поев, облизал ложку и сунул ее за обмотку. И сейчас его алюминиевая ложка, скорее всего, покоилась тут у него за обмоткой. «Пить», - застонал он, и Арсений облизнул губы. И тут же щекой, теменем, всей головой своей он понял, что солнце стоит высоко. «Братцы, - слышалось теперь уже справа, - пристрелите... пристрелите»...

Трава пахла дурманом и медом. Медовым духом к поксу, бывало, пропахивал дед Филипп, он заводил Арсения к себе в полутемный омшаник, ставил перед ним чашу с прозрачным медом, клал краюху ноздреватого хлеба. Воспоминание усилило муки. А солнце пекло.

На нос упала дождинка, Арсений вздрогнул, устроился поудобнее - лицом ввысь, так и лежал. А небо было бездонное, синее, чем даже любимые Фросины васильки. Справа, из ложбинки, куда нырнул с винтовкой мужик в «плюшке», закричали «ура». Сначала Арсений даже не сообразил, что это атака, потом ему ударило в голову: это же наши, выручают ребята! Бежали свои - тоже с палками, почти без оружия. Слышно было, как немцы забегали по траншее, загорготали, воздух вспороли пулеметные очереди.

Мимо прогрохотало несколько пар сапог. И опять стало тихо. Смолкли и пулеметы. И тогда там, в траншее, опять засмеялись враги, они взвизгивали, захлебывались от визга, как поросята. Арсению стало страшно: так действительно не могут смеяться люди, что они с ума посходили? Он повернулся, чтоб утереть лоб ладонью, и между собой и траншеей увидел лежащих. Только что бежали и вот лежат. Навалом, кто как, друг на друге. Винтовки на палках, палки на винтовках. Пилотка сползла со лба, и ветер, раскатав мягкую русую прядь, швырнул ее на погоны. «Андрей?!» - ахнул Арсений.

Арсений уткнулся зубами в землю, лежал, каменя. Что им надо здесь, этим разбойникам? Так просто убить столько людей! Еще в восьмом классе Григорий Григорьевич, их школьный историк, говорил, что цивилизация вступает в новый этап, когда войны исчезнут. Торговля и производство дадут человечеству все необходимое. Да, войны ис-

чезнут, но это, возможно, в будущем, а вот сейчас, в эту минуту, перед ним, Арсением, лежали ребята, и ветер веял русой прядью парня, похожего на Андрея, и кто-то, шевеля сухими губами, просил его пристрелить...

Он приподнялся, чтобы лучше разглядеть: «Так Андрей это или не Андрей?» И тут же рядом что-то грохнуло, потом еще и еще. Мины, скорее всего, из миномета, что бил вон оттуда, из-за кривой, разбитой грозой ветлы. И тут же где-то там воздух вспорола еще одна пулеметная очередь, и пули веером прошли над его головой. Он с любопытством глянул на эти свистящие разноцветные мухи; какими-то зияющими, электрическими полосами они уходили за его голову туда – в конец поля и где-то там пропадали. И вдруг справа, почти у самой ноги, словно рвануло холст, поднялся столбик земли, и Арсений задохнулся от газов...

Арсений очнулся. Опершись на локоть, и совсем рядом, за разлатым конским шавелем, он увидел свежую воронку – от мины, а подальше большую – вероятно, воронку от бомбы. Щелкнула пуля – снайпер? Мягко вошла, утонула в человеке, лежащем напротив. Арсений повел взглядом: и справа, и слева лежали еще живые и уже мертвые... Сколько их, Господи! Арсений протянул руку вперед и попал ею в густую, теплую ижицу – ужасно, то была кровь. Послышалось какое-то теньканье рядом – это с края воронки, из человека в воронку тенькала кровь.

И тогда Арсений увидел, что он весь лежит под трупами, они сковали его своей тяжестью, у него свободны только грудь и руки, все остальное тело его под живыми и мертвыми, лежащими кое-как тут, вповалку. Они придавили его, невозможно ни привстать, ни даже ногой шевельнуть. Единственное спасение – это большая воронка. Надо было освободить ноги, перекатиться в нее...

Тут, в воронке, жить еще было можно. И увиделось ему вот что. Сначала на небе обозначился черный квадрат – над ним, над всем этим Сабуровским полем. От всего этого веяло какой-то огненной жидкостью; и он летел в яму какую-то, но только вверх, а не вниз, летел в эту страшную, проклятую яму, за которой, кажется, не было ничего, кроме

пустоты, смерти. Потом огненность сошла с квадрата, и он стал светить, подсвечиваться откуда-то снизу серебреюще розовым, последним лучом закатившегося Солнца. И Арсений увидел себя как бы в роли Андрея, но только другого - Болконского, когда тот лежал где-то там, под Аустерлицем и к нему подошел сам Наполеон. Нет, Наполеон ему, Арсению, не явился конечно: далековато, наверно, во времени и пространстве. Явились свои – те, кто поближе, но тоже самые главные. Сначала Командующий Центральным фронтом Константин Рокоссовский. Вот он стоит во дворе старой школы тут, в Адамове, и распекает своих генералов за эту вот атаку на Сабуровском поле, где на каких-то десяти гектарах легли сразу десять тысяч, брошенных в бой почти без оружия – почти все вчерашние хлеборобы, которые совсем ведь недавно еще пахали все эти поля, хлеб выращивали истерически – для страны, исторически – для Европы, для всей мировой цивилизации. «Кровавое месиво!.. Что же это вы, - бьет он в гневе тростью себя по сапогу, вперяясь глазами в своих генералов, - что же это вы убиваете народ так жестоко, бездарно?!. Почти по миллиону в год...»

- А кормить, - говорят, - чем? Американская тушонка и яичный порошок только гвардейским частям!

- И безымянно! Люди брошены в бой почти без оружия! Без авиации и артподготовки!... Вас бы в окопы ! Под пулеметы и минометы!...»

И тут свет в квадрате гаснет, видения исчезают. И – тишина. Постепенно квадрат краснеет, как бы от ушедшего за черту Солнца. И наливается кровью, становится багрово-красным. «Если так дело пойдет, будет нас пятьдесят миллионов, а для такой территории надо хотя бы двести». И опять возникают видения: полководцы наши, на самом высшем уровне, герои гражданской войны. Тоже как будто под Аустерлицем. Но только перед ним, Андреем Болконским, уже не Наполеон, а наше Верховное Главнокомандование во главе с товарищем Сталиным, а еще заместитель Верховного Жуков и начальник Генштаба Василевский.

ВАСИЛЕВСКИЙ (докладывая обстановку на Централь-

ном фронте товарищу Сталину). Адамов (Малоархангельск) держит оборону – ни шагу назад, ни километра! А под Прохоровкой враг продвинулся на 35.

СТАЛИН. Ротмистрова там держать нецелесообразно.

ЖУКОВ. Под Адамовом – Сабурово. Трупам брешь закрывают, кровью! В основном хлебоборобской... Помните, повесть Алексея Толстого «Хлеб», бои под Царицыном?

СТАЛИН. Как под Царицыном? Эхо гражданской войны? Ни звука про это. Политбюро считает, что ворошить прошлое подобного рода нет необходимости.

*Обращаясь к начальнику Генштаба.*

Так что там у нас со стратегическим планом?

ВАСИЛЕВСКИЙ. Центр выстоял – этот Адамов (Малоархангельск). Создается возможность для контрнаступления с разворотом по глубине фронта на Юг и на Север. На Север – отсюда и от Болхова, охват Орла, продвижение на Хотынец, далее на Брянск, в Белоруссию. Оттуда возможный удар с Севера на Юг, до Черного моря, - большой «котел». Чем глубже Гитлер продвинется в районе Прохоровки, тем надежнее враг увязнет в глубине нашей обороны... Итак, разворот с Севера – как бы правая рука вперед, а с Юга – как бы левая рука назад... В итоге кольцо неприятелю, «котел» почище Сталинграда...

СТАЛИН. Замечательно. Держать в строжайшей тайне.

ЖУКОВ. Даже Рокоссовский не подозревает.

СТАЛИН. И в дальнейшем держать в тайне. Пусть главными останутся большие города: Курск, Орел, Белгород. Хотя это сражение не за города, а за стратегическое пространство, где решающую роль играют малые города типа этого, как его... Малоархангельск... крепко орешек... На северном фронте Орловско-Курской дуги – Болхов, на южном – Прохоровка... В центре у Рокоссовского – Малоархангельск...

Кровавый квадрат перед Арсением меркнет, Аустерлиц пропадает. Андрей Болконский снова уходит в забвение, куда-то севернее Орла – в Ясную Поляну, в прошлое – к Бородино. А тут настоящее - опять пока тишина. Впереди – будущее, опять же это Сабурово, во все стороны перед

ним, Арсением, это Сабуровское поле. И немецкая речь где-то близко и снова голоса впереди, в немецких окопах...

Арсений принимается выбираться из-под трупов, из воронки от бомбы, медленно отползает в нашу сторону – на Восток, к Адамову. А с нашей стороны по полю уже ползут санитары. Снова затарахтели немецкие пулеметы, сухо защелкали снайперы, и санитары затихли. Арсений выждал еще с полчаса и ящерницей завилал к тому, что лежал от него в двух шагах. Дотянулся до каблука, потащил на себя в воронку. Посадил паренька поудобнее и заглянул в глаза: в них уже остывали звезды.

Так и сидели вдвоем, друг против друга. А домой к пареньку где-то шло в это время письмо, что писалось им на котелке перед атакой, и идти будет еще неделю, другую. А вслед пойдет другое письмо – от начальства и тоже будет идти неделю, другую. И все эти дни паренек будет жив там где-то, в белой хатке под кленами. Он и сейчас умер не весь. Не правда это, что люди, умирая, сразу уходят куда-то. Почему же тогда, когда в доме покойник, не говорят при нем о смерти? Почему страдальческая гримаса исказит вдруг лицо его? Нет, это не о летаргическом сне – о другом. О том, что у умершего еще живет что-то, какие-то органы, давая ему ощущение жизни. Он, вероятно, еще слышит, понимает тебя, хотя уже ничего не может произнести...

Арсений сидел, обхватив голову, легкий озноб начинал трясти его. Он чувствовал на себе чей-то взгляд. Конечно, этого, лежащего рядом. Лежит и следит за ним, за живым, и, возможно, завидует, а возможно, и нет, потому что ему уж не надо ни пить, ни вставать, ни выбираться отсюда под пулеметами, ни идти завтра снова в атаку. «Мистика какая-то, - вздрогнул Арсений, - лезет всякое». И повел взглядом по полю: тела, тела, лежат себе тихо, лишь один – ему показалось – слегка шевельнулся, просвистел: «Пить». «Еще одна неубитая, живая душа», - обрадовался Арсений.

Жуть объяла его, со страхом ждал он вечера, следил за малейшими изменениями в небе, за подсветом трав, за всем, что подавало признаки подступающей тьмы, страшной ночной тишины. С болью вслушивался он в голоса,

они сходили на нет, умирали. Если бы у него была фляжка, хоть капля воды, он спас бы вон того паренька. И вот этого, справа. Дневное пекло сменилось сумеречной тишиной. Когда Солнце село, зазвенели кузнечики. Арсений повернулся лицом к небу, стал ждать окончательной темноты. И вдруг увидеть дневную Луну - неущербленную, полную. Арсений застонал и потерял сознание...

Он искал поблизости хоть одного лежащего тут неубитого, но они жили только в его воображении; одному пуля вошла прямо в глаз, другой лежал без ноги... Рядом щелкнула пуля, еще одна. Арсений вжался грудью в песок, сердце остановилось. Да что же это такое – головы не дают приподнять!

Высоко над головой висела Луна, ее пепельно-серебряный свет обозначал уже краткие тени. Арсений слегка отдышался и снова пополз к своим, назад с поля боя. От одной живой души к другой. Однако, когда он подползал к лежащему, живая душа уже оказывалась мертвой, убитой. В бессилии Арсений отвалился на край воронки. Трупы смотрели на него, в глазах стекленела луны. У Арсения на спине от страха начинала двигаться кожа...

Луна поднялась еще выше, все вокруг стало бледным каким-то, мертвенным, пепельно-серым. И Арсений понял, что, провозившись, он упустил свой шанс. Вблизи все также маячила не наша - чужая траншея, по траншее уже началось движение. Он попробовал приподнять голову, рядом опять же шлепнулась пуля.

Быстро подсохла роса, июльская трава натянулась, сделалась жесткой, пружинистой. Язык уже не вмещался во рту, нёбо было все в кусках, истрескано, наверно, до крови. И вот стоны совсем прекратились. Травинка обозначилась перед глазами, она все двоилась, троилась, он откусил ее, затем поставил метелкой ввысь и крайне задумался: эка вымахала, вытянулась, как струна. Что же держит ее изнутри, такую высокую, тонкую? В чем причина такой удивительной стойкости? «Пить, пить», - снова послышалось где-то.

Что-то толкнуло его изнутри: полынь рядом качнулась и замерла. Арсений приподнялся на локте и увидел фигурку

– тонкую, пышноволосую: «Фрося?..» Обхватила раненого рукой, подтянулась, ползет... «Длинный, серебряный чуб. Неужели Андрей?»

- Фрося, - шепчет Арсений так, чтобы было не слышно в чужой траншее.

Ее же могут убить. Вот сейчас у него на глазах. Снайпер уже готовится к выстрелу. Вот берет ее на мушку, следит за ней, прищулив глаз...

- Фрося, - шепчет он.

Впереди что-то сверкнуло.

- А-а-а! – подбросило вверх Арсения, и весь ужас этой атаки, всего, что пришлось пережить ему в эту ночь войны, вырвалось из него в этом крике. – А-а-а!!! – зазвенели перепонки от предельного звука. Что-то лопнуло в горле, он рванулся вперед, хотел еще позвать: «Фрося», а получилось бессвязно: «О-а-а». Он повторил с усилием, уже приказывая себе: «Фрося», напрягся так, что надулись жилы, посинело лицо, и захлебнулся в своей немоте. И жутко стало ему, он привстал на коленки и, упершись лбом о землю, пропахшую кровью, по-звериному зарычал, стал скрести землю когтями, не чувствуя боли. А потом упал на дно воронки и потерял сознание.

Когда пришел в себя, прямо перед глазами Арсений увидел все ту же Луну, на ее фоне ту же травинку - луговую овсяницу: распрямившись, она тянулась метелкой ввысь; и вдруг он все вспомнил и застонал. Срезанная пулеметом, тут же на голову ему упала эта былинка, такая высокая, тонкая. Всю войну, весь бой этот держалась, упертая в себя изнутри, в своей удивительной стойкости, а теперь вот упала.

## НОЧНЫЕ ФИАЛКИ

Жена по делам уехала в город, и я остался один. К одиночеству надо привыкнуть. И я обычно сажусь на межу и, привыкая, долго сижу под двумя матерыми, черноствольными снизу березами, что в конце усадьбы, на взгорке. Убаюканный их гибким зеленым качанием, я сижу и смотрю

прямо перед собой. А прямо передо мной также гибко и зелено взмывает к небу равнина, там белые кубики домов, машины, люди, село Высокое, выше которого лишь облака. А тут в зеленом безмолвии всего семь крестьянских дворов — бывший «столыпинский отруб» по лесистому, довольно крутому склону речки Алешки и первый отсюда мой двор — «монрепо», неказистый домишко, убежище мое от житейских невзгод.

А с той стороны к нашему поселку Синяевский лепится сруб из розового соснового кругляка — восьмое чудо света, дом — храмина, дом — театр известного артиста Василия Ланового. И я тут сижу под березой и переживаю. Ну почему именно накануне жене моей надо было уехать в город? Почему в день, когда я родился, в Иванов день, отец назвал меня Леонардом? И почему, по гороскопу друидов, всего один день в году, только этот День березы, День русской березы?..

Вскоре по проселку, что сейчас у меня за спиной, протарахтела повозка, и почтальонка Настя вручила мне письмо. От тетки моей родной — тети Дуси, с Украины. Как выстрелом, пробило навывлет такими слова-ми: «...и вот я слабею, тяжело, как никогда, наверно, уже и не свидимся».

И я, как мальчишка, проплакал всю ночь. Тетя всегда была для меня примером жизненной силы и стойкости, доброты. С шестнадцати до семидесяти пробыла она у детишек учительницей, помогала нам в голодные годы... Она уехала сразу после войны туда, во Львов, к мужу — демобилизованному офицеру... Съездить за ней! Сюда привезти! Вместе хоть па картошке как-нибудь проживем. Да ведь не согласится. Там дочка у нее, внучка, правнучка даже, квартира, вся ее жизнь... Я вырубил радио. И целый день собирал на огороде колорадских жуков — этих выходцев из Америки. И давил, давил их каблуком. Рычанье старенького, без глушителя, апельсинового «Запорожца» разом рушит мое одиночество. И вот уже Сергей Алексеевич, местный агроном и мой давний приятель, спешит мне навстречу с широкими объятьями:

— Михалыч, дружище! Не виделись вечность, ну как ты?

И чье-то лицо — молодое, девичье — бледнеет за ветровым стеклом.

— То брат мой, — смеется Сергей, — а это — сестра. И зовут ее Лана.

Качаем самовар сапогом, пьем чай самоварный с душицей. И с пряниками городскими. И с первым медом этого года, светло истекающим с сот. И под балетные танцы ос, под бархатное рокотание пчелиного волка — шершня я содрогаюсь, внутренне трепещу: «Сестра, говоришь? Ну-ну». Похожи на сливу синие-синие очи, ресницы длиннющие, светлые, а кончики кверху загнуты и черные, и тень колодезная под глазами. И волосы золотистые, с блеском, колечко над ушком, аккуратна головка. Матовое лицо светло и печально, слегка узковато, а брови восточные, как у Шехерезады, серпом. «И все же Светлана она. Конечно, Светлана!» И эта малоазийская утонченность, и европейский изыск...»

Сидим за длинным дощатым, накрытым клеенкой, столом. И справа от нас, по макушкам тех самых берез, уж катится, закатывается в недра земные кроваво-красное блюдо солнца. Должно быть, к срыву погоды? Но это меня уже не волнует, волнует другое: неуловимое что-то, чего всегда не было, а вот сегодня есть, оно витает где-то, незримо присутствует. Не шелохнется ветка, коростель не скрипнет сухой доской. И ноздри мои широко раздуваются, с детства я заметил в себе это свойство — чуть издали запах, опасность, любовь.

Она для меня опасна, эта Лана. В ней что-то такое, что входит в меня, в мою жизнь, может быть, навсегда. И годы годами, а пластика запаха, как пластика тела. Но в чем все это материализовано, так это в ореоле от ее молодого тела, что смущает поныне, как и смущало когда-то. А если все дело в духах — восточных, таинственных джинах во глубине нас, замешанных на европейский манер где-то — в пределах Лазурного берега Франции, в окрестностях Граса. — столицы тончайших французских духов?

И где я видел это лицо, эту Лану? Все это они, круги из прошлого, слабые токи оттуда, сладковато-миндальные,

мягкие. А красное блюдце спускается по березе все ниже, и тени ползут-наползают, в темной траве заметен уже светлячок. Плотнеют, сырея, сумерки. И запахи уже горше, миндальнее, однако не теряют своей округленности, мягкости.

Чувствую, начинаю дрожать от выползающих из сиреновой темени страхов. От возможной встречи души с испытанием, с чьей-то душой. Справа, под одинокой березой, вспыхивает костер. На фоне доцветающего неба обозначаются тени, тихо играет транзистор.

Что-то в Лане беспокоит меня. Это золотое колечко над ухом. И то, как кончиком пальца она поправляет его, это колечко.

— Особая ночь, да? Ночь под Ивана-купалу, — говорит она чужим, отсырелым голосом, однако тоже привычно знакомым. — По народному поверью, лишь в эту ночь расцветает папоротник. И каждый, кто хочет любить, ищет в лесу свой цветок...

И тайна в голосе. И надежда.

— Это точно! — качает Сергей дырявым сапогом. — Сколько молодежи понаехало, — кивает он на костер. — Из дальнего и ближнего зарубежья. Этих скоро спать, не уложишь.

А луны все еще нет. И тайна все осязаемее, она неохватна, пространна; и этот запах — он удивительно властен над нами, даже чай самоварный, с душицей не в силах его поколебать — запах древний такой и такой молодой. И вдруг, как всполохи в сухое лето, узкий высверк косы под звездой, прочертившей небо, — это электричество в памяти, вспышка, протуберанец! Она — эта девушка из апельсинового «Запорожца», спутница Сергея — Лана, и Марья — хозяйка, у которой я когда-то купил домишко, — одно и то же лицо! Да, это точно. Я не ошибаюсь. Не копия, но талантливое повторение, произведенное па свет божий десницей великого мастера. Вообще-то у меня от природы такое: видеть не лицо молодое, каким оно будет, а пожилое — каким уже было.

Портрет Марьи, нарисованный студенткой Суриковского института, бывшей здесь на пленэре, я нашел в кладовке

среди всякого хлама. И приколот лист ватмана кнопками в сених на видном месте. Марья смотрит па меня, напоминая о прошлом, как раз за несколько дней до своей смерти; куда восходим мы, в какие мистические пределы? А в ящичке на желтеньком ватмане лежал пучок каких-то засохших цветов...

— Ха-ха-ха! — засмеялся я дерзко. — Это же ночные фиалки!

— Ну да, — вздрогнули мои гости.

И мы вскакиваем, мы бросаемся в сад, А сад уж во тьме, запустелый от натиска леса, тот шумит тут же через дорогу. В сиренях вспыхивают огневые глаза, комары звенят над ухом, а папоротник величиной с динозавра, и в нем зажигается алый цветок, как костер...

Крапива ожгла мои плечи. И я ловлю па мысли себя, что очень хочется стать выше яблони — этаким эвкалиптом, приподняться на цыпочки и рвануть туда, за верхушки; там прошлой осенью, прямо над нами, встретились два косяка журавлей, соединились в одно и, изгибаясь плетью живыми, полетели далее уже одним косяком...

Руки мои коснулись нечаянно ее тонких рук, и я услышал ее отчаянный вопль:

— Да вот же, вот они!

— Кто?

— Ночные фиалки.

И тут же две гибкие молодые фигуры метнулись от нас. Они пришли сюда от костра и здесь, у ствола яблони, целовались. И мы с Ланой застываем, боимся двинуться с места. Не спугнуть бы пичугу, на фиалку бы не наступить.

И мы возвращаемся к самовару и пьем божественный фиам как бы из фиал — из кубков таких с загнутыми внутрь краями, отдавая дань возлиянию в честь древнего бога Бахуса, припоминая слова из эпи-курейской песни Языкова:

И так поем любимый гимн поэта.

И до утра фиалы прозвонят!

Но самовар заглохнет, угли догорают. А тут где-то поблизости в саду разворачивают свои лепестки в ночную симфонию запахов дива эти — ночные весталки, и птицы,

деревья и речка, одурманясь, заглыхают уж, спят. И лишь у костра редкий смех, бродят парами тени. Внизу у речки кто-то туго, со смаком вытаскивает из грязи сапоги, словно в болотине переступает с ноги на ногу длиннобудылая цапля, — так целуются где-то там, никак не могут нацеловаться...

Сергей ничего не сказал о Лане, не раскрыл ее тайны, сам все скоро узнаешь, когда?

Отъехал апельсиновый «Запорожец» с ревущим звероподобно мотором. Едва я слил воду из самовара, как вот он, и скорый июньский рассвет. Со светом фиалковый запах слабеет, лепесточки закручиваются. И все же я нахожу ночную фиалку довольно быстро, хотя в буреломе крапивы ее зеленовато-серые плети скромны, незаметны. Неужто это они так пахучи, ночные красавицы? Они хороши только ночью, когда выходят на панель, привлекая к себе не внешним, а внутренним — запахом... И я подумал о соловье, отщелкнул вот у Ивановой ночи три-четыре коленца и смолк.

Ночные фиалки, успокоясь, спят, как после гулянки. А я все думаю, думаю. Уж сколько лет живу на этой усадьбе, ведь не копал для них землю, не сеял их, откуда тогда же вы, милые? То ли, подобно Робинзону Крузо, жена все же вытряхнула из мешка семена? А то ли цветы посеяны еще Марьей — прежней хозяйкой и ждали своего часу? Какой же сигнал в природе, какого благоприятствии дождались они в эту Иванову ночь? И почему именно в эту ночь, по преданию, расцветает папоротник? В самой краткой ночи года так мало тьмы, много света, тепла, очень много любви, воздух просто наполнен любовью...

«Мы все немного артисты в театре теней», — думал я, проходя чуть позже мимо сруба Василия Ланового, на котором уже тюкали топоры, и сам Василий — когда-то премьер-любовник, сидя на бревне, ошкуривал его, гнал на себя скребком смолистую витиеватую стружку.

У последнего двора, возле бабы Кати, я снова увидел апельсиновый «Запорожец». Возле него в такого же цвета, апельсиновой куртке стояла женщина. Она шагнула навстречу мне — и во мне подломилось, запуржила метель,

закрутилась Галактика вокруг мировой оси. Эта женщина страшно была похожа на Лану, а Лана — на Марью, она между Ланой и Марьей... Я видел ее, но где?

...Поезд «Воронеж — Киев» где-то сразу за Курском заскрежетал тормозами. И станция-то пустыковая, и скорее всего платформа. А на платформе стояли двое, он и она. А поезд остановил красным флажком и держал решительно парень в железнодорожной форме.

Она ступила на порожек вагона и обернулась. А он обнял ее и поцеловал. А поезд уже шел, уходил, а он все стоял на платформе, а она висела на порожке, а потом он догадался швырнуть в тамбур ее чемодан.

И был, кажется, август. И нас в тамбуре было двое. И, как и вчера, перед нами западало красное блюдце солнца. И вдруг она положила голову мне на плечо,

А потом я целовал ее, а она целовала меня, И от губ ее, от всего се тугого, скрипучего тела исходил этот тонкий, едва ощутимый фиалковый запах. Так пахнут, я уже знал тогда, только они — эти ночные фиалки. Странно, она только что вышла замуж и тот парень был ее мужем. Странно, по направлению она ехала тоже во Львов.

В тамбуре не было никого. Тогда курили, где хотели, прямо в вагонах. И те, что проходили из вагона в вагон, не толкались и не кричали что-либо нецензурное, не интересовались твоей национальностью, а, стыдясь, отводили глаза от нас. Она извивалась в моих руках, как змея. Каким было ее гибкое, змеиное тело в руках того парня? Как могла она перейти из одних рук в другие столь стремительно? Что за мистика мерцала в зеленом фосфоре ее глаз, где предел нашей фантазии? И все это осталось во мне, как сон, в котором совершенно реальными были только ночные бабочки — мотыльки, залетели в тамбур на одной из остановок и метались, бились о плечи, о лампочку на потолке, о наши губы...

Я не поехал за ней, я остался тут, на Орловщине. Не мотался по стране, не уезжал никуда. И вот она здесь, та самая женщина в апельсиновой куртке. Тогда в экстазе я не спросил у нее ничего: ни куда она ехала по направлению, ни

даже фамилии, я узнал одно только имя ее, оно было такое же — Лана...

Светлый день как отсекается, померк. Из стены дождя на лесной дороге, гремя, вынырнул мой знакомец — апельсиновый «Запорожец».

— Ну что, заинтриговало? — смотрит на меня с лукавинкой Сергей Алексеевич и вздыхает куда серьезнее. — Наши приехали... русские беженцы... Возвращаются, браток, наши с тобой земляки, дети наших сельчан.

И «Запорожец» исчез в синей зелени леса.

А к вечеру в мокром саду опять затлелся вчерашний запах. Ближе к ночи этот запах, как и вчера, растет, умножается, он полонит весь двор, весь поселок, пробирается аж на тот край, до самого Ланового. И вот ветер взвинтил его и унес под самые звезды, к той самой оси, которая крутит все живое в нашей Галактике. Где встречаются двое в ней: он и она...

Жена приехала последним автобусом.

— Слышишь, ночные фиалки! — говорю я, гордясь.

— Где, где? — крутит она головой.

— Да вот же, вот, — подвожу я ее к портрету Марьи — нашей хозяйки, к листу ватмана, что прикноплен в деревянных сенях. — Тут и тут, смотри, по всему листу! Как сверкают они, эти ночные фиалки!

— Ну, что ты выдумываешь? — поджимаются губы капризно. — Они же серые, такие невзрачные.

Странно, но кто-то же вытряхнул их из мешка? Да при чем тут мешок? Тогда отчего, скажите, в саду моем все же цветут фиалки? И я целую осень жду апельсиновый «Запорожец», куртку ту апельсиновую. И страшно становится жить, когда вместо них из крапивных зарослей выползает темная птица ночи и, как будто во сне, по живым палат сонные танки. Зато ближе к вечеру, когда комар начинает звенеть, как виола, снова выходят, себя подавая, они, эти дамы...

21 декабря — день рождения Сталина, а я пишу рассказ о любви. И жить, наверно, возможно, когда и зимой в моем саду цветы распускаются. Как странно, что именно во

тьме, как бы ободряя нас, так пахнут они, эти красавицы ночи. Смотрю на морозное стекло, и вдруг сигнал под окном моей городской квартиры — все тот же дружище мой, апельсиновый «Запорожец».

— Ну как? — живо спрашиваю я. — Наконец-то вы в гости?

— Ты насчет апельсиновой куртки? — смотрит мимо Сергей Алексеевич. — Уехала твоя апельсиновая куртка. Туда же, откуда приехала.

Сидим и пьем чай с душицей — нашей, синяевской.

Как раз идет передача Орловской телерадиокомпании, где глава областной администрации и большой человек с полуострова, который сам заявляет о своем величине, — Ямал, оба толкуют о перспективах.

— В Словакии газ российский подведен к каждому поселку из двух-трех дворов. А у нас в области, испещренной газопроводами, не газифицированы даже райцентры. А ведь газ — иное качество жизни.

И я смотрю на лист ватмана с портретом Марьи, привез на зиму сюда, чтобы не так скучать по деревенскому лету. И ночные фиалки где-то там, за морозным окном, кажутся уже не под снегом — прикрыты в саду моем огромном такой — с Ямал, апельсиновой курткой. Как солнце, она, эта куртка, лежит на земле. И я все мучаюсь одним: ну почему именно в сумерках, под покровом ночи, рождаются эти символы духа, почему, в тени расцветая, так пахнут они по-мрачительно, так врезаются в душу — маленькие, серенькие такие, царицы ночи, они — эти ночные фиалки?

*21 декабря 1994г.*

## ПРОСТО ЛЮБИТЬ

И одному он дал пять талантов,  
другому два, иному один,  
каждому по его силе.

*Из Книги времен*

Он знал, что нынешним летом не поедет на юг; осточертели все эти модные пляжи, резиновые тапочки, деревянные топчаны, в меру или сверх меры флиртующие, молодящиеся особы. Нет, он, по убеждению холостяк, по должности инспектор облоно из Воронцовска, точно знал, что на сей раз отдохнуть направится в деревню. Но для этого надо было прозондировать почву.

От райцентра Колпачки до села Красавка, где жила теперь Лида, оказалось двадцать верст с гаком.

— Что вы гаком считаете? — спросил он у местного старичка.

— А то и считаем, гак да еще так, два разу сразу, — отвечивал старичок-боровичок.

— Вдвое больше, что ли? — допытывался Куревин.

— Прошагаешь — увидишь.

На автобус надежды не было. Красавский большак пересекали болота, и дорога налаживалась лишь к концу мая. «Ну и занесло меня к чертям на кулички», — примерялся Куревин к машинам возле районной столовки. И вдруг его осенило: а роно на что? Зачем тогда вверенные нам низовые учреждения, для которых ты какое-никакое, а областное начальство. «Хорошо, что-нибудь придумаем», — сказал ему заведующий роно. По его словам, Красавка была воистину прорвой: сколько туда ни посылай молодых специалистов — бесполезно, через год убегают, уезжают любым способом: замуж ли выйдут, на завод ли устроятся, достанут ли медицинскую справку или справку о престарелых родителях. И только вот Лидия Алексеевна Семагина там уже третий год...

Перед самой Красавкой «козел» не смог одолеть не то котловины, заполненной водой, не то болотного окна.

Куревин отпустил шофера и тут же испачкал тщательно отутюженные брюки, настроение от этого снизилось, и все же предчувствие встречи убыстряло, уширяло шаги. Перед глазами стояла она, Лида... Этой весной она приезжала в Воронцовск на каникулы, и они провели в его холостяцкой квартире неделю. Вспоминали студенческие годы, всех своих, разбросанных по стране. «Я буду любить тебя всю жизнь», — говорила она с отчаянием. И когда потом прислала ему письмо из Красавки — сумбурное, сплошь из многоточий и восклицательных знаков, он долго не решался ни на что, и вот теперь едет сам. Как она встретит его, как положит правую руку на плечо, заглянет в глаза; серебристые ландыши, ее любимые ландыши...

Красавка оказалась не маленькой, порядочно разбросанной: дворы, клуб, правление, и все это на буграх, в зелени, едва крыши торчат. Куревин торопился: солнце уже садилось где-то внизу, за рекой.

— Можно вас на минуточку? — окликнул он женщину, она вела теленка, а тот упирался; занятая своим делом, женщина обернулась не сразу. «Можно вас на минуточку, — передразнил он сам себя. — А как назвать ее в таком случае? Товарищ женщина? Гражданка? Дама? Сударыня? Давно заметил, женщин у нас зовут как угодно. В трамвае: «Эй, молодая, красивая...»

Все это пронеслось в голове Куревина, пока не перебились ехидным голоском:

— А вам кого надо?

— Мне Лидию Алексеевну Семагину, учительницу английского.

— Ах, Лидию Алексеевну? — чуть ли не перевернулась к нему женщина, держа упирающегося теленка. — Ах, Лидию Алексеевну, — она явно выгадывала время, разглядывая его с головы до ног. — Ну да, Лидию Алексеевну... А кем вы ей будете? — перешла она неожиданно на оглядчивый шепот. — Братом двоюродным?

— Почему братом, тем более двоюродным?

— А теперь так-то, — махнула женщина и сразу сдела-

лась откровенной. — Теперь из города едут к учителькам всякие... и все братья двоюродные...

— Да нет, не брат я ей.

— Ну тогда опоздал, — подтолкнула женщина теленка. И, уже отойдя на несколько шагов, обернулась, махнула веревкой за сад: — Во-он, милоч, ее хатеночка. Новая, стало быть, квартера. Гоняла-гоняла по буграм, а вон там, стало быть, приземлилась, — протянула она сладеньким таким голоском.

«Чего это она?» — смотрел ей вслед Куревин, немного встревожась.

Он увидел хатенку и удивился, как она до сих пор еще не завалилась. Живы такие вот послевоенные хатенки, слеplенные кое из чего: подслеповата, почти без фундамента, выросла в землю по самые окна. «Вдова живет какая-нибудь, без мужчины», — мелькнула догадка, и, весь изогнувшись, он шагнул за порог.

В крохотульке-передней на него глянула такая убогость, что он поневоле сделал полудвижение назад, но тут же услышал голос старой женщины, очевидно, хозяйки; она была в обрезанных по щиколотку валенках, в грязном переднике поверх мужского пиджака, в платке по самые брови, скрывавшем седые, давно нечесанные виски... Все это Куревин схватил в мгновение ока. Старая женщина приглашала пройти дальше, в чистую комнату. Куревин шагнул еще раз и зажмурился: так ударило электричеством. Разлепил веки — лучше бы электричества не было: беленые, шаром покати стены, высокая, чистая, в полкомнатушки кровать в правом дальнем углу, слева — деревянный стол, за столом — двое. Куревин поднял голову: прямо против него, глаза в глаза, сидела она, Лидия; зрачки ее расширились и остановились. Поверх ее рук, на середине стола, лежали чьи-то другие, — мужские, крупные руки. Он сидел спиной. Старая женщина, очевидно мамаша обладателя этих рук, совала Куревину табуретку и что-то говорила, смеялась, губы ее прыгали, щеки двигались-дергались, и все это словно в вате, беззвучии, глухоте...

Куревин вышагнул назад, Лидия бросилась следом. Она

поймала его за руку уже в сенцах. А потом бежала сзади узкой дорожкой, а он все ускорял шаги, и она уже не попевала.

— Ты не ответил мне даже на телеграмму... Ты женился? Скажи, это правда?..

За спиной бухнули дверью, что-то кричали два голоса одновременно. Куревин свернул за куст и побежал.

Он очутился на заросшей черемухой круче. Где-то далеко-далеко, внизу, за рекой, плоско лежали четкие квадраты полей, чуть ближе, по самому берегу, тянулись белые шиферные крыши. От села поднимались сюда, на кручу, всякие деревенские звуки: мычание коров и телят, прищелкивание бича, звон молочной струи о жестяной подойник. Белесая пыль, висящая по-над дорогой у берега, смешивалась с этими звуками, с сизоватым парением луга и, провисая, оседала на теплые, влажные травы; испаряясь на теплом, влага натекала туманом в низины, туман клубился, вздымался, дыбился, взбурываясь над речкой все выше и выше, подбираясь сюда, к самой круче, и, отрываясь на какое-то время от луга, превращался в свободно текущие облака, чтобы наверху вновь утяжелиться и пойти вниз, в долину, осесть в ней холодной росой, размытыми звуками, глухой предгрозовой тишиной. Вдруг откуда-то сбоку, из створа, от леска, потянул ветерок, в клубах тумана образовались провалы, в них глянуло солнце, и все смешалось: облака стали тучами, синее сделалось черным, сиреневое — кровавым. Но вот луч мигнул и убрался, а к прежнему все уже не вернулось — другая держалась стройность, гармония цвета и звуков, другая возникла вокруг красота.

...Село отдыхает от прошедшего трудового дня, остывает, стихает, и только сердце у Куревина все еще бьется, в такт качается круча, вот-вот из-под нее потечет тонкой струйкой песок. И мысли все умиротвореннее, глуше. Лишь остается обида на Лидию, на себя, на всю свою жизнь...

— Слава-а! — слышится где-то за липами женский голос — ее голос.

Куревин сидит, обхватив руками колени. Душа, говорят, есть число, которое подвергается счету, учету, анализу. Чу-

жая, может, и подвергается. Ему от жизни хотелось многого, он всегда думал, что семья — это обуза, и он себе этого не позволил. И вот уходит одна, уходит другая, и эта вот, Лидия, самая близкая, тоже ушла...

— Слава-а-а!! — это рядом, совсем рядом. Он впивается ногтями в ладони и сидит, боясь колыхнуть головой чуткий лист над собой.

— Слава-а-а-а!! — совсем-совсем близко, протяни только руку, только слово скажи.

А в ушах названивает, паук где-то в купе липы мучает свою жертву.

Тело начинает подрагивать, зябко. Как глупо все.

Не хватает еще простудиться, схватить радикулит, ангины. И тогда ко всем чертям летний отпуск... Еще школьником он играл роль Несчастливцева в «Лесе» Островского... Средний рабочий, честный труженик — это нормально, но актер средний — извините меня. Средний актер не чувствует к себе интереса зала, у него сил, темперамента нет, чтобы взорваться...

Куревин встал. Где-то поблизости, в заброшенном саду — он видел, он помнит, — должен быть брошенный дом. Да вот же он, вот! Горбатая, сумрачная махина, что можно видеть при звездах? Ставни в доме забиты, крест-накрест доски, на двери два замка. Куревин вздрогнул: ветром качнуло висящую на петле дверь чердака. И тотчас же из чердачного провала ударили два зеленых огня. «Ко-от!» — обрадовался Куревин живому и позвал:

— Кыс-кыс-кыс.

Куревин хотел кинуть в него комышкой, но передумал. Ему подумалось о пиковом своем положении: зачем он в этой чужой деревне? Его начинало трясти, бил мелкий, длинный, нудный озноб. Там, на чердаке, должна быть солома. Закопаться бы, согнуться, как в детстве, калачиком, почувствовать свое дыхание, собственное тепло. Он попытался взобраться на чердак по двери, по бревенчатой стенке, но руки срывались, и он боялся лезть выше, чтобы не сломать себе шею.

Вспомнилось, что там, неподалеку от хатенки, где живет

теперь Лидия, пусто глазела еще одна брошенная хатенка. Во всяком случае там будет хоть иллюзия того, что ты в помещении.

Он нашел в темноте эту пустую хатенку, с Линдиным жильем она была почти стенка в стенку.

Натыкаясь на кирпичи под ногами, Куревин ступил за порог — в нос ударило застарелой, прогорклой гарью. Были люди и нет, а ведь когда-то любили, растили детей, на что-то надеялись... Он провел ладонью по русской печи, по лежанке, по голым, холодным кирпичам — ладонь утонула в пыли: пыль забвения, мета веков...

Он лежал на полыни, на бурьяне каком-то, дыхание согревало живот, но спине было холодно. А рядом, через ЭТУ глухую стену, на высокой деревянной кровати, разметавшись, лежит сейчас Лидия, и рука ее в крупном его кулаке, а другая рука, возможно, вокруг его шеи... Брр, собачья жизнь, с ума можно сойти от собачьего холода... Вот сейчас, в этот самый миг он кладет руку на плечи ей — знакома, привычна, атласна кожа... Куревин вскочил с печи и стал ходить по битым кирпичам, разломанным стульям, разбитым горшкам. Глупо склеивать битые горшки, чинить старые стулья, на которых сидели на свадьбах, проводах в армию, поминках...

Куревин шел к автобусу. Было то дрожкое, сильное возбуждение, которое возникает сразу после бессонницы и сменяется тяжестью в теле, дурным настроением. «Какая голая деревня! Не могут ракитку пихнуть в землю», — подумал Куревин, вспоминая совсем другое — высокую кровать в правом дальнем углу хатенки.

\* \* \*

В начале зимы ему стало известно, что Лидочка родила. Назвала сына его именем. И из Красавки от мужа уехала...

Он ходит из угла в угол комнаты. Странно, очень странно: где-то живет человек, которого не было. Живет, растет, носит, надо же, его имя...

Он поставил диск с записью оркестра Поля Мориа. Мягкая, обволакивающая музыка качала душу, было так хоро-

шо, хоть плачь, и было так плохо. Не каждому даны крылья, чтобы летать. В наше время это так сложно — просто любить...

Он усилил звук телевизора — та же мелодия Поля Мориа провожала мир человеческий спать. Итак, день окончен, новый день с нами. Синичка постучала в окно, — он отдернул занавеску и увидел ее — Лиду. У щеки ее сверток — махонький человечек, очень странно носящий его бесконечное имя.

*Осень 1968г.*

Вместо послесловия

ПЕСНЯ О МОЕМ ПИНЧЕРЕНКЕ

*Из мира животных.*

С детства я мечтал иметь собаку.  
Говорили дома: «Что стеречь?»  
Были кошки, что не лезли в драку,  
Даже если камень падал с плеч.

Стал я взрослым и завел собаку.  
Подарил мне пинчера сосед:  
Не объест, мол, глянть, какой служака,  
А охранник – лучше его нет.

ПРИПЕВ: Был Шмелек наш маленькой собачкой,  
Был Шмелек наш пинчер небольшой.  
Озорной, с кем я делился жвачкой.  
Песик с человеческой душой.

Уши в миг топориком! Линяя,  
Спал щенок в ногах моих, сомлев.  
Как-то раз, меня он охраняя,  
На змею набросился, как лев.

Я доверил пинчуренка маме,  
Захотелось повидать моря.  
Заметался следом он за нами  
И исчез в кармане у ворья.

ПРИПЕВ: Помню, помню тот комок дрожащий.  
Тонконог, парнишка не простой,  
Мой дружочек верный, настоящий,  
Пинчеренок черно-золотой.

*27 июня 2011 г.,  
г. Малоархангельск*

## ИМИТАТОРЫ

Все пишут копии с меня,  
Читая по библиотекам.  
Сочтут за своего коня,  
С каким летим, спеша за веком.

Идеи, шпоры – все с коня.  
И даже праздник лицедеи  
Пускай копируют с меня, -  
Свои пустые юбилеи.

Все пишут копии с меня.  
Но Бог не чтит такого класса,  
Хромую лошадь – их коня  
Взамен крылатого Пегаса.

## СУБЛИМАЦИЯ

Свет души, свет глаз  
Радует нас в ночной тиши.  
Любовь ещё не ушла, сердце ещё не остыло.  
Жизнь прекрасна, не говори, что было,  
А что есть – говори, что мило.  
Спешу в свой сад,  
В свои райские кущи,  
Где у меня стол для друзей  
Из простых и князей.  
Во мне звуки, нежность, тепло.  
Где и ночью светло,  
А днём прохладно в жару,  
Очищая всего на ветру.  
Мой тенистый, любимый мой сад,  
Над которым, как яблоки, звёзды висят.  
Как они совершенны, красивы,  
Вечно живущие, живы.  
Боги яблокам сок наливают своею рукой,  
Миру страждущих навевают раздумья, приносят покой.

*7 сентября 2011 г.*



*В Клейменово, у Фета.  
Сама поэзия. «Сейчас она взлетит».*



*Орел. На моём юбилее. Московская певица Аня Сизова.  
В поле чудес. «Анна на шее»*



*В Клейменово, у Фета. На литературном празднике.  
Две Валентины Ивановны – от имени поэзии и прозы.*



*Орел. Бунинская библиотека. На презентации моей книги.  
Наталья Меркурьева. «Так рождается умное слово».*



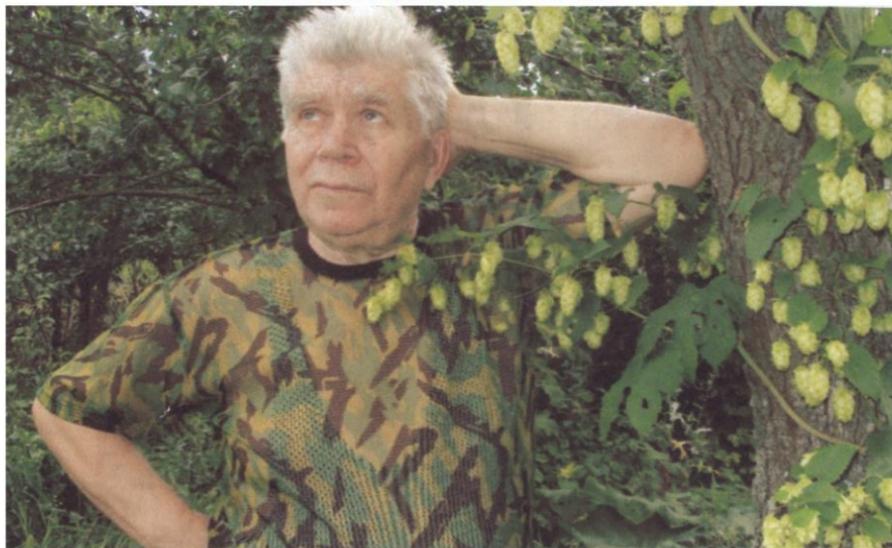
*Мой сын Игорь.  
Свет в родном окне.*



*Малоорхангельск. В моём саду.  
«Друзья мои незримо тут со мной...».*



*В нашем доме. Здесь был Пушкин, Григорий Григорьевич, – праправнук поэта.  
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...»*



*Малоархангельск. В моём саду у груши – Лесковской Грушенички.  
«Жду слова от Бога».*



*Малоархангельск. «Мой сад, мои райские кущи».*



*Красные ландыши.*

СОДЕРЖАНИЕ

НОЧЬ СВЕТЛА (рассказы)	
Предисловие. От автора.....	3
После предисловия. ....	5
Фету. В Клейменово (стихи) .....	5
Апокриф. Скрипка (стихи).....	6
СКОРО ОСЕНЬ .....	7
В парке старинном .....	7
Талисман .....	12
Его голубая мечта.....	23
Соломенная грусть .....	32
Авдонушкина любовь.....	41
Дитя человеческое.....	52
Аксиньин свет .....	59
Цветы на снегу .....	67
Встреча в Савояях.....	70
В низенькой светелке .....	74
Сквозь медные трубы .....	76
Звезда между яблонь.....	84
Под березой .....	87
В лунную-лунную ночь .....	92
Среди белого дня.....	98
Черемуховые холода .....	107
Скоро осень .....	114
Липа вековая .....	118
В примаках.....	126
Ария Ленского (Автобиографический рассказ) .....	140
ТЕПЛЫЕ РАССКАЗИКИ .....	144
В ТИХИЙ ДОЖДЬ.....	198
Белый волк.....	198
Опростоволосились .....	209

**СОДЕРЖАНИЕ**

«Здесь сидел Хрущев».....	219
Двенадцать апостолов.....	226
Завтрак на траве .....	231
Душ по-йоговки.....	233
Лауреат на паперти .....	237
И ударили в колокола.....	244
Ключ-колодец .....	255
Вёдреная погода.....	266
В тихий дождь .....	269
НОЧЬ СВЕТЛА (рассказы из 21-го века).....	274
Ночь светла .....	274
Сиреневая аллея .....	280
Мой сад, мои райские кущи.....	286
Прогулки по Парижу .....	294
Юбилеи. ....	304
Часть первая. «Любящая Мария» .....	304
Часть вторая. «Анна на шее» .....	308
Достояние мифа .....	315
Русское поле, Нерусса-река.....	320
Два дуплета, желтого в середину .....	326
«Потеряю я свою кубанку...» .....	334
Гроза со стороны Понырей .....	338
В атаке (из повести «Дан приказ»).....	344
Ночные фиалки.....	353
Просто любить .....	362
Вместо послесловия .....	369
Песня о моем пинчеренке .....	369
Послесловие. ....	369
Имитаторы (стихи).....	370
Сублимация (белые стихи).....	370

Леонард Михайлович Золотарев

**НОЧЬ СВЕТЛА**  
**(лирические рассказы)**

В авторской редакции и корректуре.

На обложке использованы картины художников:

А.И. Куинджи «Березовая роща»,

Клод Моне «Дама в саду»,

Кеес ван Донген «Женщина в черной шляпе».

Дизайн и верстка – Андрей Плетнёв.

**Издатель Александр Воробьёв.**

Лицензия ИД № 00283 от 1 октября 1999 г.,  
выдана Министерством Российской Федерации  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Заказ № 00. Подписанно в печать 14.09.11г. Тираж 100 экз.

Отпечатано на полиграфической базе

Издателя Александра Воробьёва: г. Орёл, пер. Новосильский, 1.

Тел.: (4862) 76-17-15, 54-15-48, 55-47-01.

E-mail: orlik\_id@orel.ru | www.orlik-id.orel.ru





Кувшини. Берёзовая роща

По всей Алёшне от берёз светло...  
Леонард Золотарёв